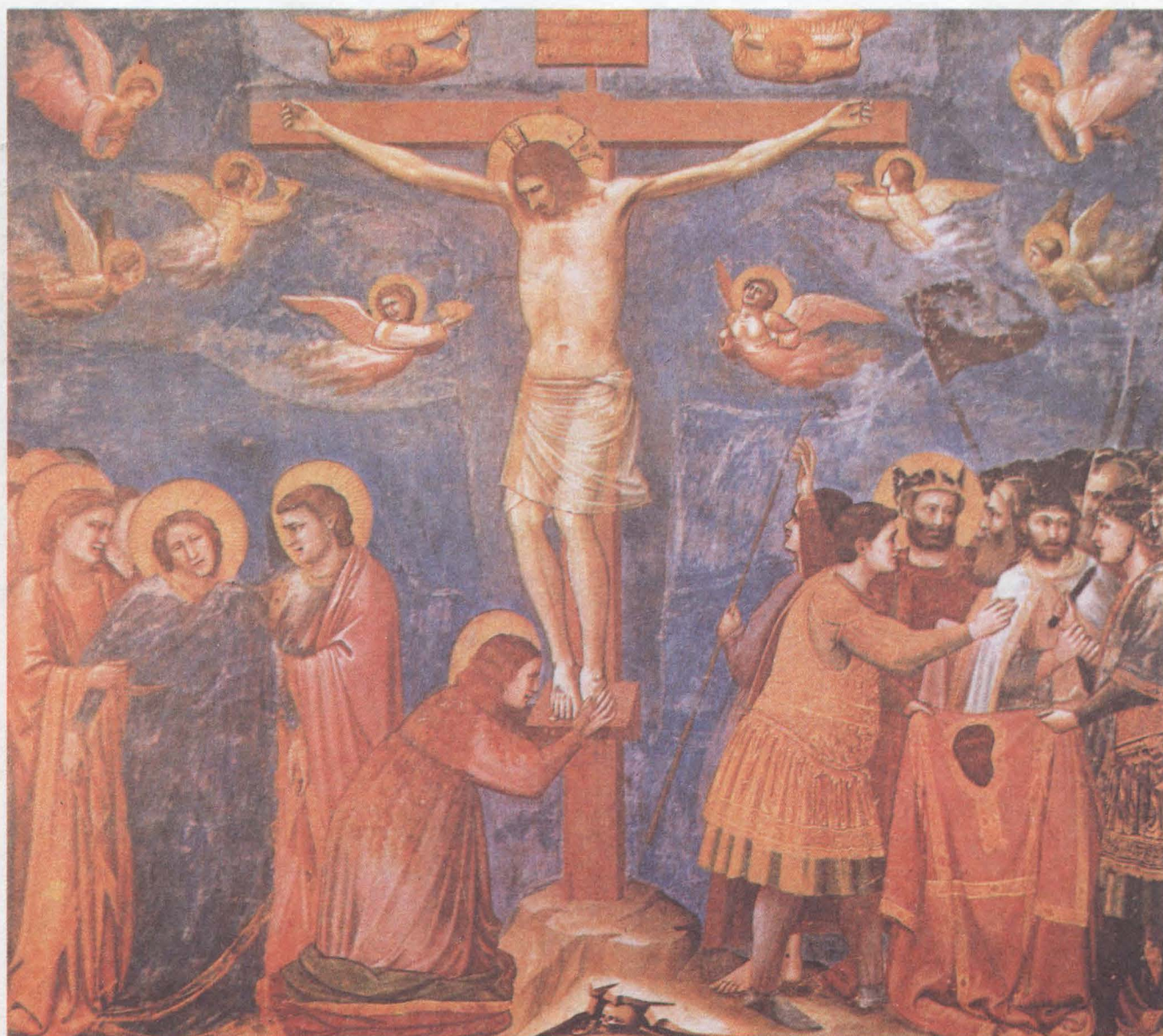


ЮНОСТЬ

4 '91



ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ. 1267 — 1337 гг.
Распятие. Падуя. Фрески капеллы Скровеньи. Италия.



ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ. 1267 — 1337 гг.
Изгнание дьяволов из Ареццо.
Ассиси. Фрагмент фрески в церкви св. Франциско. Италия.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ



(431) 4'91

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Редакционный совет:

Председатель —
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Василий АКСЕНОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Аркадий АРКАНОВ
Юрий БОЛДЫРЕВ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Генрих ИГИТЯН
Игорь ИРТЕНЬЕВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Алексей КОВЫЛОВ
Александр ЛАВРИН
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрис ПОДНИЕКС
Юрий ПОЛЯКОВ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Виктор РОЗОВ
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Виктор СЛАВКИН
Лев ТИМОФЕЕВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Юрий ЩЕРБАК
Григорий ЯВЛИНСКИЙ
Глеб ЯКУНИН

Издательство «Правда»
Москва

В НОМЕРЕ:

Новая повесть Бориса ВАСИЛЬЕВА
«Капля за каплей»



СТИХИ:

Александра БЕЛЯКОВА (15)
Семена ЛИПКИНА (45)
Расула ГАМЗАТОВА (56)
Светланы ЗАГОВОЙ (56)
Юрия ПАШКОВА (57)
Марины КУДИМОВОЙ (57)
Романа СОЛНЦЕВА (58)
Натали ХАТКИНОЙ (59)

Борис ЗАЙЦЕВ
«Жизнь Тургенева» (16)
Окончание.

Продолжается «РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» —
в ней участвует профессор
Александр ПАНЧЕНКО (34)

«КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ»
Великого Князя
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА (38)
Окончание.

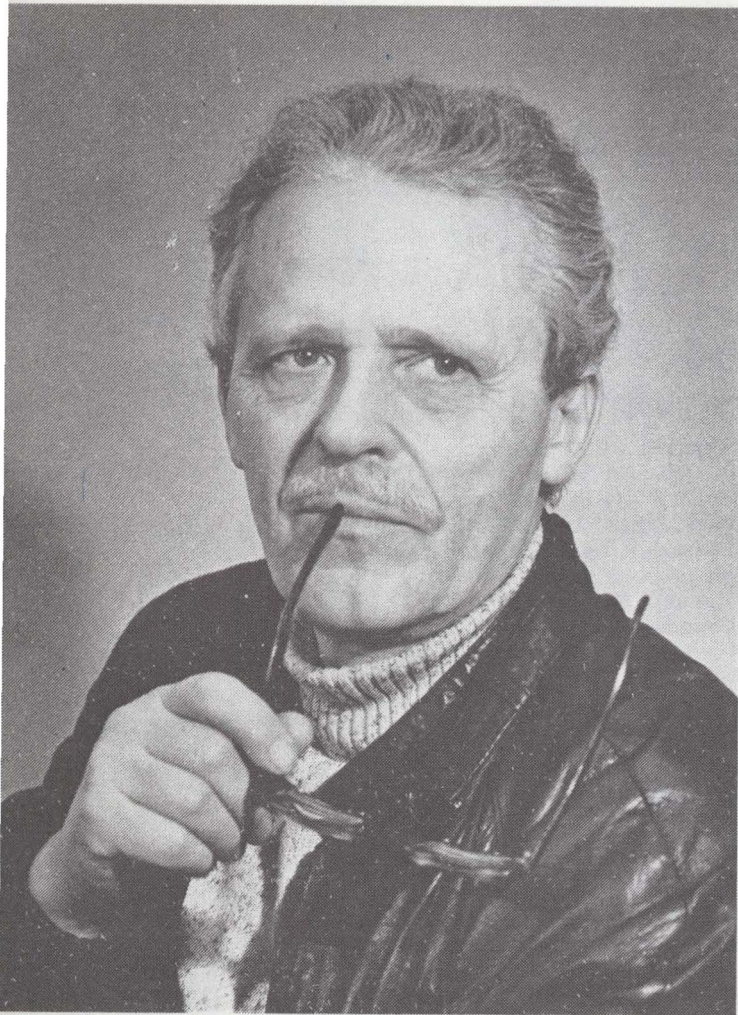


Энтони БЕРДЖЕС
«Заводной апельсин» (60)
Окончание.

Памяти философа МЕРАБА МАМАРДАШВИЛИ
посвящается публикация
его последних записей (46)



Новый Манифест Редколлегии
«20-й комнаты» (89)



Борис
ВАСИЛЬЕВ

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

Повесть

Рисунки Андрея Сальникова
Фото Леонида Шимановича

Глава первая

Читал я или слышал... Может быть, слышал, может быть, в Крыму, ранним утром у моря. Было тихо, шуршала волна...

...и далеко-далеко от этих скал, от узкой полоски пляжа и еще дальше от времени, в котором я слушаю,— иной берег и иная волна. И голые ребятишки, дети рабов, собирают цветную гальку. А старики, уже не пригодные ни для какой работы, неторопливо рассматривают каждый камешек. Цвет, форму, оттенок. И кладут в кучу, отвечающую цвету, форме и оттенку.

Потом рабы-художники создадут из этих камешков мозаики, которым не страшны века. Сказочные древнегреческие мозаики, и поныне радостно вспыхивающие веселыми красками детства, как только их омоет вода.

Но мне не успеть сложить свою мозаику. Само время мое рвется на куски, рассыпая кое-как склеенные сцены то ли жизни богов, то ли мифов моих...

1

— Поедем в Крым, сынок.

У отца синие глаза и по два красных ромба в каждой петлице. И два ордена боевого Красного Знамени. И двойная кавалерийская портупея: к ней полагается цеплять саблю, но отец саблю не носит. Он не расстается с офицерским наганом-самовзводом в потертой кобуре. Кобура старше портупеи: отец меняет портупеи, но первую в своей военной жизни кобуру не меняет никогда. Не из суеверия: просто он знает, сколько секунд ему надо, чтобы револьвер оказался в руке.

— Тебе же предлагают санаторий.

Это мама. Они с отцом поделили строгость и нежность, и маме досталась строгость. И темные мучительные глаза: я не боюсь ее взгляда — я мучаюсь от стыда, если что-то натворил.

— Надо ходить и смотреть,— улыбается отец.

— Почему же обязательно в Крым?

— Там есть на что смотреть, не уставая.

— Но там нет хлеба.

— Там люди.— Отец почему-то вздыхает.— Очень добрые люди.

— Там нет хлеба.

Я знаю, что такое хлеб. Это — великое знание: оно приходит тогда, когда уходит хлеб. Когда его делят поровну в школе и не поровну дома. Нет, мы не голодаем, но мама делит хлеб не поровну, и больший кусок вот уже который год достается мне.

Я знаю, что такое хлеб: это жизнь. Я знаю, что его нельзя есть на улице, потому что за него могут убить. Мне хорошо известно, как молчат голодающие, как они при этом смотрят и сколько крика в их застывших глазах. Они не закрыты даже у мертвых, и оставшийся в их глазах крик — это на всю вашу жизнь. Я это видел, зимой тридцать второго. А ведь мне сейчас всего десять лет: что же я увижу еще?..

Может быть, именно этого и боится мама: что я еще увижу? О голоде не говорят и не пишут — голод кричит о себе сам. Он волнами идет с юга, и мама очень не хочет, чтобы мы ехали в Крым.

А отец хочет. Он закончил там свой поход по гражданской войне и получил второй орден. И я понимаю, почему его так тянет в неизвестный мне Крым к не виданному мною морю.

— Мы пройдем пешком от Байдар до Алушты, сынок.

Мы пройдем: ведь мама непременно согласится. Голубые глаза отца сильнее всех ее страхов.

Первое, что я постигаю в Крыму, — это что значит «жрать». Громко чавкая, заглатывать куски, всхлипывая, всасывать в себя все, что норовит проскочить мимо рта. И при этом сопеть, всхлипывать, стонать.

Жрет наш хозяин. Жрет все подряд: арбуз, коньяк, груши, яблоки. Отец медленно пьет золотистое вино и, кажется, совсем не слышит оглушительного чавканья и сопенья.

— Если бы Федор опоздал с ударом, тебя бы смяли. Помнишь, как шли офицеры? Плечом к плечу, плечом к плечу.

— Знаю.

Кажется, отец говорит это слово, отвечая себе самому.

А я обедаю виноградом: я ведь никогда его не пробовал. И очень хочу запомнить вкус, чтобы рассказать в классе... Нет, я постараюсь запомнить вкус винограда не для разговоров. Почему у голодных детей такие большие глаза? Они вырастают, когда все остальное съезживается. Руки, ноги, лица. Щеки — скобки внутрь, и редкие, жалкие волосики девочек: от голода растут только глаза.

А я лопаю виноград на веранде дома в огромном саду под Симферополем. Два дня и три ночи мы ехали сюда в полупустом вагоне: на юг еще мало кто ездит. Юга привычно боятся. Но мы едем не просто в пассажирском: мы едем по литеру первого класса. Три раза в день нам полагается сладкий чай и по два куска хлеба со свиным жиром. Это очень вкусно. Очень.

— ...Оживают тут помаленьку, товарищ командир.

Отец любит поговорить и легко завязывает разговор даже с незнакомым человеком. А проводник сидит у нас в купе не меньше, чем в своем.

— То, что кошек, собак, ворон ели, то и в войну случилось. А вот чтоб трупы — того прежде не случилось, товарищ командир. Это уж вы не сердчайте, это я не по слухам говорю: только помрет — еще теплого порубят, если силы остались, а нет — так целого в котел. Головой вниз: мозги наваристее.

Они разговаривают много, а я гляжу в окно, и в памяти остаются только осколки их разговоров. Осколки вонзаются в мозг осколками — это я успеваю сообразить позднее. Вонзаются и застревают.

— Оживают тут помаленьку, товарищ командир.

В Симферополе нас встречает старый сослуживец отца с одним ромбом и одним орденом. И вот мы в его доме. Я ем виноград и стараюсь запомнить вкус, а старшие вспоминают прошлое, и вкус этого прошлого — горьковатый.

— Мурзова знал? Когда Сиваш форсировали, судорога, что ли, его скрючила. Холодно было, а вода — по грудь, и упал он. Задержался и упал. И за меня цепляется. Ну, оторвал я его от себя, конечно, даже вроде стукнул... Осуждаешь?

Молчит отец.

— До сих пор цепляется, веришь? До сих пор.

— Все они за нас цепляются.

— А почему? Бога ведь нет. Мистика!

А я ем виноград, и сок течет до локтей. И очень хочу запомнить вкус. Очень, очень, очень.

Входят полная смуглая женщина и девочка в бантах. Виноградины застревают у меня в горле.

— Здравсьте.

Отец привычно встает, большими пальцами перегибая складки гимнастерки за спину.

— Та то же жинка моя, жинка! — Хозяин тянет отца за руку, усаживая на место. — Ступай отсюда. Чаю хочу.

— Сейчас. Я сейчас.

Женщина уходит, оставляя девочку в бантах.

Что умирает раньше — тело или душа? Говорят, что душа бессмертна, но если она теряет свое «я», свои память, стыд, боль, совесть, — она мертва, ибо уже абстрактна. Тогда она всего лишь бессмертный сосуд, каждый раз с новым рождением наполняемый новым вином. Так что же истекает раньше — моя кровь или мое вино? Что сочится по каплям слов?..

— ...Особняк наш в саду Христофорова. Бывшего буржуя.

— Особняк?

— Конечно, так положено. А разве у вас нет особняка?

Хорошенькая девочка чуть старше меня идет рядом. Я вижу ее, хотя стараюсь не смотреть: дочь фронтового приятеля отца. Нас отправили гулять, когда женщина ушла за чаем и девочка осталась одна. Но я не хочу гулять вдвоем с девочкой, потому что все девочки стали казаться мне прекрасными и я утратил свободу. Я глупею в их присутствии и спешу соглашаться.

У нас нет особняка, нет сада, нет ящиков с вином и фруктами, которые я видел на веранде. Мы живем в двухкомнатной квартире с печным отоплением, и я до школы обязан принести три охапки дров. Помоему, у нас роскошное жилье, потому что до этого мы ездили по всей стране и жили, где придется. В бараках, вагонах, землянках, палатках. И у нас нет ничего, кроме книг и маминного чемодана: все остальное нам выдают. Столы, стулья, посуду, ложки и вилки, одеяла и простыни. Отец всегда говорит, что это замечательная система, что нас отлично снабжают, и поэтому мы таскаем из гарнизона в гарнизон только ящики с книгами да мамини вещи.

— Мы не буржуи.

Я упрямо смотрю в землю, и тон у меня земляной. Тяжелый и неприветливый, потому что я говорю через силу.

— Неправда, это мы не буржуи, мы из батраков! — с торжеством кричит девочка. — А вы как раз-то и есть настоящие буржуи, папа говорил.

Она спохватывается и замолкает. Я тоже молчу, а ей очень надо утолить любопытство. Просто необходимо, ее жжет изнутри.

— А правда, что твой папа — царский офицер?

— Не царский, вовсе не царский. Окопный.

Сколько раз меня допекали мальчишки отцовскими золотыми погонами. Я дрался и никому ничего не говорил, но мама дозналась, когда мне вышибли зуб. И объяснила разницу между царским золотопогонником и окопным командиром батальона. Но этой девочке я ничего не хочу объяснять, потому что помню кусочек разговора между мамой и отцом. Они думали, что я на улице, а я искал под кроватью закатившийся патрон.

— Вчерашние батраки били севрский фарфор и стреляли по богемским люстрам. Помнишь, как я пыталась объяснить им, почему этого не следует делать? А они громко хохотали и растапливали буржуйки Пушкиным.

— Это наша вина. Мы веками держали их в темноте.

— А теперь они просветились? Они волокут в дома все, что могут отобрать или раздобыть. И хвастаются, у кого дом больше. Просто больше, в геометрическом измерении.

— Вероятно, период чисто количественного накопления необходим. Понимание придет потом, понимание — признак культуры. Так же, как накопление — признак варварства.

— А не будет ли слишком поздно? — вздыхает мама. — Неуловимый шаг — и накопление превраща-

ется в самоцель. И уже нет места пониманию, что же есть истинные ценности. Не будет ли слишком поздно?..

Не будет ли слишком поздно?.. Культура вытекает из России, как кровь из продырявленного пулями тела. Сколько их всадили в тебя, Родина моя? Сколько пустили на тот свет душ, так и не успевших отдать тебе осмысленное, страданное, взлелеянное? Даже любви не успели тебе отдать. Миллионы таких, как я, умерли, не вернув любви, и ты стала суровее и злее, земля предков моих. Мы обокрали тебя не по своей вине, но — обокрали.

— А у твоего папы есть слуги?

Девочка продолжает изнемогать от злого любопытства. Я чувствую эту потаенную злобу, но не понимаю, откуда она в этом букете бантов. И тоже начинаю злиться: конечно, добро не всегда способно породить добро, но зло рождает только зло. Только зло, и ничего более породить не способно.

Но это я познаю в эпилоге жизни: есть такие жизни — с эпилогом. И очень часто дело не в возрасте, а в том, есть ли в твоей жизни эпилог или нет. У меня оказался, а тогда, в сладкий симферопольский вечер, я очень рассердился:

— Твой папа умеет сделать детекторный приемник? А печку может сложить? А кто чинит туфли тебе и твоей маме?

— Сапожник! — вдруг с ненавистью кричит она. — Сапожник чинит, а мой папа — командующий!

— Значит, это у твоего папы есть слуги.

Секунду она смотрит на меня, и я впервые не отвожу глаз. И вдруг вижу, как она некрасива во всех своих бантах. Она зла и тонкогуба, у нее острые ненавидящие глазки и щеки, которых хватило бы на половину девочек нашего класса, чтобы не смотрелись они так горько — скобками внутри.

— Дурак!..

И стремительно убегает. А я остаюсь один в сладком саду неизвестного мне буржуа Христофорова.

4

На зубах скрипит пыль. Здесь, в Бахчисарае, она серая и жесткая, злая и горькая. Сколько лет прошло, а я и в этот миг ощущаю ее горькое зло.

Неужели все было? Неужели я и в самом деле видел ханский дворец, «фонтан слез», могилы Гиреев? Неужели я слышал гортанный рокот базара, страждущие вопли ишаков, ржание лошадей, блеяние овец, скрежет незнакомых с дегтем арб?..

А до этого — фантастическое путешествие на автомашине командующего, того, что встречал нас, угощал виноградом. Он дал нам свой автомобиль с откидным верхом и шофера, но отец ведет машину сам, а шофер сидит сзади. Тарахтит мотор, нас бросает на рытвинах, желтая пыль тянется за нами, а я верчу головой и жалею, что нельзя одновременно смотреть в обе стороны. Но чаще всего и справа, и слева — сухие, выжженные солнцем склоны, занозисто-колючие даже для скользящего взгляда. Степной Крым — место, где можно только стоять: на этих упругих, независимых колючках нельзя валяться, как тебе хочется.

У райсовета мы оставляем машину с шофером и идем к ханскому дворцу. И здесь отец бросает меня с наказом не высовываться за территорию музея. Я не успеваю вторично, теперь уже с экскурсоводом пройти по залам, как отец возвращается:

— Идем.

На окраине в маленьком, ощутившем свою скорую кончину духане нас ожидает человек в чесучовой тулупе и соломенной шляпе. Я не привык видеть

людей в шляпах: я мальчик из военных городков, где «шляпа» — определение весьма неодобрительное, противоположное неукоснительной точности исполнения. Даже мой отец применяет это слово, роняя его коротко и весомо: «Шляпа!» А сейчас сидит со «шляпой» за деревянным столом в умирающем духане. И я сижу вместе с ними и ем грушу, которую дал мне иссохший человек в старой шелковой рубашке, подпоясанной кавказским наборным ремешком.

— Бахчисарай славится грушами, мальчик.

Он дал мне грушу и ушел, шаркая чувяками. А мне стало грустно от этих взрослых, ничего не определяющих слов, грустно и почему-то совестно, и даже груша не утешала меня. Я не ощущаю вкуса и потому слышу, о чем говорят взрослые.

— Три года назад начали чистить армию. Я заглядывал в кое-какие списки — так, по старым связям. Я нашел знакомых, но не нашел тебя.

— Удивлен?

— Я бывший начальник разведки твоей кавбригады. Я хочу знать.

— Что ты хочешь знать? То, чего и я не знаю?

«Шляпа» молча прихлебывает вино. Неужели он был начальником разведки у отца? Наверно, он был плохим начальником разведки, потому что у него нет ордена.

— Я стал бояться, — вдруг говорит он. — Кажется, не я, а мы стали бояться, мы все. Почему? Мы же голой грудью перли на пулеметы и кричали гордые слова на площадях, когда нас вешали деникинцы.

— Тогда была война, а сейчас — политика. Армия не вмешивается в политику.

— Лукавишь. Занимаетесь вы политикой, вы, которые наверху. — «Шляпа» достает мятую пачку дешевых папирос, протягивает отцу.

— Ты забыл, что я не курю, Тимофей.

— Подумал, что мог закурить. — Тимофей прикуривает. — Ты узнаешь время? Я перестал его узнавать, это не наше время. Это время говорунов: где они были, комбриг, когда мы с тобой ездили уговаривать Батку?

Отец — комдив, и я сначала удивляюсь, что его называют комбригом, но потом соображаю, что старый друг в шляпе обращается к нему так, как привык обращаться. А тут опять появляется духанщик, приносит пахучее мясо — много мяса, пожалуй, месячную норму! — и скучно говорит пустые грустные слова:

— Бахчисарай славится шашлыками.

Мы начинаем есть мясо. Оно острое, жгучее, ароматное; мужчины запивают его густым вином, а я — водой. И ем, ем — никогда еще я так вкусно не ел.

— Видел фильму «Красные дьяволята»? Там показано, будто Махно печатал деньги. Зачем врут? Нестор Иванович никогда не печатал никаких денег. Все печатали, а он — нет. Он был честным. Думаю, самым честным, вот как я думаю.

— Поэтому ты и ушел.

— Не поэтому. Где тебя достала офицерская пуля? Под Форосом?

— За Форосом. На пароходы смотрел. Они были перегружены и гудели во все стороны... Рыдали во все стороны, а из моря торчали головы. Как пни после порубки. По ним били из пулемета, по тонущим. Я хотел остановить, но кто-то выстрелил.

— Значит, не все еще были в море.

— Пуля звания не имеет. — Отец усмехается в усы. — Ее звание — калибр, и била она из твоего допотопного кольта. Ты хотел убить меня, Тимофей.

— Если бы хотел — убил.

Мужчины не повышают голосов и не задают вопросов. Зачем зря спрашивать, когда все уже прошло?

Отец жив, и его бывший начальник разведки тоже жив, и лучше молча пить вино.

— У Батки на тебя была последняя надежда. Почему он верил тебе, а взял слово с меня? Брал слово с меня, а тебе просто верил и отдал две тысячи лучших своих сабель лично под твоё начало. А ты их бросил, комбриг. Они ворвались в Крым первыми, они проложили дорогу нашей бригаде, а ты их бросил и усажал аж за Форос смотреть, как тонут беляки.

— Беляки — тоже люди.

— А махновцы не люди? Пока ты метался по берегу, их твоим именем отвели под Ачи-Курган, приказали спешиться и ждать. И когда они спешились и отпустили подпруги, вылетели четыре тачанки, и с них в упор открыли огонь. По людям, по лошадям, я такого не видывал. Из крови шел дождь. Четырнадцать лет мне снится этот дождь. Только Марченко вырвался через Перекоп с двумя сотнями хлопцев, только Марченко. А Батко сидел в Гуляй-Поле и верил тебе.

— Таков был приказ.

— Ты знал, что хлопцев все равно кончат.

— Таков был приказ.

— И поэтому ты сбежал на побережье.

— Я искал младшего брата. А потом ты догнал меня и почему-то не убил.

— Не знаю.

Это едва ли не первая пауза в их стремительном, почти истерическом диалоге, который я скорее воспринимаю чувством, чем понимаю разумом. И, кажется, испытываю что-то похожее на стыд.

— Я искал брата. Сопляка-гимназиста, который ушел с Врангелем за романтикой. Я хотел набить ему физиономию и увести с собой.

— Выпьём, комбриг. Мы были на похабной войне.

— Мы были на войне, где не нашлось победителей. Одни побежденные.

— Я дал слово Батке, хотя он меня об этом не просил. Просто сказал, что... Зачем я дал тогда слово?

— Потому же, почему ты промахнулся под Форосом из верно пристрелянного кольта. Ты устал воевать, Тимофей.

— Мы были на похабной войне, комбриг. Пей за наши обещания и за наши пулеметы.

Глиняные кружки глухо сталкиваются над столом.

5

Следующим утром мы останавливаемся на пыльной развилке, немного отъехав от Бахчисарая. Отец вынимает из машины свернутые в одну скатку шинель и одеяло и два армейских вещмешка.

— Дальше мы пешком. — Он протягивает руку шоферу. — Спасибо, товарищ.

Шофер машет рукой и разворачивается. Он едет назад, к Бахчисарая, но мы стоим, пока машина не скрывается за поворотом. Отец поднимает вещмешок.

— Спешу медленно, сопи тихо — сто лет проживешь.

Да, он так сказал, я точно помню. Он был провидцем, мой отец, и желал мне счастья. Но я с ним разминусь, со своим счастьем. Мы пошли по разным дорогам, и мое счастье, не встретив меня, где-то растерянно бродит в этом мире.

Мы идем по пыльной, завинченной в бесконечную спираль дороге все вверх и вверх, петля за петлей. Знойная тишина застыла в знойном безветрии, пахнет пылью и колючками, а петли все круче и выше, выше и круче.

— Перекур десять минут.

Отец не курит, но короткий отдых именуется пере-

куром. Я сбрасываю панаму, сажусь и хватаюсь за фляжку.

— Отставить.

Вновь панаму на голову, а фляжка на пояс. Я не спорю, не прошу, хотя так хочется смыть застрявший в горле знойный колючий ком. Но пить в жаркий полдень — табу: воду пьют только утром и вечером. Отец внушил мне эту истину раньше, чем я научился просить воды. И вообще он человек табу: нельзя то, нельзя то, нельзя то. Не только для других, но прежде всего — для себя.

— Не клянись — и не будешь клятвопреступником. Не обещай — и не станешь обманщиком. Не давай честных слов — и никто не обвинит тебя в бесчестии.

Он, безусловно, прав, но я так не могу. И если мне не верят, даю «честное советское», «честное пионерское» и даже «честное под салютом всех вождей». Может быть, потому мне так часто и не верят?

Давно закончился «перекур», мы вновь ввинчиваемся в раскаленную высоту. Виток за витком, виток за витком по выжженной до горечи горной дороге. По ней очень трудно ходить в сандалиях: острые камешки забиваются под голую ступню, под пальцы, приходится останавливаться, вытряхивать помеху, догонять отца.

— Береги ноги, сынок. Надо всегда беречь ноги, даже на войне. Без головы умереть — легче легкого, а без ног помирать очень трудно. Трудно, сынок, ползти за смертью.

Знаю, отец. Я берег ноги. Но не сумел сбереечь, ты уж прости. Это моя личная вина, мне некого проклинать. За мои ноги и за мою жизнь.

— Терпи, сынок. Еще немного.

Терплю, отец. Еще немного. Я помню, как стучало в висках на последнем подъеме. Сейчас тоже стучит, хотя я лежу. Стучит, с каждым ударом выбрасывая из моего тела теплый фонтанчик крови...

— Ты запомнишь сегодняшний день на всю жизнь.

Все зависит от длины жизни, отец. Хотя ты по-своему прав: жизнь есть единица измерения чего-то. Всеобщего горя, грехов, глупостей, слез ребенка и мировых страданий, позора девушки и отчаяния матери, боли, болезней, бессилия. Сколько сотен миллиардов жизней надо отсчитать, чтобы оплатить счет, предъявленный человечеству свыше? Страшный Суд уже начался, и первая мировая война была его первым заседанием.

Отец легко шагает впереди, а меня ноги тянут назад. Каждый шаг — преодоление собственной тяжести.

За поворотом — проем сверху, на горе, ведущей прямо в небо. Дорога закладывает перед проемом последний вираж, я преодолеваю его, обливаясь потом, и оказываюсь...

— Байдарские ворота, сынок!

Отец торжествующе простирает руку, даря мне море.

Огромное, спокойное, мерно вздыхающее, перекачивающее мускулы — волны от горизонта до горизонта, бесконечное в пространстве и времени. Праматерь всего живого на Земле, будь вечна, неизменна и благословенна! Мы ушли из чрева твоего, навсегда унеся тело твое в своей крови и дыхание твое в биении сердец. И смерти нет. Нет. Есть лишь возврат к тебе, Мать, воссоединение с тобой...

Глава вторая 1

— Сына, поедem в Крым?

Сына — это я, и так называет меня только мама. Для нее это как имя.



— Зашла в штаб узнать, когда папа вернется из командировки, а мне — путевку на два лица. Крым, Коктебель, май месяц. Я уже была в твоей школе, договорилась. Завтра выезжаем, сына.

— Крым!..

Интересно, какой он, мамин Крым? Чем отличается от отцовского? В том, что отличается, я не сомневаюсь. Я уже понял, что мы существуем в двойной системе — в мужской и женской, и все, все решительно делится на два. На зиму мужскую и зиму женскую, на грозу мужскую и грозу женскую, на женскую Москву, в которой мы теперь живем, и Москву мужскую, на... Все имеет два знака, две оценки, два понимания, и мамин Крым совсем не будет похож на Крым отца. С его атаками, проклятиями, подпрыгами, кровавыми дождями и выстрелами из старого кольта. Обожженный, жесткий, запекшийся — таков отцовский Крым. А мамин?

Завтра мы выезжаем. Плацкартным вагоном Москва — Феодосия: его отцепят в Джанкое. Я лежу на второй полке, смотрю в окно и жую пряники. Ах, как это прекрасно: лежать, смотреть и жевать пряники! Новых радостей нет, мы наследуем радости прошлого, и дети завтрашнего века с тем же восторгом воспримут преодоление пространства. Разве что без пряников.

— Я была политбойцом всю гражданскую. У политбойца разные обязанности, но задача одна: просвещение. Народ, воспитанный на мифах религии, не может ощущать себя свободным, пока не познает окружающую действительность...

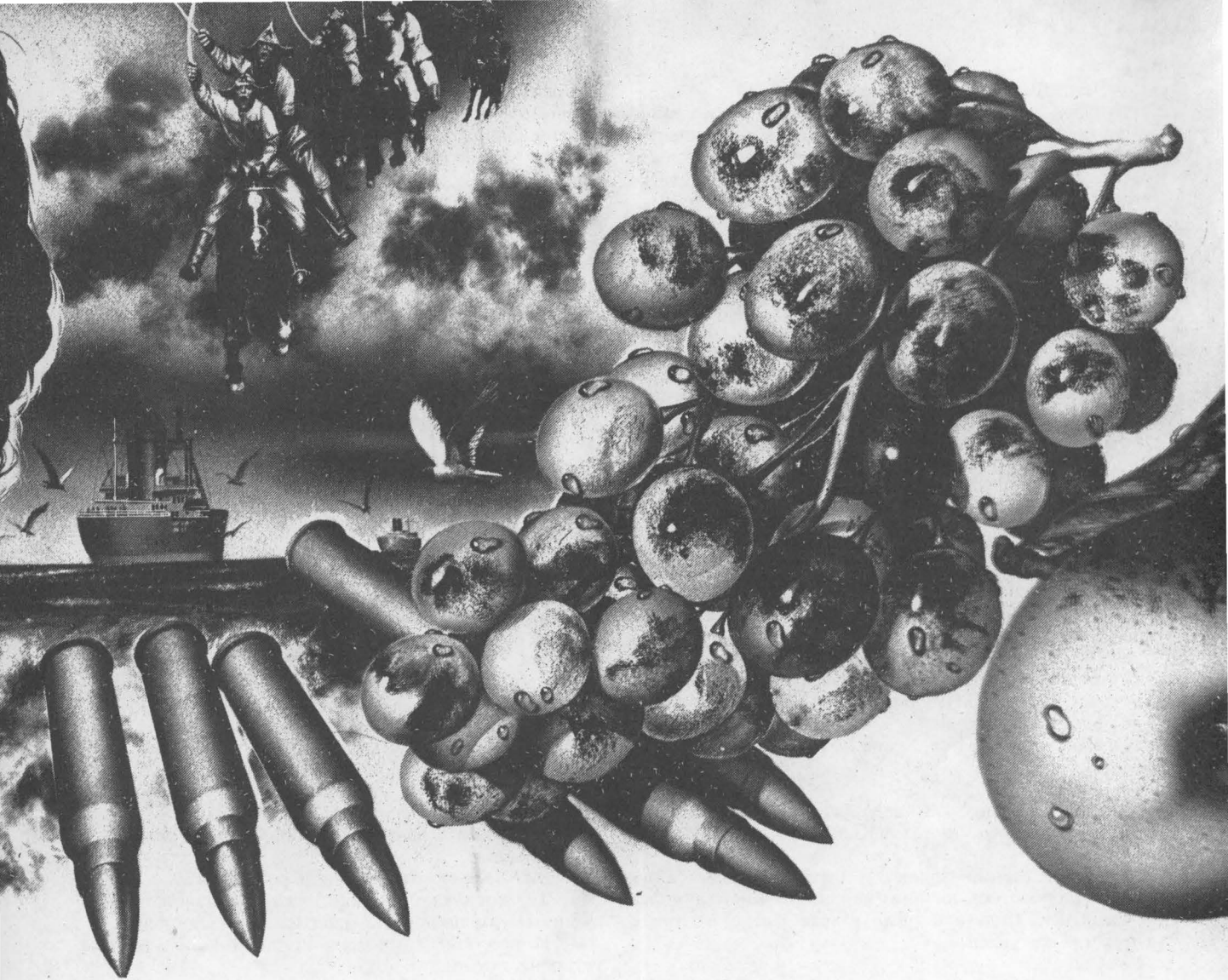
Журчит внизу мамин голос. Ее слушают уважительно, изредка позволяя себе уточняющие вопросы. Для других сейчас — не время.

— Простите, что вы сказали? Нет, я не работаю с той поры, как родила сына. Знаете, высший долг женщины — семья, воспитание детей, здоровье родных. В этом смысл женского начала живой природы, и искать иного — значит, нарушать законы естества. Следующее поколение, то есть наши дети, должно быть умнее, сильнее, здоровее и благороднее нас. Только при этом условии колесо истории будет катиться вперед, а не вращаться вхолостую...

Мамин голос. Я слышал его еще до рождения, но воспринимал, как добрый рокот волн, на которых выплыву в жизнь.

«Сына, почему ты бледный? Что случилось?»

Ничего, мама, просто я иду к тебе. Я возвращаюсь: ведь ты сейчас слилась с морем, правда? И я возвращаюсь к вам — к тебе и к морю. По каплям — к вам.



Я не увидел маминого Крыма, я не знаю, какой он, чем отличается от отцовского, лучше или хуже его. Не знаю и уже не узнаю.

В Джанкое расходятся пути. На юг — Симферополь, где три года назад я гулял по саду буржуа Христофорова с девочкой в бантах. Где она сейчас, интересно? И на восток — Феодосия, а рядом — Коктебель.

— Поезд стоит четыре часа, сына. Может быть, погуляем, посмотрим город? Семнадцать лет назад в него первыми ворвались конники твоего отца.

— Ура-а!..

Мама смеется. Я кричал, чтобы она рассмеялась: я-то помню разговор в Бахчисарае о двух тысячах сабель Махно. Но мама так редко улыбается в последнее время.

А на платформе возле дверей вагона — военный комендант. Смущен, часто вытирает пот, снимая фуражку, но — непреклонен:

— Вам надлежит тотчас же выехать в Москву. Вот билеты. Поезд через два часа тридцать семь минут.

— Почему? Зачем? Чье это распоряжение?

— Обождите в моем кабинете. Покажите, какие вещи. Прошу.

— Что-нибудь с мужем? С мужем?..

— Прошу. Не задавать. Вопросов.

Все отхлынули. Между нами и пассажирами вагона Москва — Феодосия зона карантина. Я ощущаю ее, не понимая. Ощущаю физически: я прокаженный. Мы прокаженные.

И мы молча выносим свои вещи и идем за комендантом через пути. Мама молчит. А в кабинете — вдруг: — Дайте папиросу.

Курит, как курила когда-то. Политбойцом. Курит и молчит. И военный комендант тоже курит и тоже молчит. По телефону отвечает кратко, уходит, приходит. Потом ведет нас в какую-то столовую, предлагает обед, но ем я один, а они курят. Потом нас сажают на московский поезд. Комендант стоит у вагона, снимает фуражку, вытирает платком лоб и клеенку внутри фуражки. А когда бьет третий звонок, — через силу, не глядя:

— Ни с кем не разговаривайте. Прошу. Надеюсь.

Свистит кондуктор, и поезд трогается. Другой поезд, в другую сторону. Куда мы едем, мама? Нет, я не спрашиваю, я понимаю.

И не смотрю больше в окно со второй полки. Кончились пряники.

— Вы бы не курили так, гражданка. Дышать нечем.

— Что? Да, конечно. Конечно.

Дышать нечем. Конечно. Я ничего не понимаю и понимаю все. И поэтому ни о чем не спрашиваю. Просто нечем дышать. Просто чувствую предстоящее расставание, как котенок чувствует, что утром его утопят.

Кончились пряники.

— Сына...

Глухой ночью будит меня мама. Поезд стоит, за окном — неяркие ночные огни большой станции. В вагоне — сон, полумрак, храп, шепот. Молча одеваюсь, молча выходим на пустой перрон. В руках у мамы — чемодан. Идем быстро, молча, спросонок я то и дело спотыкаюсь. Пустой вокзал, нас разглядывают уборщицы. В дежурной кассе мама покупает билет, потом отправляет куда-то телеграмму, потом усаживает меня, сует мне деньги.

— Спрячь. Мы расстаемся. Ненадолго. Ты поедешь в Смоленск. Тебя встретит мой брат. Дядя Сережа, запомни. Дядя Сережа и тетя Клава.

— А ты?

— Я приеду. Потом. Да, вот письмо, чуть не забыла. Отдай дяде Сереже.

— Мама, зачем...

— Так надо. Скорее. Сейчас должен подойти твой поезд. Идем.

Идем на другую платформу, ждем: мой поезд приходит не сразу. И мы молча смотрим, как трогается поезд на Москву. Мамин поезд — без мамы.

— Наш поезд уходит!

— Наш поезд ушел, сына. Мы поедem другими поездами.

— Но твои вещи...

— Вещи уехали. Там встретят. И выдадут. Слушайся дядю Сережу и тетю Клаву. Во всем. Обещай мне.

Суетливо стучит сердце, и страх надвигается на меня черным огнедышащим паровозом моего поезда. В Смоленск. К дяде Сереже и тете Клаве, которых я никогда не видал.

— Сына!..

Стук колес отрывает меня от мамы. Все дальше и дальше, все глубже и больше, все — навсегда.

— Мама!..

2

Колеса стучат на стыках, отбивая ритм моего сердца. Оно ведь тоже сейчас на стыке вчерашнего и завтрашнего, семьи и одиночества, известного и неизвестного. Я на перекрестке — впервые. На перекрестии моей собственной маленькой жизни с чем-то непонятным, страшным, могучим. Я не понимаю, какая сила переводит стрелки судеб, я крохотная пылинка на колесах вагонов, я лечу с ними туда, куда меня везут. Где-то на иных поездах сейчас мои мама и папа, и поезда наши стремительно мчатся в разные стороны.

Я сижу на краешке скамьи в чьих-то ногах, поставив в проход чемодан. Общий вагон спит, похрапывая и постанывая, тусклые редкие лампочки освещают только проход вагона, и я не вижу своих спутников. Я пытаюсь что-то понять, но не знаю, что именно мне надо понимать. Я растерян и подавлен, я еще не осознаю своего сиротства, но ощущаю его тоску. Она давит меня, гнетет настолько, что я не могу заплакать. Я просто чувствую слезы внутри, чувствую до боли, хочу избавиться от них, но у меня нет сил на это. Плач остался там, на последнем перроне, где осталась мама. Я — один.

А может быть, все обойдется? Я приеду к дяде и тете, меня обласкают и успокоят, объяснят

и приютят. А потом за мной приедет мама... нет, лучше отец, чтобы все увидели его два ромба и два ордена. Да, да, он приедет, я так неистово хочу этого, что он не может не приехать. Он приедет и увезет меня, и...

Я не знаю, сплю я или нет. Я так упрямо, так иступленно думаю об отце, который спасет, что вижу его...

Вот он сидит на корточках перед огненным зевом буржуйки и сует в ее нутро бумаги, бегло их просматривая. Когда это было?.. Мы жили в дощатых бараках под Миллеровом, была зима, и злые донские ветры выдували тепло из нашей комнаты. И все время топилась эта буржуйка, я помню ее раскаленные бока, но только однажды отец топил ее бумагами...

— И фотографии.

— Тебе не жалко?

— На них ты в погонах и орденах.

Летят в печку толстые паспарту старых фотографий. Я так любил их разглядывать: ведь на них отец и мать. Молодые и прекрасные.

— Хорошо, что ты вовремя выбросил свои ордена.

— Сначала я их заработал. Потом выбросил. Та присяга недействительна, ведь государь отрекся. Я присягнул другому знамени и заработал другие ордена.

— Ты сделал выбор добровольно. Ты не метался между фронтами от наших к вашим, как метались многие.

— Я и сейчас поступаю добровольно.

Горят фотографии юности. Горит прошлое моих родителей, память их вчерашней чести и вчерашнего долга.

— Надеюсь, не уволят. Я не могу расстаться с армией, это моя жизнь. Даже больше — смысл всей моей жизни.

— Мы не виноваты в своем рождении.

— Те, кого уже уволили, тоже не виноваты. Но лучше самим поставить крест на своем прошлом.

— И все-таки я многого не понимаю. Для чего устроена эта чистка?

— Армия сокращается.

— За счет самых образованных и самых опытных?

— Она обязана изменить свой классовый состав. Это необходимость.

— Ты веришь в эту необходимость?

— Безусловно и окончательно. Я красный командир, я порвал со своим прошлым. И если спросят, могу с чистой совестью сказать, что вырвал все корни.

— Все корни вырвать невозможно. Они прорастут в нашем ребенке.

— Вот этого нельзя допустить. Не мы одни сжигаем свое прошлое — вся страна уничтожает его.

— Она уничтожает проклятое прошлое, а мы — свою память. Как объяснить, когда он подрастет и спросит, кем были его деды и прадеды? Жить без них? Но как? Как перекасти-поле?

— Жить будущим. Только будущим.

— Ты сможешь?

Молчит отец. Потрескивает печь.

Отец не смог: я помню нашу поездку в Крым. В отцовский Крым, выжженный, преданный и расстрелянный с тачанок под Ачи-Курганом... Нет, нет, нет! Не было ничего. Не было отцовского Крыма, не было выстрела под Форосом, не было встречи в Бахчисарае. Ничего не было: у меня тоже не должно быть корней...

3

Дядя долго читает письмо, очень долго. Я не хочу смотреть, как он читает, и упорно разглядываю горд...

Смоленск. Белая пена черемух по ручьям и оврагам — вниз, к Днепру, с двух сторон: от Соборной горы и с Покровки. И выше всего, над городом, над черемухой заросшими склонами — золотой купол собора. А кругом красное ожерелье крепости.

Внизу шум железных дорог, вокзалов, рынка. Крупный булыжник серых улиц и темно-красные кирпичные тротуары. Грохот сотен колес, тихий Днепр, пролом в крепостной стене — наверх, к собору, к центру по Большой Советской. И маленькие, все в скрежете напряжения трамваи — тоже в гору.

В этом я разобрался потом, времени мне хватило. А тогда просто смотрел на черемуху, крепость, собор...

И искоса — на дядю Сережу. Худого, сутулого, в мятых брюках, заношенном пиджачке. С железными, как у Калинина, очками.

— Такие дела, что лучше молчать. Ты из этого... Из-под Брянска.

— Я из Москвы.

— Из-под Брянска, запомнил? Родные у тебя с голоду померли. Сбежал к дяде из детского дома.

— Я не сбежал!

— Сирота. Из приюта. Ничего больше не знаешь.

— Я не сирота!

— Сирота. Что уж. Сирота — это правда. Легко запомнить. И Брянск, приют, голод — это надо запомнить. Это путевка в жизнь.

Мы медленно поднимаемся по Большой Советской. Дядя несет чемодан, а я мучаюсь от невыплаканных слез.

Я понял, что я сирота. Там, на Большой Советской, не доходя до собора. На пути в жизнь, не выходя из Детства. А оно испуганно цеплялось за меня, висело, хотело плакать, отрываясь кусками, и долго волочилось позади. И вся Большая Советская была усеяна скорлупой моего детства.

Я вывалился из гнезда в мае тридцать седьмого. Если бы это можно было написать на моей могиле! Но хватит, хватит. Отныне я парень, а не мальчонка, и никто уже не поправит на мне одеяло, когда разбросаясь во сне. Что там рассказывает мой дядя в калининских очках?

— ...все расплзается, все живое. Семьи, кружки, друзья, общества. По углам, по углам, по углам. Может быть, так и надо, а? Я не понимаю, то есть не могу постигнуть, а понять могу. Понять могу, а вот постичь... Тысячелетняя Россия. Тысячелетняя!..

Он вздыхает, перекладывает чемодан в другую руку. Но я отбираю чемодан, я уже не ребенок, а взрослые сами таскают свой багаж.

— Так решил? Ну-ну, тогда молодец. Тогда будем жить, а?

— Будем.

— Учиться хочешь или работать?

Я прикидываю. Чемодан тяжелый, и я часто меняю руки. Честно говоря, мне следует учиться. Этого хотели отец и мама, и я обязан. Но кто теперь будет меня кормить?

А дядя Сережа — будто слышит:

— Мы с женой, тетей Клавой, одни, так что не стесняйся. Кому счастье, кому несчастье, кому горе, а нам... Да. Решай сам. Как решишь.

— Надо бы семилетку.

— Надо — значит, надо, а там поглядим. Это даже проще: тетя Клава в гороно на важном посту, а я учительствую. Историю преподаю с прошлого года. До этого обществоведение, а теперь вот историю. По учебнику Панкратовой. Да. Так что до сентября отдыхай, обвыкайся, а там... Значит, сирота, из детдома сбежал. Это так нужно, понимаешь? Классовая борьба обостряется с каждым годом, и жить надо как прежде.

— Я из Крыма, дядя Сережа. Папа и мама от голода... меня в детский дом. А я оттуда сбежал. К вам.

Секунду он смотрит на меня полумертвыми глазами, потом вдруг обнимает, двумя руками прижимая к груди мою голову. Крепко-крепко!

4

Улица Декабристов, дом два дробь шестьдесят один. Пройдя суровые сводчатые ворота, налево — полуподвальная комната с единственным окном вровень с землей. Бывшая дворницкая, вход прямо со двора. Маленький тамбур, где когда-то хранились дворницкие орудия производства, а теперь — наши дрова. И еще личный водопровод. Это — большое удобство: собственная вода под боком, хотя остальные удобства во дворе.

Комната длинная и узкая, всегда полутемная или темная абсолютно: солнце сюда не заглядывает. Старый письменный стол у окна, полки с книгами, колченогий обеденный стол, несколько стульев и моя клеенчатая кушетка. Тетя и дядя спят за шкапом у дальней стены.

Тетя Клава — худенькая, стриженная под «совслюжающую», в неизменных кофтах: темно-коричневая — для службы, темно-синяя — для дома. Вечерами хлопочет у примуса, раздраженно стуча крышками кастрюль, утром спешит на службу. И дядя — в школу, тоже утром. И я весь день один. Мои дела: убрать комнату, сходить за продуктами. Зимой к этому прибавляются дрова для печки, но пока — лето.

Ни в нашей комнате, ни даже во дворе не определишь времен года. В комнате и в июле сыро и прохладно, а двор — без единой травки. Мощный квадрат, с трех сторон замкнутый массивными трехэтажными зданиями, с четвертой — громоздкими сараями. Во двор выходят тылы хлебопекарни, продуктового магазина и Дома Ответработников. С утра во дворе колют дрова, разгружают подводы, и время здесь постоянно, неделимо на лето и зиму, весну или осень. Оно подчиняется только ритмам труда, по которым живет двор. И в том дворе я пока никого не знаю, хотя видел ребят издали.

— Знакомиться не торопись, — наставляет дядя. — Пусть сначала приглядятся, привыкнут.

Второй вечер. В первый я рассказывал, что знал. Командировка, в которую отец уехал еще в марте, путевка для мамы и меня в Коктебель, военный комендант станции Джанкой, моя ночная пересадка на поезд в Смоленск. Тетя Клава сурово ставит точку:

— Больше не вспоминаешь. И никому не рассказываешь.

— Никому, — тихо и очень серьезно подтверждает дядя. — Никогда. Ни под каким видом. Иначе...

Он беспомощно разводит руками, включая в объятия худенькую, серьезную тетю Клаву, меня, длинную сырую комнату со всеми ее мокрицами, крысами, тараканами и клопами.

— Я понимаю. Крым, голод, детдом.

— Поменьше, поменьше, — строго говорит тетя.

— Что поменьше?

— Крым, детдом — подробностей не надо. Только обозначать, а рассказывай переживания, их не перевишь.

— И вообще больше слушай. Сейчас такое время, когда слушать полезнее, чем говорить, — вздыхает дядя Сережа.

— Письмо!

Тетя Клава выкрикивает это слово, как команду. Потом я пойму, потом... Нет, я ничего не успею понять, я только успею догадаться, что женщины — наше спасение. Они чувствуют опасность без всяких

чувств, потому что им отвечать за завтрашний день. Ведь может так случиться, что некому будет варить обед, некого ждать, не на кого ворчать, и тогда погаснут все очаги на земле. Все — и придет последнее оледенение: я чувствую, как у меня стынют на ногах пальцы.

Дядя Сережа суматошно хватается со стола письмо, бросается к печке. Вскрикивает: кажется, он обжегся, открывая дверцу. Но письмо бросил, и я вижу, как огонь начинает его коржить.

— Они по пеплу восстанавливают,— тихо говорит тетя Клава.

Дядя Сережа старательно орудует кочергой, на миг взвиваются искры, и все кончается. Нет больше мамино письмо. Ни одной строчки.

— Теперь они не прочтут.

Дядя Сережа опасливо оглядывается на меня, не зная еще, как я оценю это отчуждение — «они». Но я уже сжег все мамины слова. Раньше, в ту одинокую ночь в поезде.

— А Маруся Ивановна? — вдруг тихо спрашивает тетя.

Я ничему не удивляюсь. Я как будто уже знаю, что во дворе живет бойкая и смешливая дворничиха Маруся, забывшая в тридцать шестом свой смех по утрам, когда золотари приезжают чистить выгребные ямы и над всем кварталом повисает вонь. Густая, хоть режь: ее унимал только смех, и Маруся смеялась. А потом вернулась откуда-то с чужими глазами и без смеха. И потребовала, чтобы все жильцы звали ее Марусей Ивановной. По батюшке. Весь двор послушно стал называть ее так и стал бояться. А тот, кто не стал называть и бояться, тот уехал, никому ничего не сказав.

— Маруся Ивановна, а где Анохин? Куда девался?

— Куды, куды. Поменьше спрашивай.

Когда рекомендуют поменьше спрашивать, это означает — больше бояться. Я уже осваиваю понемногу эти новые правила и уже боюсь. Боюсь неизвестной Маруси Ивановны и особенно нашего знакомства, от которого не убежишь ни на каком ночном поезде.

А тем временем решаются вопросы обо мне. Вслух.

— Учиться ли ему в школе? Сергей, ты сошел с ума. Ведь там прежде всего требуют документы.

— Но как же ему без образования?

— Он пойдет работать. На завод. Нет, в железнодорожные мастерские. Да, да, там — здоровый коллектив.

Я чувствую запах страха. Люди истекают им перед цепными псами, сорвавшимися с цепей, перед старательными дулами расстрелов, перед временами, когда человека нет. Есть носитель чего-то: греха, идеи, веры, измены. Сосуд, из которого можно выплеснуть его собственную жизнь, если кому-то кажется, что она не соответствует. Не соответствует параметрам существования. Его шаблонам, матрицам, в лучшем случае — микрометрам с красной отметкой «До сих».

А Маруся Ивановна — ОТК. Ей выдали примитивный шаблон — до микрометра она никогда не поднимется. Но вгонять всех под шаблон — это с упоением ничтожества, достигшего первого восчувствования власти, первого ее глотка, всегда пьянящего и никогда не освежающего.

5

Маруся Ивановна появляется только через три дня. Она дает нам время вволю упиться ее властью и своим страхом.

— Здравствуйте с кисточкой. Наше вам. Как живете-тужите? Слышала, будто мальчика родили? И сразу — хоть к станку.

Она не слыхала — она видала. Меня лично. И я раза четыре с нею здоровался за эти три дня. Впервые — вечером по приезде.

— Вынеси ведро,— сказала тогда тетя.— Помойка во дворе.

Сараи — огромные, как вокзалы — замыкают четвертую сторону двора. Может быть, в них когда-то размещались экипажи и лошади, а теперь они все нарублены на клетушки, в которых местные воруют дрова друг у друга.

В середине сараев — разрыв для общественных нужников и огромной, как фонтан, помойки. Искать ее не приходится: помойка не в центре сараев, помойка в центре вселенной.

И возле нее трое парнишек моего возраста. А наискосок возле дома — двое постарше. По грязной, с чужого плеча одежке и манере цикать сквозь зубы — беспризорники. Курят в обществе миловидной женщины в красной косынке.

— Пашка, родной! Пашка, родной!..

Двое парнишек загораживают мне дорогу, а один нараспев зовет какого-то Пашку. Пацаны вполне домашнего вида, я тревоги не испытываю, хотя и понимаю, что подражаться придется. А в руках ведро, полное жидких помоев.

— Пашка, родной!

Женщина в косынке поворачивается, и я сразу же узнаю Марусю Ивановну. Я ни разу не видел ее, а узнаю мгновенно и суетливо кланяюсь:

— Здравствуйте. Здравствуйте.

Она продолжает молча смотреть на меня, парни тоже, а ровесники по-прежнему загораживают дорогу с явно враждебными намерениями: один демонстративно засучивает рукава, второй — посерьезнее, с прищуром — зажимает в кулаке старинный пятак для жесткого удара, третий припадочно кличет «родного Пашку». А беспризора с полным спокойствием смотрит на нас, и только в глазах Маруси Ивановны мне чудится огонек любопытства. И, поймав его, я шагаю пацанам навстречу и надеваю полное помоев ведро на голову серьезного с пятаком. Поворачиваюсь и иду назад, каждую секунду ожидая удара и силой заставляя себя умерить шаг. Пусть бьют — только не бежать. Пусть бьют — потом разберемся: я знаю закон дворов, улиц и военных городков. Сейчас врежут...

Сзади — хохот Маруси Ивановны. Хохоот вперемешку с забористым матом, которому вторит беспризора.

— Эй, чернявый!

Но я не оборачиваюсь. Я предъявил свою ксиву, драться мне не хочется, и лучше уйти таинственным, как граф Монте-Кристо.

Мы с тобой читали его, мама. Мы рвали друг у друга страницы, благо «Граф» был давно разодран. Мы читали взахлеб, и тот, кто обгонял, с покровительственным торжеством поглядывал на отстающего: «Я уже знаю, а ты — нет...» Ма, ты обманывала меня, азартно играя в восторг первооткрывателя. Обманывала, мам? Честно, в который раз ты читала «Графа Монте-Кристо»?

Утром следующего дня завтракаем чаем и черным хлебом с маслом: тетя Клава готовит только обеды. Да и некогда, потому что ложатся они поздно: я уснул, а они еще говорили, говорили...

— Сходишь за хлебом. Если будут давать сахар, бери два кило. С мальчишками не болтать.

Это ее указания, хотя я вчера ничего не сказал про встречу возле помойной ямы. Дядя молчит, и вид у него очень виноватый. Я понимаю: ведь он смутил призрачный покой семьи, оказавшись обладателем опасных родственников.

— В пять придем.— Он робко улыбается мне.

— У меня ячейка.— Тетя Клава не улыбается.—

А ты лучше поищи общественную работу, Сергей. Ты очень пассивен, ты пренебрегаешь обществом.

— Конечно, Клава, конечно.

Последние наставления относительно обеда, примуса, кастрюльки с остатками супа и сковородки с холодной картошкой. И смоленские родственники уходят на службу. Я мою посуду, прибираю в квартире и с кошелкой направляюсь в магазин.

Во дворе кого-то громко распекает Маруся Ивановна. Она не видит меня, но я все-таки кланяюсь: «Здравствуйте, здравствуйте». Сворачиваю в длинный — под всем домом — туннель ворот — и останавливаюсь: ждут. Беспризора и двое из вчерашних пацанов. Сердце бешено колотится, и я уговариваю себя не бежать. Надо завоевывать место во дворе, а помощи не будет. Никогда больше не будет... Но раньше, чем я делаю шаг, ко мне направляется вчерашний пацан. Не тот, которого я облил помоями (того вообще нет), а тот, что звал Пашку. Подходит, разглядывает, неумело цикает сквозь зубы и неожиданно объявляет:

— У Пашки «Ракета» и «Красин».

Соображаю: «Ракета» — папиросы-гвоздики по тридцать пять копеек за пачку, «Красин» — спички со знаменитым ледоколом. Молча подхожу, молча беру предложенную папиросу, молча прикуриваю, а они молча смотрят. Это проверка, но я уже курил. И лихо затягиваюсь, неторопливо выпуская дым через ноздри.

— Лафа,— одобряет Пашка.

Он белесый и улыбчивый; второй — Иван — смуглый, скуластый и угрюмо помалкивающий. У него костлявые кулаки, и голова у меня начинает плыть не только с глубокой затылки.

— Откуда приканал?

— Из Крыма. С детдома сбежал.

— Чего так? Крым — лафа.

— Пришлось,— неопределенно говорю я.

Самое безопасное — выдать себя хотя бы за полублатного. Даже отдаленная принадлежность к уголовщине очень уважаема не только в мальчишеской среде. Блатной мир — вернейший союзник в борьбе с внутренними врагами и гнилой интеллигенцией, и в мире, где не доверяют никому, еще с гражданской доверяют вору: я подслушал как-то разговор отца с мамой о «социально близких». А жизнь — даже моя, совсем небольшая — уже подтвердила его правоту.

— С ведром-то вчера, а? — Пашка смеется.— Ну, лафа! Я сразу понял, что ты свой в доску.

А через сутки, к вечеру, приходит Маруся Ивановна.

— Наше вам с кисточкой.

И ей шумно радуются, поят чаем с припрятанными для самых дорогих гостей конфетами, громко смеются ее шуткам. А я смотрю в ее глаза и молчу, чтоб чего-нибудь не испортить в этой ценнейшей дружбе, потому что дворничиха глядит на нас, как на мусор, который придется убирать. В ее взгляде просто нет никаких иных чувств.

Глава третья

1

Человек привыкает к другим, когда другие привыкают к нему. А ко мне привыкли скоро, мама. И твой брат дядя Сережа, и его сумрачная жена тетя Клава, и беспризора, и пацаны да пацанки двора, и даже сама Маруся Ивановна. И она тоже ко мне привыкла, ты не беспокойся, мама. Все хорошо, я сыт, обут, одет...

Каждый вечер я сочиняю письмо маме. Лежу с закрытыми глазами и отчитываюсь перед мамой, и за-

сыпаю, когда отчет заканчивается. И проваливаюсь в сон успокоенным и почти прежним.

Что случилось за лето? Да ничего. Излазил с ребятами всю Крепость, Лопатинский сад, подвалы в центре города. Бегал на Днепр купаться, стащил у пьяного рыболова удочку, ловил уклеек: за низку давали рубль, хватало на «Ракету» и французскую булку. Беспризора считала меня за своего, приглашала на дела, но от их дел я всегда отказывался, а вот на стреме раза четыре стоял. Пивом с воблой рассчитались.

— Как прошел день, сын?

Это с детства не ради отчета, а ради правды и порядка. Так завел отец, но он часто в командировках, и я привык докладывать маме. И докладываю до сих пор. Только где ты, мама?..

Зимой мне будет трудно, знаю. Сейчас — Крепость, Днепр, рыбалка — легкое время, легкие заработки. А скоро запрут в конуру — вечно сырую и темную бывшую дворницкую — и сиди в ней один. Беспризора моя уже собирается откочевать на юг, зовет с собой, но я отговариваюсь.

Дни катятся одинаковые, как горошины. Мои приятели осенью исчезают, и я остаюсь один. Впрочем, через месяц они возвращаются: оказывается, взяли их с поезда под Харьковом, но они сбежали и приканали в знакомые места. Живут в подвале под пекарней: тепло и хлебом пахнет. А ближе к весне крадут где-то лыжи, и мы целыми днями катаемся с крутых склонов Чертова Рва за башней Веселухой.

А по весне опять вдруг агитируют двинуть с ними на юг. И я опять отказываюсь. Нет, не тетю с дядей я не решаюсь бросить: я боюсь встречи с воспоминаниями.

— Мне на юг дорога заказана.

А может, напрасно? Может, мое место с ними? И всем легко: дяде, тете, мне. Ребята продолжают меня уговаривать, чувствуя дрожь в отказе. И я уже почти решаюсь, я уже и маршрут на Кавказ — только не в Крым, не в Крым, хватит! — прокладываю, а утром меня останавливает Маруся Ивановна.

— Эй, чернявый!

Подхожу. «Здрасте, здрасте, наше вам...»

— Твоих дружков вчера замели. У мороженщицы выручку на шарап брали, а тут милиция. И с поличными. Ох, шпана-а...

Замели... И нет друзей. И опять один: не с пацанвой же мне в самом-то деле...

Я исчезаю в одиночестве. Прибрав в комнате и наведя магазины, шатаюсь по городу, не зная, что делать, куда податься. Тоска отяжеляет меня, как свинец, даже рыбу ловить неинтересно, хотя ловлю: денег ведь мне не дают, а выдают на покупки, и тетя Клава цепко считает сдачу.

Дядя Сережа пока еще числится в отпуске, так как школа закрыта. Но он куда-то устроился на временную работу, и дома его по-прежнему не бывает.

Появляется он к сентябрю. И впервые никуда утром не спешит. Молча читает у окна. Я мою посуду, убираю в комнате. Неторопливо, потому что решил поговорить: тоска доконала.

— За что тетя Клава меня не любит?

Он складывает смоленский «Рабочий путь» (теперь все очень вдумчиво читают газеты), смотрит на меня грустными глазами.

— Она боится.

— Я уйду.

— А страх? Страх никуда уже уйти не может, никуда. А ведь Клавдия была такой отважной, такой безоглядной... — Он горестно вздыхает. — Она была командиром чоновского отряда, она участвовала в ликвидации банды Лесника, она... Она ранена была! Ранена в бою, у нас есть справка из госпиталя!

А эта... Эта Маруся Ивановна смеет кричать на нее, что Клавдия — нетрудовой элемент и вообще контра. Э, да что там!

Дядя Сережа безнадежно машет рукой и замолкает. А я жду, что он еще скажет, и, когда решаю, что беседа закончена, он неожиданно начинает говорить, не глядя на меня и будто бы для себя самого.

— Когда страха много, он переходит в иное качество. Количество в качество. Он делается заразным, как сыпняк, заражает сперва семью, потом — общество, целые классы, весь народ. Как сейчас, хотя рабочие бравировать. Но они тоже боятся. Я историк, я говорю тебе с ответственностью, что такого повального страха не переживал ни один народ со времен Адамовых. Геноцид вызывает всеобщий ужас, но всеобщий ужас сплачивает ужаснувшихся, а всеобщий страх разъединяет испугавшихся, понимаешь? Ужас — результат, а страх — средство, вот что я понял. Но цель? Должна же быть цель, если есть средство? И какова же должна быть цель, если средство столь чудовищно и...

Он опять замолкает. Он как бы проваливается в молчание, но мне почему-то кажется, что он вынырнет еще раз. И я понимаю, что мне нельзя ни о чем спрашивать, чтобы не помешать этому.

— Врагов стало больше, чем в гражданскую. Объясняют: обострение классовой борьбы. Как же получается: классы ликвидированы, а обострение осталось? Не получается, не сходятся концы, нелогично и, полагаю, антинаучно. Но факт есть факт, и его надо объяснить. И мое объяснение, как историка, таково: нас уведут от истины. А истина — всеобщий страх порождает врагов, как сон разума порождает чудовищ. Страх заставляет людей мчаться в белом колесе. А оно вращается от нашего бессмысленного бегу. И возникает иллюзия движения...

Дядя Сережа обрывает себя и медленно поднимает на меня глаза. В них — страх. Тяжелый и беспричинный; и я догадываюсь, что дядя Сережа перепуган собственными словами.

— Я ничего не говорил! — вдруг истерически кричит он. — Ничего, ничего, слышишь?..

Рушится на затрепавший стул, закрыв лицо руками. Я вижу, как вздрагивают его узкие плечи, я слышу, как он всхлипывает.

2

Этот разговор на опасную тему — последний. Больше мы не беседуем — мы общаемся по необходимости. Чувствую, что я им в тягость, но на носу — зима. Я стараюсь как могу, даже научился готовить, чем и заслужил едва ли не единственную улыбку тети Клавы: кухонную работу она считает унизительной. Тетя Клава — раскрепощенное революцией существо в юбке.

А за окном — дождь и ветер. Осыпались листья в Лопатинском саду и на Блонье, с мягким треском лопаются колючие гроздья каштанов, сыро и тоскливо до воя. Я несколько раз напоминаю о работе в железнодорожных мастерских, где здоровый коллектив, но родственники отмалчиваются. А потом тетя Клава рывкает:

— Там анкеты!

И я все понимаю: анкеты. Время и место рождения, социальное происхождение, прописка, родители. А что я могу написать? Подкидыш?.. Хожу на поденку: убираю листья в садах и скверах, помогаю ломовикам, разгружаю дрова.

А у нас дров почти нет: мне приказано экономить, топить через день, не подозревая, что именно холод и нехватка дров повернут мою судьбу.

Ах, мама, если бы ты знала, в каком обличье

предстанет предо мною моя судьба! Твою я помню: она явилась нам в Джанкое в виде до смерти перепуганного военного коменданта. Он потел, вытирал внутреннюю обечайку фуражки мятым носовым платком, надевал ее на голову, снова снимал и снова вытирал. Нет, нет, это не сама судьба, это всего-навсего ее вестник, а судьба... Какая она у тебя, мама? Куда завезла она тебя, где ты мыкаешь ее, не зная, что мы никогда не увидимся. Никогда... Или — в Великом Море, где не узнаем друг друга даже тогда, когда наши слезы сольются.

Семен Иванович Поползнев является, когда никого нет, кроме меня.

— Племянник, значит? Из Крыма? Так-так. Холодно? Вот и скажи: Семен Поползнев, мол, кланяться велел. А зайду завтра.

Он тут же и удаляется: говорливый, маленький, шустренький. Мелкое лицо его подвижно, но без лукавства, без хитрости. Он — открытый и чистый, как парус. Он способен тащить, напрягаясь до треска, даже большую баржу, но только по ветру: в галсах он не силен. Я не понимаю этого, я это чувствую и уже мечтаю оказаться в его лодке. Там, наверно, веселее.

— Топтрест притопал! — весело объявляет он на следующий день. — Здравия желаю, товарищ командир Клавдия Петровна!

— Здравствуй, Семен. — Я впервые вижу улыбку на лице тети Клавы. — Как живешь?

— Как положено, товарищ командир Клавдия Петровна. Людей грею, колхоз свой кормлю.

— Все ли здоровы в твоём колхозе?

— А что им сделается? Живут, раз хлеб жуют да добавки просят. Вот не дай Бог, опять хлебушка не станет...

— Что ты замолол, Поползнев? — Голос тети становится отчужденно-казенным. — Наша жизнь улучшается с каждым днем, несмотря на обострение классовой борьбы. И будет неуклонно...

— Конечно, так точно, товарищ командир Клавдия Петровна, — поспешно заверяет Семен Иванович. — Я ведь почему зашел? Потому что торф есть. Думаю, может, вам надобность.

— Есть такая надобность, — решает подать голос дядя Сережа. — Веза два, как, Клава?

— Одного хватит. Надо экономить.

— Оно, конечно, так точно. — Семен Иванович скучнеет, тербит мятую кепку. — Значит, завтра привезу?

— Помощника захвати, — неожиданно решает тетя Клава.

Помощник — это я. И еще — надо экономить. Все вместе увязывается в узел в моей голове, затягивается, давит. Невесело мне, словом. И я почему-то виновато встаю.

— Ага! — Семен Иванович вмиг озаряется улыбкой. — Это замечательно хорошо. Поворот на Витебское шоссе знаешь? Ну, возле виадука налево. Жди там в семь утра. В школе-то как, отпустят?

— Отпустят, — поспешно кивает дядя Сережа. — Труд — самый главный урок.

Мне кажется, и тетя, и дядя буквально выдавливают маленького, подвижного Семена Ивановича. И еще кажется, что на иное он рассчитывал. На беседу, чаек, какие-то общие и дорогие воспоминания. Но не случилось, и уходит он тихо и застенчиво, совсем не так, как входил.

— Напрасно мы его, — невразумительно бормочет, но очень вразумительно вздыхает дядя. — Даже пригласить не пригласили.

— Топтрест, — подчеркнуто произносит тетя Клава. — Ишь, как звучно! А что фактически? Фактически — единоличник, то есть мелкий собственник с аб-

солютно чуждой психологией. Эксплуататор.

— Да какой он эксплуататор...

— Лучше молчи. У тебя всегда избыток гнилой интеллигентской жалости. А тут возникает вопрос: почему же Семен Поползнев до сей поры занимается частным предпринимательством?

— Какое предпринимательство... Лошадь у него, вот и...

— Помолчи. Лошадь — собственность, превратившаяся в оковы. Он не может... Нет, он активно не желает расставаться с ними! А может быть, даже и демонстративно. Ты исключаешь такой вариант? Тот же. Думать надо. Мы живем в такое время, когда необходимо продумывать каждый шаг, взвешивать каждое слово.

— Ты, безусловно, права, безусловно, — торопливо бормочет дядя. — Только не сердись, Клавочка, не сердись. С твоим сердцем...

— Меня порой бесит твой паршивый либерализм. Тоже, между прочим, оковы. Да, да, вериги проклятого прошлого! У одного — лошадь, у другого — интеллигентщина.

Что-то происходит — не в полутемной бывшей дворничьей, а там, за окном, за двором, за городом Смоленском. Не знаю, не понимаю, но чувствую, как натянуты нервы у взрослых, вижу, как испуганно вздрагивают они без всякого повода, слышу, какими неестественными, какими вымученными, а главное, какими короткими стали их разговоры. Будто все ходят вокруг покойника. Огромного, растянувшегося на всю страну. Его невозможно не заметить, а замечать запрещено, замечать страшно и опасно, и все живут шепотом. Но ведь недаром покойника чувствуют звери и дети, а я еще не успел повзрослеть.

— А почему ты сказала, что нам хватит одного воза, Клавочка?

— А потому, что не надо афишировать. Сейчас все всё замечают, все — всё. Кстати, это тебя касается, запомни! — Тетя Клава очень серьезно смотрит на меня измученными постоянным напряжением глазами. — Звонким должен быть только общий труд на общее благо, а для себя надо жить скромно. А этот благодарный дурак готов привезти целый обоз...

Дядя Сережа будит меня в шесть. За окном — сумрачная темень, в нашей берлоге — промозглая сырость: топим экономно. Торопливо глотаю хлеб с маслом, запивая фруктовым чаем: тетя Клава считает его полезнее настоящего, но я подозреваю, что и в этом сказывается ее стремление жить тихо, скромно, а главное — незаметно.

— Возьми рубль, — говорит она. — На трамвай.

— Да я пешком.

— Возьми, я сказала. Булку купишь, если провозитесь. И чтоб никаких разговоров!

— Куртку надень! — успевает крикнуть дядя Сережа.

Проезд до вокзалов на маленьком и удивительно звонком смоленском трамвайчике стоит двадцать пять копеек. Еще десять — и пачка «Ракеты». И я на него не сажусь. Я бегу вниз по Большой Советской. Пролом, мост через Днепр, рыночная площадь, вокзалы, от виадука налево: здесь начало Витебского шоссе. Я примчался раньше договоренности.

Хмуро и сыро, но мне жарко от бега. Снимаю куртку и сажусь на гранитную тумбу тротуара. Куртка у меня хорошая, из тонкого шинельного сукна, и досталась она мне по наследству от дяди Сережи: ему дали по распределению драповое пальто, и тетя Клава отдала куртку мне.

— Надень бушлатик, надень. Осень тепло крадет тихо.

Позади — улыбающийся Семен Иванович. Протягивает руку и поднимает меня с тумбы.

— Карета подана. Я ее без тебя загрузил.

На шоссе у виадука — воз торфа, в который впряжена старательная лошаденка. Усаживаюсь на слегка пружинящие кирпичики хорошо высушенного торфа. Семен Иванович садится с другой стороны.

— Давай, Сивка-Бурка. А за Проломом слезем, ты уж не обессуди. Лошадку-кормилицу пожалеть надо. Она и не молода, и не колхозная, а моя собственная, вот. Несознательный я элемент, темный единоличник. Эксплуататор. И как доселе терпят?

Семен Иванович не умеет долго молчать, обладая склонностью к монологам. Журчит, не требуя ответов.

— Чудно со мной вышло, да. Только в колхоз меня записали, как тут же и мобилизовали, как бывшего чиновца. Я ведь в частях особого назначения служил, за Лесником гонялся под командой тети твоей Клавдии Петровны, вот. Хорош у тебя бушлатик? Офицерского сукна, какого теперь и не сыщешь нигде, разве, может, у командармов, вот. А шинель-то была самого Лесника, его благородия. Я ему в затылок стрельнул, чтоб, значит, шинелку не портить. Клавдия Петровна, она ранена была, навывлет Лесником ранена, потому у нее и деток-то нет, вот. Знобило ее, трясло, ажник подсакивала. Поручаю, говорит, тебе, боец Поползнев, свершить справедливый рабоче-крестьянский суд над белым врагом и палачом трудового народа. Я, конечно, свершил, но аккуратно. В затылок, значит. А шинель Клавдии Петровне отнес, укутал ее. Она сознание потеряла, думали, не доведем.

Куртка из тонкого офицерского сукна медленно наливается тяжестью. Давит, гнетет, душит. Я растегаиваюсь.

— А этого... Лесника этого без суда, так получает-ся?

— А зачем он, суд? Говорильня одна, а тут дело ясное. Активный враг советской власти, скрывался в лесах, оказал сопротивление. Знаешь, какая ему фамилия? Никто ее не знает, и ладно, пусть так Лесником и числится. Лесник — он лесник и есть, вот.

— А кто он был?

— Кто был, про то одна Клавдия Петровна знает. Да я. Был, да сплыл. Так Лесником и сплыл. А документы его я сжег. Полная сумка была. Бумаги разные, письма, фотографии. Все концы — в огонь, и остался он в донесении просто Лесником. Мертвому бумажки без надобности... Ну а теперь слезем и пеходралом в гору. Лошадку побережем.

Слезаем, идем рядом с возом — за Проломом начинается подъем на Соборную гору. Я молчу, подавленный убийством без суда, приказом тети Клавды, курткой из незапятнанного офицерского сукна. Я ничего не понимаю, но не решаюсь расспрашивать: покойническое время. Однако Семен Иванович долго молчать не способен.

— Так думаю, это Клавдия Петровна меня вспомнила, вот и мобилизовали. И на юг отправили, на границу с Украиной. Трупы возить да хоронить. Много их было, трупов-то, от голода люди мерли, а их сюда не пускали. Страшное дело. Ямы динамитом рвали, вот. А потом заболела вся наша команда. Ну вся, как есть, и нас в карантин да под охрану. Чтоб заразу не развозили. Там все и перемерли, а я чего-то нет. Команда, значит, вымерла, а имущество осталось. Вот и выдали мне при выписке из того карантин-на лошадь, бричку и справку, что я есть боец чиновского отряда города Смоленска. Не села Волкова, а города Смоленска, так оно обернулось. Я и подумал: справка есть, лошадь есть, зачем мне обратно в колхоз? Клавдия Петровна как бывший командир личность мою подтвердила, получил я паспорт, семей-

ство выписал и занялся извозом. Это сперва, а потом в городской топливный трест нанялся. Летом торфом промышляю, зимой — дровами...

Так, с разговорами, мы не спеша поднимаемся по Большой Советской, сворачиваем на улицу Декабристов и останавливаемся, потому что в туннеле ворот, ведущих в наш двор, застрял ломовик с бочками: видно, для спецстоловой привез.

— Скажу, чтоб куда продернул, что ли, — говорит Семен Иванович. — Либо вперед, либо назад. Поглядывай тут, чтоб торф не растащили.

Это мне знакомо: сам брал на шарап возы с торфом вместе с развеселой моей беспризорной. На папиросы, хлеб, даже на чайную колбасу иногда хватало, но то уже бывал праздник. И когда Семен Иванович скрывается в воротах, я начинаю озиаться с особой бдительностью...

Семен Иванович выкатывается из ворот. Бросается к возу, начинает зачем-то перекладывать торф. Я подхожу: руки у него дрожат, а глаз он не поднимает.

— Уходи. Бегом отсюда. На то место, где утром. Уходи!..

Его напряженный шепот обрывает все мои вопросы: в покойничкой не расспрашивают. Мигом срываюсь с места, без оглядки мчусь вниз, как мчался утром. Нет, быстрее. По той же дороге. По Большой Советской.

3

Задышавшись, останавливаюсь у кинотеатра «Палас». Покупаю в киоске пачку «гвоздиков», закурываю, прислонившись к афишной тумбе. Что все-таки случилось? И почему я побежал сломя голову? Может быть, кто-то ищет меня?

Ответов нет, но дальше я иду шагом. В голове полный ералаш, точно все вопросительные знаки сцепились друг с другом, и я не могу расставить их поочередно, чтобы возник хоть какой-то смысл. Я вообще не способен больше думать. Что-то треснуло навсегда.

Стою на углу, где утром ждал Семена Ивановича. Его все нет и нет, но меня тревожит иное. Почему понадобилось бежать немедленно, не теряя времени на расспросы? Значит, опасность была там, за воротами, вот-вот могла появиться и увидеть меня. Какая опасность может поджидать парнишку в собственном дворе, в самом безопасном месте мира?..

Было. Все было, и все стало иным. Мама, мама, прости, но я впервые думаю о тебе и отце с ужасом, потому что вы — мое единственное объяснение. Вы проговорились там, в своих тюрьмах, и теперь пришли за мной. Я знаю, знаю, что товарищ Сталин сказал: «Сын за отца не отвечает», — но только так могу объяснить, почему самое безопасное место в мире — собственный двор — вдруг стало смертельно опасным. А может быть, Семен Иванович что-то напутал? Может быть, он вернется сейчас на своей мохнатой лошаденке и все окажется ерундой? Может быть, он так шутит и мы вместе посмеемся?..

Но я уже не верю в эти спасительные мальчишеские «может». Я повзрослел, мама, и испытываю сейчас взрослое отчаяние, а не детскую надежду на чудо. Чудес не бывает. Чудес не бывает — какое страшное открытие! Взрослое отчаяние — это отчаяние без надежды. Его испытывала ты, мама, когда нас встретил комендант в Джанкое, теперь я это понял. Значит, они идут по моему следу?..

Стоп, стоп, кто — «они»? Это все безотчетный ужас, взрослое отчаяние. Мама, мне просто очень плохо, мне холодно, я чувствую лед завтрашнего дня. Нет, не лед это будет, не лед: страшнее. Это будет

бесчувствие. Я чувствую бесчувствие завтрашних дней. Ледовитый океан бесчувствия, который поглотит меня навсегда. Без времен.

Выкуриваю полпачки, когда наконец появляется знакомая телега. Пустая. Семен Иванович указывает рукой, и я на ходу прыгаю в телегу. Молча едем по Витебскому шоссе вдоль железной дороги.

— Никого не видел, когда утром уходил? Машины какой не было нигде?

— Нет.

— Арестовали их.

Я почему-то не удивляюсь. Только одиночество давит еще весомее.

— Когда подъехали, воз в воротах помнишь? Вот случай-то какой, а? Ну не будь того воза... — Семен Иванович безнадежно машет рукой. — Дворничиха меня встречает: а где, мол, племянник из Крыма? Ты, значит. А я как почувствовал: не знаю, говорю. Я, говорю, торфу им привез. Мне, говорит, торф отдашь, врагами народа они оказались. Я говорю: мое, мол, дело продать, а кому — все равно. Убери, говорю, пока телегу из ворот, я проехать не могу. Ну, она за тем ломовиком побежала, а я — к тебе. Такой случай, значит.

Сказать, что я думаю о своем, неправда. Ни о чем я не думаю, не хочу думать и не могу. Я — один, опять один. Один в гигантской мертвецкой наедине с гигантским мертвецом.

— Утром, говорит, только они, значит, на службу, а их — цап-царап у дверей. Дворничиха говорит, на машине, мол, трое приехало, спросили ее: никто, мол, к ним последнее время не приезжал?

Зачем я им, мама? Зачем?

— Какой же Клавдия Петровна — враг народа? Этого я не понимаю, это неправильно все. Ну, верно, ну, Лесник ей двоюродным братом приходился, знаю, документы читал, фотографии видел, ну так что из того? Она честно исполняла, что положено, благодарности имеет. Какой же она враг? Не-ет, ошибка, большая ошибка...

Молчу. Куда он везет меня? В тюрьму? Мне сейчас безразлично.

И все — мимо ушей и мимо сердца. Все бормотания Семена Ивановича. Нет, он совсем не испугался, он взволнован, выбит из колеи совсем по другой причине: он не может поверить, что командира его чоновского отряда могли арестовать. Это не укладывается в его голове, этого не принимает его душа. Непостижимость событий не вмещается в его понимание.

— Нет, не враг она, Клавдия-то Петровна, не может она быть врагом, не может. Я-то знаю, как она себя не щадя... Разберутся поди, а? Как думаешь?

Я думаю так же, как и он: говорю «разберутся», а чувствую, что никто не станет ни в чем разбираться. Откуда возникает это чувство? Ведь я же ничего еще не знаю, ничегошеньки, но что-то внутри меня знает без всякого опыта: «там» не разбираются. И Семен Иванович, бормоча «разберутся, непременно разберутся», тоже внутренне убежден, что никто не будет ни в чем разбираться. Мы — в Ледовитом океане, и каждый — на своей льдине. А кто не удержался, кто соскользнул с нее, тот соскользнул навсегда. Из пучины не вынырнешь, за лед не уцепишься, и никто не протянет соскользнувшему руку не от жестокости, а от невозможности. С льдины куда легче сдернуть в черную холодную мглу, чем из этой мглы вытащить на льдину. Мы стынем каждый на своей льдине, изо всех сил цепляясь за нее.

Это не то море, мама, куда я стремлюсь каждой каплей и где мы обязательно встретимся с тобой. Наше море — Море вечной жизни, но люди построили свой Ледовитый океан.

(Окончание следует.)



Александр
БЕЛЯКОВ

*Дебют в
ЮНОСТИ*

☆☆☆

Пять сезонов играл инженера.
Станиславский «Не верю!» кричал
Из могилы. Дурная манера.
Впрочем, если бы я отвечал!

Я бледнел, без вины виноватый,
Из-под глыб социальных румян,
И зарплата ложилась заплатой
На души моей тришкин кафтан.

По аллеям машинного парка
Синеблузой сомнамбулой брел,
Сам себе кукарекал и каркал,
Двухголовый бескрылый орел.

Что поделаешь? Слаб, человеке.
Амплуа прирастает к кости.
Не гневись, программистское вече!
Резиденту ошибку прости!

Как легко лицедействуют дети!
У отцов этой легкости нет.
Я — актер. Мое место в буфете.
Мне бы только денег на буфет.

☆☆☆

Общага — держава без грима,
Славянской души целина.
Здесь гении писают мимо,
Напившись дурного вина.

Здесь носятся вещие глюки
Над братством искусанных ртов,
Здесь девушки падают в руки
Подобием райских плодов.

Общага — ковчег неуютя.
Плыви, моя лодка, плыви,
Пока громыхает посуда,
В Страну Неформальной Любви.

Окошка открытая рана
Сочится вселенскою тьмой.
Товарищ, не тронь таракана!
Пускай возвратится домой.

Пускай возвратится хоть кто-то...
Мели, Емельяша, мели!
Сегодня не позже восхода
Нам снова торчать на мели.

Мы будем тверды и тверезы,
Мы честно поделим на всех
Дождя ль неуместные слезы,
Случайных ли гопников смех.

☆☆☆

Меня в осаде держит мир.
Я сатанею от засад.
В моем сортире — рэкетиры.
В моей постели — депутаты.

Горит на кухне самолет,
А в голове давным-давно
Цыпленок жареный клюет
Рациональное зерно.
— Гляди, пехота, веселей!
— Мой генерал, но я устал
В навозной куче новостей
Искать магический кристалл.
Одна лишь ночь со мной нежна,
Царица молчаливых дам,
Но белым шита тишина
И скоро затрещит по швам.

☆☆☆

Кинь мне в ухо анекдот —
Засмеюсь, как автомат.
Ты — Федот, а я — не тот.
Ты пузат, а я женат.
Прожевали соли пуд.
Пивом загасили огонь.
Наша юность — лилипут.
Ты, старик, ее не тронь.
Наша юность в голубом.
Наше сущее в каком?
Станешь соляным столбом,
И не двинуть языком.
Бесполезен этот шок.
Чем бы руку уколоть?
Мой сямский корешок,
Мой отрезанный ломоть.

☆☆☆

Газеты горят. Дым Отечества выел глаза.
Слепой музыкант воспевает последний парад.
По небу полуночи к Марсу летит колбаса.
Кремлевские звезды на землю упасть норовят.
Беззубая бабка устала загадывать, но
Стреляет глазами, надеясь попасть в колбасу.
Хозяин тайги прорубил слуховое окно
В Европу и все-таки держит топор на весу.
Слепой музыкант отпевает полночный уют.
В семье нерушимой на тестя бросается зять.
Беззубая спит. Колбасу марсиане жуют.
И цвета рассвета покуда нельзя распознать.

☆☆☆

Уютный говорок на кухне.
Шип сковородный на плите.
Светильник разума, потухни!
Дай, я побуду в темноте.
Себя во мгле не различая,
Я чинно сяду у стола.
Здесь нет святыни, кроме чая.
Здесь, кроме мухи, нету зла.
Здесь жизнь бессовестно приятна,
И в оправданье, грешный гном,
Твержу: «Есть и на Солнце пятна,
А вовсе не на мне одном».

☆☆☆

Я — человек из каменной коробки,
Скрежещущей машины шестерня.
Мои движенья скованны и робки.
Чего же вы хотите от меня?

С рожденья отлучен от шума леса,
От пенья птиц и запаха травы,
Я — жертва социального прогресса,
И мне не прыгнуть выше головы.

Мне чистый горизонт, увь, неведом,
И тяжело взгляду в этой тесноте.
Здесь хватит места бедам и победам,
Но не найдется места красоте.

Мне слишком рано крылья обломали.
Тогда они еще не проросли.
Я — вечный пленник поднебесной дали,
Но мне не оторваться от земли.

г. Ярославль



ЖИЗНЬ ТУРГЕНЕВА



Роман

Осенью 1853 года с него сняли опалу. Он мог теперь жить где угодно и что угодно делать. Вознаграждая себя за деревенское сидение, покатыл в Москву и Петербург. Началась жизнь рассеянная, среди друзей как Анненков, Боткин, полудрузей — Некрасов, Панаев, Григорович, обеды, салоны, светское общество. Тургенев начинал уже «блистать». Голова его стала почти седая — ранняя седина, тридцатипятилетняя, но глаза живые, фигура могучая, одевался он отлично, и раскинувшись в креслах где-нибудь, у графини Салиас, рассказывал своим тонким, высоким голосом — занятно и увлекательно — разумеется «украшал» гостиную: и зрительно, и духовно.

Жизнь же шла бестолково. Денег довольно много, щедрости тоже: никто никогда не укорял его в скупости. Давал он направо-налево, без разбору. Как настоящий русский писатель был кругом в авансах, и Некрасову, денежки любившему, доставлял в «Современнике» немало огорчений. Но ничего не поделаешь. Тургенев считался первым писателем, приходилось терпеть.

Он любил устраивать обеды и устраивал их неплохо. Крепостной Степан, красивый и здоровенный малый, настолько влюбленный в своего барина, что, когда тот предложил ему вольную, он отказался, — этот Степан проявил чудесный поварской талант и украшал своим художеством стол Тургенева. Сам барин на обедах бывал мил и весел, и только когда Анненков с Гончаровым приближались к муравленному горшку со свежей икрой от Елисея, он не без ужаса кричал:

— Господа, не забывайте, что вы здесь не одни.

Боткин же, на радостях от удачного соуса, требовал, чтобы хозяин позвал Степана:

— Буду от благодарности плакать ему в жилет.

Все это приятно и весело, но одновременно Тургенев язвительно и подсмеивался над многими, сочинял эпиграммы не без злости. В позднейшей ненависти к нему Достоевского отозвалась, конечно, давняя насмешка Тургенева. Вряд ли обрадовали и Кетчера такие стихи:

Кетчер, друг шипучих вин,
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин.

За это время совсем прекратилась его переписка с Виардо (по крайней мере, для нас: писем не существует). Куртавенель временно затонул. Фетистка, правда, тоже сошла, но появилось другое тяготение — к молодой девушке, дальней его родственнице, Ольге Александровне Тургеневой. На этот раз место действия — окрестности Петербурга, Ораниенбаум, где она жила летом 1854 года (а Тургенев в соседнем Петергофе). Знакомство их шло еще со времен до высылки. У ее отца А. М. Тургенева, изящного и просвещенного человека, и читал Иван Сергеевич написанную под арестом «Муму».

Ольга Александровна была крестницей Жуковского, девушка тихая, кроткая, хорошая музыкантша, плоть от плоти чинной и благообразной старшей Руси, нечто от Лизы Калитиной, Тани из «Дыма». Роман оказался, так сказать, «свирельный». Тургенев разыгрывал ласковые мелодии, что-то в нем трепетало. Девическую душу он, конечно, взволновал и разбудоражил, но пред решительным шагом остановился. Было настолько недалеко от брака, что он говорил об этом со стариком Аксаковым, когда весною был у него под Москвой в Абрамцеве. Тот гадал ему на картах... Но Тургенев остался Тургеневым. Брак не для него. Томления, мечтания, нежные разговоры в отсутствии куртавенельского сфинкса — это одно, перелом жизни — другое.

Он одержал над Ольгой Александровной, как некогда над Таней Бакуниной, ненужную победу. В обоих случаях главенствовал, и это его расхолаживало. Ни та, ни другая не имели над ним власти и большой роли сыграть не могли. Но Ольга Александровна оставила более мягкое и светлое воспоминание. В «Дыме» (Таня) он помянул ее добром. И, вероятно, был перед ней вообще как следует виноват: Ольга Александровна так тяжело переносила неудачу, что заболела, долго не могла оправиться.

А Тургенев... по-видимому, он так же внезапно уехал от нее, как в свое время из Зальцбрунна от Белинского и Анненкова. Нельзя даже сказать, сам он уехал, или некий легкий ветер унес его. Хорошо или плохо он сделал, но это по-тургеневски. Ответ за характер придется еще держать, но позже. А пока что были еще Россия, надвигающаяся Крымская война, литература, творчество.

Война никак не отразилась на Тургеневе. Молодой Толстой хоть побывал в Севастополе, повоевал. Тургенев несколько не изменил жизни, и даже в переписке его за это время о войне очень мало.

Зато настало ему время пожать плоды упражнений в ссылке. Тогда написать романа не удалось. Летом 55-го года, в том же Спасском, засеб, он в семь недель закончил «Рудина», вещь в некоем смысле дебютную и блестящую. «Рудиным» открывается полоса тургеневского романа и тургеневской наиболее широкой (но не всегда глубокой) славы. Может быть, «Рудин» как роман и не весьма ярок, не вполне удачно построен, все же сам Рудин до того русская роковая фигура, что без нее Россия не Россия (как и Тургенев не

Тургенев). Все «лишние люди», все русские Гамлеты и незадачливые чеховские врачи пошли от Рудина, и так как Тургенев очень много своего вложил в эту фигуру (хотя и предполагал написать Бакунина), то получилось очень хорошо. Смесь донкихотства со слабостью, фразой, неудачничеством единственна. Способность зажечь сердце девичье и не удовлетворить его — как все это знакомо! Хорошо оказалось для литературы, что автор незадолго сам пережил роман — пустоцветный и, может быть, полный для него укоризны, но позволивший многое написать в любовной стороне «Рудина» по свежим следам.

Есть в этом произведении еще одна трогательная: отзвуки тургеневской молодости, Станкевича, энтузиазма, студенческих «ночных бдений» над неразрешимыми вопросами. Чуть не через двадцать лет отозвался в его писании Берлин, и многое, что складывало самый облик Тургенева.

«Рудина» он привез из Спасского в Петербург. Тут, как полагается, без конца его читали приятели, советовали, хвалили, «указывали на недостатки», и, как всегда, Тургенев почему-то слушался их, волновался и покорно «исправлял».

Среди этих занятий приобрел он одно замечательное знакомство: в ноябре приехал из Севастополя в Петербург молодой артиллерийский офицер граф Лев Толстой. Этого Толстого Тургенев уже несколько знал по литературе. «Кстати, не правда ли, какая отличная вещь «Севастополь» Толстого?» — писал летом Дружину. Теперь «Севастополь» явился в Петербург лично. Привез с войны всю свою угловатость, темперамент, страстность и чудный дар. От него пахло пороховым дымом, ложжентами, солдатскими словечками — как ранее полон он Кавказа и поразительных его дикарей. Что читать мог он там? Каким нежностям и томлениям предаваться? Это был застенчивый, гордый, безмерно самоуверенный и гениальный артиллерийский офицер с некрасивым и грубоватым лицом, небольшими, глубоко сидевшими серыми глазами величайшей остроты и силы. Великорусский тяжелый нос, способность вспыхивать и безумно раздражаться, желание всегда быть особенным, ни на кого не похожим, всегда противоречить — особенно известным и видным, — все оценить по-новому, исходя не из знаний, а из силы натуры. Таким можно себе представить Толстого — уже замеченного «талантливого» писателя, но еще экзаменуемого, аттестата зрелости не получившего.

Что может быть противоположнее Тургеневу? Представишь ли себе Тургенева на Кавказе или на Малаховом кургане? Без каких-нибудь дам и барышень, перед которыми он блистает, и не может, даже не должен не блистать: он не был бы тогда Тургеневым. Или Тургенев без книг, театра, среды литераторов? Без многолетней и глубокой, тонкой просвещенности?

Он сразу понял в Толстом писателя — да еще какого! Для него этого достаточно, чтобы за приезде ухватиться: Тургенев очень и жизнью интересовался, а уж литературой исключительно. Получилось даже так, что Толстой поселился у него на квартире.

Первое время все шло отлично. Всякому старшему писателю приятно опекать младшего. (Тургенев был на десять лет старше Толстого.) Но при условии послушания и почтительности. Толстой очень ценил некоторые черты Тургенева — ум, доброту. Много высоко ставил и в «Записках Охотника». В общем же... его невлюбил. И уж никак не мог держаться скромным учеником. Да и Тургенева чем дальше, тем больше Толстой корбил. Даже жизненные привычки были у них разные. Тургенев изящно одевался, любил порядок и опрятность, от него пахло духами, он носил тонкое белье. Выезжая в общество, надевал

отличный фрак. Обедать любил вовремя и был гастрономом. Понимал в вине, но никогда не напивался. Сидел в салонах и беседовал с дамами, но не катал по кабакам, не любил троек, цыган, кутежей.

В комнате Толстого пахло табаком, все было разбросано, сапоги могли стоять на туалетном столике, брюки валяться на рукописях, или рукописи на брюках, нередко возвращался на рассвете, вставал Бог знает когда, ходил по квартире, немытый, угрызался за «недолжную» жизнь, и тотчас начинал громить первого встречного, ел Бог знает что, на ходу, решая вопрос о правде в человеческих отношениях и чаще всего находя, что все неправда и хорошо бы вообще весь мир переделать сверху донизу.

Разумеется, хозяин и гость не могли двух слов сказать, не заспорив. Тургенев жизнь окружающую признавал, считая, что ее надо улучшать. В Толстом сидело и тогда зерно всеобщего разрушения и постройки всего заново. Тургенев любил культуру, искусство, всякие утонченности и «хитрости». Толстой все это отвергал. Тургенев никогда не проповедовал и не особенно моралью интересовался. Толстой все это бурно переживал. И так как был малообразован, но безмерно самолюбив и силен, то ему доставляло наибольшее удовольствие оспаривать неоспоримое.

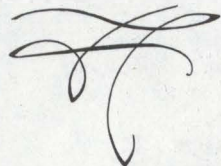
Литературный круг Тургенева в то время составляли Некрасов, Панаев, Дружинин, Григорович, Боткин, Анненков, Писемский, Гончаров. Толстой бывал также на этих собраниях. Он играл на них роль enfant terrible. Ему казалось, что Тургенев слишком красноречив и «фразист», сам он перегибал в другую сторону, но желанная, столь великая простота, естественность, не так-то легко давалась: тут приходилось бы уж подыматься к Пушкину — толстовское же стремление к угловатости, «корявости», конечно, простою не было. Разве простота вся та известная сцена, когда Толстой, возражая волнуемому Тургеневу, заявил:

— Я не могу признать, чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.

Ни с каким кинжалом нигде Толстой не стоял, собственную жизнь прожил в огромных противоречиях с этими самыми «убеждениями» и в некотором смысле показал себя вовсе не сильным человеком, так что выпады вроде приведенных меньше всего правдивы и просты. В них есть театр, подмостки (чего не лишен был и Тургенев, но в другом роде. Тургеневский театр условен в «изяществе», толстовский — в «простоватости»).

Но Тургенев всегда знал, что он не пророк, не реформатор. Поэтому в некотором смысле держался проще Толстого. Ему слишком близок был дух свободы и незамутненного художества.

Из личного знакомства этих замечательных людей не вышло ничего. Но странные, болезненные и тяжелые отношения тянулись всю жизнь, то обостряясь, надолго вовсе прерываясь, то возобновляясь.



Сумрак

И вот прошло шесть лет, как покинул Тургенев Францию. Шесть очень важных лет. Из бедствующего

литератора в неладах с матерью он обратился в первого писателя страны, признанного всеми, имеющего связи в свете и в среднем кругу, человека с хорошими средствами и вполне независимого. Слава шла к нему по заслугам. «Бежин луг», «Певцы», «Касьян с Красивой мечи» углубляли «Записки Охотника». «Фауст» вводил в таинственного Тургенева. «Рудин» показал в нем романиста. Блестящий, удачливый, красивый Тургенев... Как будто все, что нужно.

Уже с 53-го года прекратилась его переписка с Виардо (или почти прекратилась) — вслед за весенней встречей в Москве. Вряд ли встретились они плохо. Скорее наоборот. Но что-то начало удалять их друг от друга. (Не освобождая вполне.) Сказал ли он о себе? Дошли ли до нее вести об Ольге Александровне? Почувствовал ли он в ее жизни нечто иное? Во всяком случае, к концу этого шестилетия некое беспокойство стало точить Тургенева. Не так проста была его история с Виардо. Приходилось все досказывать, дожить, доиспытывать. Его вновь потянуло на Запад. Осуществить это стало легче — Крымская война кончилась.

Как раз в то время Тургенев познакомился с графиней Елизаветой Георгиевной Ламберт — женщиной тонкой и умной, мистического склада, глубоко верующей. Часто навещал он ее в Петербурге на Фурштатской, сживал наедине в уютной комнате с иконами, книгами, вел те беседы, на которые был великий мастер: что-то изливал, о чем-то вздыхал, в чем-то искал (и находил) сочувствие. Графине открыл он свои сердечные дела. Началась между ними и переписка.

Связи в свете у Елизаветы Георгиевны были большие. Он перед ней за многих хлопотал, и ему самому, видимо, помогла она в 1856 году с выездом за границу (не так охотно все-таки давали разрешение). В майском письме 1856 г. из Спасского он благодарит ее «за участие», которое она оказала ему в Петербурге. Приоткрывает это письмо и кое-что в нем. «С тех пор, как я здесь, мною овладела внутренняя тревога... Знаю я это чувство! Ах, графиня, какая глупая вещь потребность счастья, когда уже веры в счастье нет!» В июне поездка совсем налаживается.

«Позволение ехать за границу меня радует... И в то же время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни». (Т. е. быть при Виардо, не свивая «гнезда».)

А вот следующее письмо, тоже июньское: «Я не рассчитываю более на счастье для себя, т. е. на счастье в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами... Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшаяся глупость пробежи мимо, так и бросишься за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон-Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон-Кихоты и видят, что Дульцинея урод, а все бегут за нею».

Слова странные, но знаменательные. Надежды на счастье нет, а гнаться за ним все же хочется. Ехать за границу опасно, а все-таки едет. Дульцинея не такая уж и красавица...

Ясно, к кому это относится. Слово соскочило тяжелое, грубое. Какой-то надлом уже был. Что-то задело. И в то же время свободы, равнодушия нет. Будто и переписка заглохла, и другие уклоны являлись, и годы подходят (к сорока он считал себя уже «стариком»), а все-таки... грустно сидеть в великолепном Спасском, где легко завести десять Фетисток, но где нет единственной, не красивой Полины Виардо.

И он тронулся — 21 июля 1856 г. на пароходе в Штеттин, как некогда, в молодости выезжал в дальние края учиться. Тогда боялся матери, тайком играл на пароходе и чуть не погиб в пожаре. Теперь мать давно в могиле. Пожара не случилось, в штосс он играть мог бы, да не хотелось — зато поездка вся была азартной игрой. Он ставил крупно, на Виардо и на все будущее свое...

Из Штеттина во Францию, снова осень в Куртавенеле. Снова Виардо, замок времен Франциска, парк, милые пруды, каналы, тополя, дубы и вязы, леса, поля, где стреляли они с Луи Виардо куропаток.

Будто бы все прежнее, но все и другое. Дорого пришлось платить эту осень за дни былых куртавенельских радостей!

Шесть лет разлуки оказались не пустяк. Фетистка, Ольга Александровна — с его стороны. Была ли у женщины в расцвете сил, с натурой и темпераментом Виардо-Гарсиа вся душа прикована к старому, бесцветному мужу, охотнику за жаворонками и куропатками? Могла ли она так уж отдаться загадочному русскому другу, шесть лет безвыездно прожившему в Скифии, не столь много ей и писавшему, имевшему связь, чуть не женившемуся? Надо быть справедливым: Виардо не бралась за роль Пенелопы. Но вот теперь, после шести лет отсутствия, этот туманный, мечтательный друг появляется... Началось что-то новое.

Нет сомнения, что, вернувшись, он увидел такое, о чем издали, может быть, и догадывался, но не знал точно. А теперь вложил персты. Молва называла его соперником известного художника Ари Шеффера, близкого человека к Полине — он писал ее портрет.

Тут и оказалось, что пока жил Тургенев в Спасском, блистал в Петербурге, Полина представлялась ему петраркической мечтой, смутно вздыхательной, к которой жизненно не так уж он и стремился. Теперь, увидев, что его дело проиграно, испытал все, что полагается. В страстности, умении страдать, ненавидеть, оскорблять или впадать в болезненный восторг проявил даже неожиданную силу.

Как раз тою же осенью Фет находился во Франции. Смесь замечательного поэта с грубоватым помещиком, поклонника Шопенгауэра с провинциальным офицером, Фет явился в Куртавенель на зов Тургенева, но не особенно удачно. Тургенев что-то перепутал. В расстройстве чувств забыл — и вышло так, что в день приезда Фета он надолго отправился с Луи Виардо стрелять куропаток. Лошадей в Розье не выслали, Фета подвез случайный фермер. В замке удовольствие приема выпало самой Полине. Она повела гостя на прогулку. Охотников встретили только под вечер, выйдя в поле, — и как раз в Куртавенеле в эти дни были гости, так что и поместить приезжего оказалось нелегко. Все-таки он провел здесь несколько дней.

Некою своей аляповатостью, видом армейского офицера *endimanché*, несмешными анекдотами на плохом французском языке, кольцами на руках произвел впечатление неприятное. С Тургеневым иногда запарался и спорил. Кричали так, что Виардо казалось — не убьют ли друг друга эти два скифа, шумевших на своем загадочном наречии. Но, быть может, Фет — в другом смысле — попал и вовремя. Все-таки это свой человек, приятель, сосед по имени и художеству. Тургенев многое ему рассказал — горькие и тяжелые вещи о себе и Полине. Сам он себя ненавидел: тогда лишь блаженствовал, когда женщина каблуком наступит ему на шею и вдавит лицо в грязь. А в одну горькую и большую минуту выкрикнул («заламывая руки над головою и шагая по комнате»):

— Боже мой, какое счастье для женщины быть безобразной!

Фет возвратился в Париж, но все запомнил. Перебрался осенью и Тургенев — *Harue de Rivoli* (а с января нанял квартиру *11, rue de l'Arcade*). Много стонать мог бы записать Фет за эту зиму, едва ли не труднейшую для Тургенева. Точно бы все тут соединилось против него, начиная с климата: холода разразились беспощадные.

Случалось в рабочих кварталах, что ночью дети замерзали в колыбелях. Отопление и в порядочных кварталах было ужасное. Тургенев жестоко мерз. Приходилось сидеть за письменным столом в нескольких шинелях. Из-за холодов обострились его недомогания — открылись тяжелые боли в нижней части живота. Не мог не вспомниться отец, Сергей Николаевич, рано погибший от каменной болезни. Известна мнительность Тургенева. В болезнях все казалось ему наихудшим. Толстой, находившийся тогда тоже в Париже, писал о нем Боткину: «Страдает морально так, как может только страдать человек с его воображением».

Тургенева лечили, прижигали, мучили... Ему предстояла еще, несмотря на мрачные мысли, долгая жизнь. Но, вспоминая о его мученическом конце, более понимаешь и подозрительность: будто острее других чувствовал он в себе страшного врага.

С Виардо ничего не налаживалось. С дочерью тоже нелегко. Поля давно превратилась во французскую Полину, так забыла все русское, даже язык, что не могла ответить отцу, как по-русски «вода», «хлеб» — зато отлично декламировала Мольера. Ей шел пятнадцатый год. С Полиной Виардо она не ужилась, да, может быть, теперь и самому Тургеневу не очень-то хотелось, чтобы она у ней оставалась. Он взял дочери гувернантку, английскую даму Иннис, и втроем поселились они на *rue de l'Arcade*.

Больной, раздираемый любовными страданиями отец, подросток-дочь, выросшая в чужой стране, в чужой семье полусироткой, полу-из милости, характером не из удобных, отца совершенно не знавшая и близости к нему не чувствовавшая, да английская гувернантка — невеселое сообщество.

На душе у Тургенева мрачно. Все не нравится, все не по нем. Не нравится он сам себе, не нравится писание. В настроении, не столь от гоголевского далеком, уничтожает он свои рукописи. «Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет»... — значит и пусть все насмарку. «Были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали — повторяться не хочется — в отставку!»

Зима 56—57 г.г., редкая у Тургенева, ничего литературе не дала. Не жизнь была, а прозябание. И то, что не писал, что пал духом и потерял (временно) веру в свое дарование, еще более угнетало.

И Париж, и парижская жизнь, и литература — все не по нем, все не так. «Я замечаю одно обстоятельство: я ни одного француза не полюбил в течение этой зимы, ни с одним симпатически не сблизился». «Французская фраза мне так же противна как и вам — и никогда Париж не казался мне столь прозаически-плоским». «Милый Яков Петрович, вы пеняете на меня за то, что я не пишу, а я именно потому не пишу ни к вам, ни к друзьям вообще, что ничего веселого сказать не могу, а жаловаться и вздыхать не стоит. Мне всячески скверно, и физически, и нравственно: но в сторону это! Надеюсь, что мне лучше будет через месяц, т.е. когда я выеду из Парижа. Солон он мне пришелся, Бог с ним!» «Причина этого настроения вам известна: я об ней распроси-страняться не стану. Она существует в полной силе — но так как я через три недели с небольшим покидаю Париж, то это придает мне несколько бодрости».

Тургенев поступил разумно — из Парижа весной

уехал. Побывал в Лондоне, а летом попал в немецкий городок Зинциг, близ Рейна, недалеко от Бонна. В Зинциге пил воды, провел месяц. Хотя зимой казалось ему, что он больше ничего не напишет, но как раз тут, в Германии, и родилась «Ася». Старый немецкий городок, липы, виноградные усики, луна, петух на готической колокольне, белокурые девушки, гуляющие по вечерам, одиночество, Рейн — все это очень тургеневское и, вероятно, очень его окрыляло. «Ася» вполне удалась. Повесть прославлена — действительно налита поэзией. Может быть, несколько слишком «поэтична» (руины, закаты, луна, виноградники и т.п.). Но в ней есть и черта очень странная. Во всю прозрачность, остроту «поэтических» чувств введен резкий «мотивчик»: рассказчик приехал в старый городок потому, что искал уединения: «я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой». Э-а вдова «сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному красноречивому баварскому лейтенанту». Вдова упорно проходит через всю «Асю», служит центром раздражения и насмешки, претерпевает явную авторскую нелюбовь («не без некоторого напряжения мечтаю о коварной вдове», «в течение вечера ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице» и т.д.). Повесть построена так, что чувство к вдове вытесняется — ощущением поэзии места, тихой простой жизни, образом самой Аси. Как будто надо отделаться от тяжелого и дурного — это и достигается в мирной, старомодной стране. Будто и горькая радость есть в том, чтобы вдову опошлить, принизить («краснощекий лейтенант...»).

Не так просто дается смирение. Не одна поэзия старой Германии в Тургенева вливалась. Острые, неизжитые страсти рождали карикатуру. (На подлинник умышленно не походившую. Но тем язвительнее укол.)

Он провел в Зинциге весь июль. Графине Ламберт так писал: «Я дурно себя чувствую и должен отсюда ехать, куда — не знаю сам». Вскоре попал в Булонь, и продолжает то же письмо: «Да, графиня, я решил воротиться, и воротиться надолго. Довольно я скитался и вел цыганскую жизнь».

Виардо же тем временем родила сына Поля. Тургенев по этому случаю написал ей письмо неестественно восторженное. «Hurrah! Ura! Lebehoch! Vivat! Evviva! Zito!»... и даже восклицание по-старокельнски, по-арабски. Все оно вообще болезненно, в настоящей радости так не пишут. Боль, которую хочется заглушить театральным восторгом, в нем не скрыта.

Г-жа Виардо родила сына 20 июня 1857 г. Фет посетил Тургенева, только что приехавшего, в сентябре 1856-го — ровно девять месяцев тому назад... Дальше все тайна. Поля мог быть сыном Тургенева, пока тот не узнал о Шеффере. Мог быть и не его сыном. Во всяком случае, тут для Тургенева была драма.

* * *

В августе он попал в Булонь, на морские купанья. Затем — Париж. Далее все тот же ветер занес его на горестное пепелище — в Куртавенель. Отсюда пишет он Некрасову: «Ты видишь, что я здесь, т.е. что я сделал именно ту глупость, от которой ты предостерегал меня». Некрасов был практический и крепкий человек — знал, как в таких случаях надо действовать. Знал бы и покойный Сергей Николаевич Тургенев. Иван же Сергеевич, приехав туда, куда не надо, мог только вздыхать: «Так жить нельзя. Полно сидеть на краешке чужого гнезда. Своего нет, ну и не надо никакого».

Тем не менее после тоски Куртавенеля и ему удалось сделать правильный шаг: вновь двинулся он

в путешествие, выбрал Италию, Рим. Лаврецкий, в сходном положении, поступил так же. («...Он поехал не в Россию, а в Италию». «Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женой».)

Тургенев в Италии уже бывал — давно, семнадцать лет назад, студентом. Тогда жилось легко, светло. Все — впереди. Теперь он — человек с рано поседевшими кудрями, нездоровый, упорно думающий о смерти, одинокий, с разгромленным сердцем. Но Италия осталась прежней и не обманула.

Боткин, с которым он отправился, не мог заменить Станкевича. Но оказался хорошим товарищем. Они вместе подъезжали к Риму на лошадях, в дилижансе, и первый вид на него открылся с Monte Mario, а вступили чрез Porta del Popolo. Тургенев остановился в Hôtel de l'Angleterre, на via Bocca di Leone — там они и обедали с Боткиным.

Началась жизнь, какую не мог не вести Тургенев, как бы себя ни чувствовал: музеи, галереи, катакомбы, знакомство с художниками, Александр Иванов, заканчивавший свою знаменитую картину, поездки в Альбано, дикое Rocca di Papa, Фраскати, где вечерняя заря заливала их «нестерпимо пышным заревом, пылающим потоком кровавого золота». Вилла д'Эсте, книги, классики...

Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красоту молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала — не отвечала на письма. Но он переписывался с друзьями — Анненковым, графиней Ламберт. «Природа здешняя очаровательно величава — и нежна, и женственна в то же время. Я влюблен в вечно-зеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные бледно-голубые горы. Увы! я могу только сочувствовать красоте жизни — жить самому мне нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня, не стряхнуть мне его с плеч долой». — Как так стряхнуть, если, сидя на Пинчио, увидав проезжающую в коляске даму — вдруг бросает он собеседника и как сумасшедший кидается догонять экипаж: показалось, что это Полина.

Но он понимает, что нечто надо закончить: «В человеческой жизни», пишет графине Ламберт, «есть мгновения перелома, мгновения, в которые прошедшее умирает и зарождается новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать — и либо придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что не созрело».

Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения. Осень была чудесна. Все синее-синие небеса, вся роскошь Испанской лестницы с красноцветными башнями Trinita dei Monti, величие Ватикана, задумчивость базилик, тишина Кампаньи, фонтаны, Сивиллы, таинственная прахообразность земли — все говорило об одном, в одном растворяло сердце. У Тургенева были глаза, чтобы видеть. Были уши, чтобы слышать. «Рим удивительный город: до некоторой степени он может все заменить: общество, счастье, даже любовь». Вечность входила в него, меняла, лечила. Делалось это медленно. Он и сам не все видел. Иногда болезнь неприятно раздражала и томилась. Темные мысли — о судьбе, смерти, бренности — именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал.

Это видно в самом его творчестве. Очень важно, и очень хорошо, что он в Риме задумал (и частично написал) «Дворянское гнездо». В этих страданиях создал тишайший и христианнейший образ Лизы. Той зимой ему приоткрылся просвет, могший дать утешение: путь религии. Для себя он, к несчастью, его не принял. Но с любимой героинею по нем шел, значит как-то, в чужой жизни, художнически, но изжил.

Изживал в «Дворянском гнезде» и другое. Вся история Лаврецкого и жены, изменившей ему с белокурым смазливym мальчиком лет двадцати трех, — еще неостывшее личное. По напряжению, резкости эти страницы «Асе» не уступают. «Изменница» и соперник тоже уничтожены (там «краснощекый баварский лейтенант», здесь ничтожный Эрнст). Лаврецкий, узнав об измене Варвары Павловны (дело происходит в Париже), взял карету и велел везти себя за город. И вот ночь, которую проводил он в окрестностях, останавливаясь и всплескивая руками, то безумствуя, то странно смеясь, и этот «дрянный загородный трактир», куда в отчаянии зашел, взял там комнату, сел у окна и, судорожно зевая, восстанавливая воображением весь свой позор, просидел до утра... это еще все не смирение. Но эпизод потонул — в другом. Общий тон — Лиза, тишина, благообразная няня, милая тетушка Марфа Тимофеевна, зеленое безмолвие деревенской России, последняя заря дворянского быта и (за сценой) медленный монастырский перезвон.

«Дворянское гнездо» чудесно проникнуто старой Россией. Приближались шестидесятые годы. Пора было прощаться с ней — Тургенев распрощался щедро, всеми средствами таланта зрелого, в самом цветении (хотя прошлой зимой, в Париже ему и казалось, что все кончено). Для себя лично он прощался в романе с «тревожной» полосой жизни, когда есть надежды. Он отходил от них, пытался отходить от «счастья» и как бы обрекал себя на бесприютную художническую жизнь. Рим и Италия помогли ему в этом.

Но не один Рим и не одна Италия. «Дворянское гнездо» слагалось небыстро. В Италии родилось основное зерно его. Здесь больше думал Тургенев о нем, чем писал. Писание шло иначе.

Весной 1858 г. он тронулся из Рима. Остановился во Флоренции, где успевал подолгу спорить с Аполлоном Григорьевым, остановился в Вене: там лечил его профессор Зигмунд, прописавший воды. В Дрездене встретился с Анненковым, в Лейпциге слушал Виардо и писал в Париж дочери, что из-за этого задерживается. Побывал затем в Париже, в Лондоне. Летом же оказался у себя в Спасском.

На этот раз довольно близко подошел к нему Фет, у них получился союз поэтически-охотничий. Фет читал свои стихи, переводы. Тургенев следил по подлиннику, критиковал, одобрял, смотря по качеству работы. Затем закатывались они на охоту, как истинные бары и художники. Вперед отправлялась тройка с охотником Афанасием, поваренком и всяческой снедью. На другой день выезжал тарантас, тоже тройкой — Тургенев с Фетом. Ехали вдаль. Например, днем из Спасского, вечером в городишке Болхове ночлег, на таком постоялом дворе с иконами в горнице, что хозяйка не позволяет тургеневской Бубулке и в комнату войти. Приходится долго доказывать, убеждать, что это особенная собака, деликатная, не «пес», никакой нечистоты от нее быть не может. Следующий день опять все едут, ночуют у знакомых помещиков — уже в другой губернии, и на третий день забираются в глушь Полесья, где тетерева гуляют по вырубкам, как куры в курятнике, — там начинают поэты свои гомерические охоты. Наперебой палат из шомпольных ружей, у Тургенева заряды приготовлены заранее (!), и это огорчает Фета, которому больше приходится возиться с насыпанием в ствол пороха, дрови. Настрелянных тетеревов на привале потрошат верные слуги, обжаривают, набивают можжевельником — лишь в таком виде можно довести их домой.

Печет солнце, льют дожди, охотники укрываются под берегами, но все же мокнут, потом сохнут, вновь стреляют, соперничают в ловкости стрельбы, усталые заваливаются спать на сеновалах, утром умыва-

ются ледяною водой, днем лакомятся дичиной, удивительной земляникой в молоке, которой Фет пожирал целые миски, раскрывая рот «галчатообразно»... Россия дышит на них дыханием лесов, полей, всей страшной силой необъятности своей.

В жизни этой, между охотами и чтением стихов, среди полей Новоселок или в парке Спасского, то в чувствах горестных, то в относительном успокоении дозревает «Дворянское гнездо».

Едет Тургенев с Фетом, например, в дальнее имение Тапки. Старый слуга, стерегущий запертый дом, открывает его. Они ночуют, среди безмолвия, глубокой тишины, зелени и меланхолии запущенного места: Лаврецкий приехал к себе в Лаврики, в таком же настроении «отказа» и смирения. (Именно тут он и будет потом удить рыбу с Лизой.)

В июле Тургенев уже работает над романом, рождающимся под двойным благословением — Италией и деревенской России, рождаемым под крестом горя, одиночества, неудачной любви. Дорого обошлась поэту слава романа...

Но если бы в то время посмотреть на Тургенева со стороны, не всякий раз и угадал бы, что с ним: он бывал временами и очень весел, по-детски шумлив. Например, занимаются они с Фетом тем, что наперегонки ходят вокруг клумбы — Тургенев горд, что идет быстрее «несчастливого толстяка с кавалерийской походкой» — на десятом кругу обгоняет Фета на полклумбы. Или: Фет читает ему перевод из Шекспира. Тургенев следит по подлиннику. В одном месте Фет переводит (говоря о сердце): «о, разорвись!» Тургеневу не нравится. Фет пускает вариант: «о, лопни!» — Тургеневу опять не нравится. «Тогда», говорит Фет, «как заяц, с криком прыгающий над головами налетевших борзых, я рискнул воскликнуть: «я лопну!»

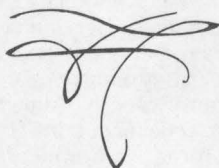
Тургенев, прямо с дивана, разразившись хохотом, бросается на пол, кричит и ползает, как ребенок, от восторга.

Дело происходит у Фета в имении — на крик вбегают дамы, не менее, вероятно, изумленные, чем некогда в Париже Наталия Герцен и Тучкова при театральных упражнениях Тургенева. А рядом с этим и под всем этим Лаврецкий в последний раз приезжает в дом Лизы Калитиной, где быстро отцвел его роман. Сидя на скамейке, под старыми липами, смотрит на беготню, шум, радость молодежи — Лаврецкий, вкушивший уже (ему сорок лет!) смирения зрелости, сознания, что жизни со счастьем для него быть не может.

В это время с особенной остротой переживал, пережевывал Тургенев дела своего сердца: как боли физические, то обострялась, то ослабевала тоска. «Дворянское гнездо» — первое, временное ее преодоление. (Как раз летом 1858 г. скончался Ари Шеффер, друг Полины. Тургенев нашел в себе силы тепло и задумчиво написать ей о его смерти.)

Осенью он повез роман в столицу. Успех, на этот раз, оказался решающим. Толстой еще не написал «Войны и мира». Достоевский находился в ссылке.

Соперников Тургеневу в литературе не было.



Шестидесятые годы

...Тургенева всегда раздражала неустроенность и «отсталость» России — деспотическое правительство, крепостное право. С ранних лет стал он западни-

ком. Преклонился перед более культурным государственным устройством, перед большей свободой общества. Настолько преклонился, что иной раз недалеко оказывался от заурядного либерала. Величайшей глубины России — ее религии — почти не чувствовал. Вернее, разумом не признавал: некий «Вестник Европы» заслонял ему ее (а сердце, по временам, давало удивительные образы святой Руси). Он Гоголя мало знал лично. Литературно ценил его высоко, но при близком знакомстве, конечно, разошелся бы. Славянофилов всегда не любил. Но с Аксаковым-патриархом находился в добрых отношениях — правда, больше из-за охоты. Собирался сблизиться с Константином Аксаковым в пятидесятых годах, да не вышло. Вера Сергеевна Аксакова записала о Тургеневе, навещавшем их в Абрамцеве, тяжелые вещи: он казался ей не духовным, лишь слегка склонным к «душевности». Человеком ощущений, утопающим в гастрономии. По ее взгляду, он и художество чувствовал физически — вроде вкусного блюда. Духовное же шло мимо.

В семье Аксаковых была теплота, свет, связанные с их глубоко-христианским складом. Тургенев несколько иной — прохладней, это верно. Сойтись они не могли. Но Вера Сергеевна не права, отрицая в нем запредельный порыв. Только мистика его не православна. Магическое, таинственно-колдовское наиболее его влекло.

Из-за «разумного» своего западничества разошелся Тургенев со многими писателями, крупнейшими: Толстым, Достоевским, Тютчевым, Фетом, даже с Герценом (не считая славянофилов). Тут оказался упорен, последователен: как западная Виардо прошла через всю его сердечную жизнь, так тепловатый либерализм не оставил его ума. Он признавал очень правильные и разумные вещи: гуманность, просвещение, свободу, «дельных» и «честных» людей, «надо работать», все потугинские благонамеренные рассуждения, вплоть до пользы железных дорог и необходимости реформ. Но не этим истинно себя украсил.

Время шло. Выигрывала ставка Тургенева: наступили «шестидесятые годы», сменялось царствование императора Николая более мягким — Александра II. Готовилось освобождение крестьян, судебные реформы. Стали появляться и имели успех люди, возросшие на французской революции и европейском позитивизме. «Дворянское гнездо» уходило. Нельзя было его задерживать. Жизнь надвигалась, двуклая и трагическая. Одной рукой руша рабство, давая справедливый суд, отменяя шпицрутены, другой — внося яд мелких идей, создавая ничтожества, улицу, шумно лезшую в литературу. Шестидесятые годы! Молодость наших отцов, «время великих реформ» — и оплевания Пушкина, непонимания Толстого, Фета, Достоевского, время торжествующего нигилизма, Базаровых, «Бесов», Нечаева.

Странно отозвались шестидесятые годы на судьбе Тургенева. Ему хотелось отвечать времени. Толстой и Достоевский шли наперекор и одолели. Тургенев более поддавался, да как раз этих времен и ждал, правда, в более мягком облике (как мы революцию). Дождался его же и задушивших. Частью и талант свой направил на трудные, художнически невыгодные пути. Получил здесь шумную славу и великие поношения.

Первый его «общественный» роман — «Накануне», вещь с большими поэтическими достоинствами и некоей зажигательностью. «Тургеневская» девушка выходит, наконец, из «гнезда», бросает дом, родителей и, увлеченная борцом за освобождение родины, отдается подвигу.

Тургенев попал здесь в точку: не одна провинциальная девица, сходясь с каким-нибудь нигилистом, вооб-

ражала себя Еленой. Роман вызвал одобрение одной части публики (молодежь, интеллигенция), недовольство другой. Из светских друзей Тургенева графиня Ламберт так порицала произведение, что автор собирался рвать рукопись.

Главные огорчения ждали его, однако, не справа, от графинь, а слева, от критики. Тургенев «природно» не нравился новой породе в литературе — маленьким, бесталанным Белинским. Удивительное дело: они появились в том же «Современнике», который Тургенев и создавал. За двенадцать лет «Современник» занял в литературе место крупное. Его редактором был Некрасов — замечательный, высокоталантливый плебей из дворян, Некрасов, острый и умный, оборотистый и темный, пронзительный и двусмысленный, почти гениальный в народной сути своей, порочный, но и рыдательный, проживший нечистую жизнь, глубоко страдавший, ловивший момент и невыигравший, поэт, журналист, делец, человек, которого первые люди времени называли «мерзавцем» — и автор «Власа», «Рыцаря на час»... Нет в русской литературе фигуры, более дающей облик славы и падения, возношения и презрения.

Тургенев долго был с ним приятелем, на «ты», писал ему вещи интимные. Шестидесятые годы развели их. Развело «Накануне» — будто бы внешне, но истинная причина глубже. Некрасов вполне объединился с «семинарами», Тургенев навсегда остался художником-баринком. Тургенев любил Фета, выдвигал Тютчева — тончайшие блюда поэзии. От некрасовских стихов отзывало для него тиной, «как от леща или карпа». В зрелом развитии эти два человека не могли быть вместе.

И не зря пришло «внешнее» (то, что «Накануне» со всею своею зажигабельностью оказалось не в «Современнике», где писали Чернышевский и Добролюбов, а в «Русском Вестнике» у Каткова).

Новых людей, «разночинцев», весьма лево устремленных, не мог не раздражать Тургенев своею барством, громадной просвещенностью, избалованностью, красноречием, французским языком салонов XVIII века, изяществом одежды, гастрономией, легким прищепыванием — может быть, небрежной снисходительностью иногда, тоном «сверху вниз». А его задевало плебейство их, невоспитанность, грязные ногти, самоуверенность, иногда прямо наглость. (Добролюбов — один из наиболее порядочных среди них — мог позволить себе фразу: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить» — встал и перешел на другую сторону комнаты.)

«Накануне» появилось в январской книжке «Русского Вестника» 1860 г. — и тотчас начался обстрел в «Современнике». В мартовском номере статья Добролюбова, где утверждалось, что Тургеневу не хватает таланта для такой темы и вообще нет «ясного понимания вещей». В апрельской — насмешки над только что появившеюся «Первою любовью». (Чернышевский же упрекал Тургенева в том, что в угоду богатым и влиятельным друзьям он окарικатурил Бакунина в «Рудине».)

Нравы юмористики того времени невысоки. В «Искре» Курочкин писал: «Людская пошлость заявляет, что в следующем году она будет угощать почтеннейшую публику — Фетом, балетом, паштетом и вновь — Бертами, Минами, Фринами». «Свисток» (юмористический отдел «Современника») глумился над жизнью Тургенева. Первый русский писатель переживал самые черные времена сердца, а некрасовские «писатели» смеялись над тем, что он «следует в хвосте странствующей певицы» и «устраивает ей овации на подмостках провинциальных театров за графиней». К концу года они так осмелели, что в объяв-

лении о подписке на «Современник» 1861 г. заявили, что отказываются от сотрудничества автора «Записок Охотника», ибо «расходятся с ним в убеждениях» (Некрасов только что заманивал его к себе, предлагал большие деньги за роман, и т.п.!). И это лишь начало. Тургеневу предстояло пройти сквозь строй: в 61 году он окончил «Отцов и детей». На следующий год роман появился в том же «Русском Вестнике».

В тургеневской литературной жизни ничего не было равного «Отцам и детям» по шуму. «Тихий» Тургенев оказался вполне на базаре. Причины тому ясны. В романе клубилась, кипела современность. Отойдя от недр своих, питавших в нем поэта, Тургенев попробовал изобразить «героя нашего времени» внешне. Лермонтов не то чтобы писал Печорина, Печорин сам всплывал из него. Тургенев дал Базарова «со стороны», точный, верный и умный портрет. Но сердце его не могло быть с первым в нашей литературе большевиком. Не было и великого гнева Достоевского. Тургеневу просто хотелось быть справедливым и наблюдательным. Он отнесся к Базарову как ученый — глубины Тургенева этот Базаров, нигилист и отрицатель, никак не задевал.

Роман получился замечательный, но без обаяния. В нем новый человек показан ярко (хотя и смягченно)... и ни тепло от него, ни холодно. Вернее — прохладно, хотя Базаров умирает и очень трогательно, самая смерть его волновала автора.

Поднялись вопли. Молодежь обиделась. Разные гейдельбергские студенты собирали собрания, автора судили, выносили резолюции, писали ругательные письма. «Современник» был в восторге, что можно лишний раз лягнуть. Некий Антонович «тиснул» статью «Асмодей нашего времени» — с бранью на Тургенева.

Автор страдал, пытался что-то объяснить, но ничего, конечно, изменить не мог: не подходил он к людям, наполнявшим своим шумом, нигилизмами, «эмансипациями» преддверие освобождения крестьян. В некотором роде он их и взращивал. Теперь грызли его они же. Они же и отвлекали от влажного, женственного в литературе — истинно тургеневской стихии.

* * *

Елизавета Георгиевна Ламберт (дочь графа Канкрин, в замужестве за блестящим адъютантом молодого Наследника — гр. Иосифом Ламбертом) — появилась в жизни Тургенева к концу пятидесятых годов, в самое трудное для него время.

Известно о ней мало. Виардо много знаменитее ее, да и то виардовских писем не сохранилось. Елизавету Георгиевну можно почувствовать лишь сквозь письма Тургенева к ней. Это дает ее облику черту летейской тени. Ее не видно и не слышно. Она за сценой. Говорит всегда Тургенев. То, что говорит, и как говорит — косвенно, нежно и туманно изображает ее самое.

Была ли она красива? Сомневаюсь. Была ли счастлива? Бесспорно нет. Натура благородная и строгая, чистая и незадачливая, явилась она для Тургенева «утешительницей», изящным другом. Ей да верному своему Анненкову писал он самые задушевные о себе вещи из Италии, в 57—58 гг. В Петербурге (тогда же и в шестидесятых годах) часто бывал у нее на Фурштатдской — целыми вечерами сидели в бударе и беседовали они — об этих свиданиях не раз вспоминает он почти с нежностью. Нечто от бледного, дорогого дагерротипа есть в ощущении от графини Ламберт — всегда с присутствием грусти. Женщина

с какими-то своими сердечными ранами. Когда болели раны Тургенева, он в ней находил сотоварища. Одинокое томившиеся, они хорошо понимали друг друга. Решали вопрос о жизни «без счастья» — вечный и безнадежный вопрос! — но Тургеневу приходилось еще труднее: у графини, по крайней мере, была вера (не единственный ли вблизи него верующий человек, со сложною внутренней жизнью?). Но и ее положение не совсем легко. Ее дружественность к нему готова была, временами, прорваться и в большее: но не встречала ответа.

Он живет то в Спасском, то во Франции, пишет из Куртавенеля, из «грязного городишки Виши», из Москвы, из самого Петербурга. Душевно как-то «мотается», пристанища у него нет, тонкие руки графини Ламберт для него некоторое успокоение (Тургенев любил красивые женские руки). Облегчало и то, что он видел участие к себе прекрасной, изящной женщины (но не той, которая нужна!).

Приближалось освобождение крестьян (манифест 19 февраля 1861 г.) — то, из-за чего давал Тургенев «аннибалову клятву». Под звук колоколов, возвещавших освобождение, писал он: «Несомненно и ясно на земле только несчастье». К этому надо прибавить, что только что выпустил «Первую любовь» — уж действительно «для себя», не для публики: вовремя вспомнил историю юношеской своей, высокой и неразделенной любви.

Графиня Ламберт собралась в Тихвинский монастырь под Калугою. Жила там некоторое время, занесенная снегом, в тишине служб, размеренною, чистой монастырской жизнью. Эту жизнь Тургенев не совсем понимал. Она казалась ему «холодной, печальной», хотя и находил ее «приятной». Как человек глубоко светский, представлял себе монашество могилой (не знал, что в духовной жизни есть именно радость). Но успокоение, так самому ему нужное, все-таки чувствовал.

Он был гораздо более одинок, чем графиня. Она, как и те скромные тихвинские монахини, знала, что кроме несомненности несчастья есть несомненность Истины.

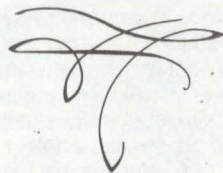
* * *

К неземному приникнуть, как графиня, он и вообще не мог. Не был верующим и скорбел об этом именно теперь, видя, с каким достоинством переносит свои беды графиня (в человеческом, однако, утешении тоже нуждавшаяся). К христианскому ее смирению относился почти благоговейно. Но себя христианином не считал. Или, вернее, не называл. Христианскими же качествами души и высокими тяготениями обладал. «Имеющий веру имеет все, и ничего потерять не может; а кто ее не имеет, тот ничего не имеет» — это слова Тургенева. «Ничего не хотеть и не ждать для себя и глубоко сочувствовать другому — это и есть настоящая святость». Не видя последнего в себе, он чрезвычайно ценил его в графине. Это и ставило его в положение скромности.

Ему самому смирение было необходимо. Трудности шли отовсюду. Нападки за «Отцов и детей» превзошли все возможное. На Тургенева действовали они болезненно. Свою правоту он знал. Характером же достаточно не обладал, как-то подавался, падал духом. Будучи избалованным, слишком любил любовь и поклонение. Пробовал возражать. Кажется, не всегда был достаточно тверд с молодежью. В общем же ему казалось, что он устарел, что новое поколение не признает его и ненавидит. В награду за труды, седины, годы получал поношенья. Ему хотелось тишины, мира, света — и не хотелось России. В эти годы он сильно отходил от Родины.

А с другой стороны: прежнее, куртавенельское с Виардо ушло навсегда. Надо было свыкаться с иным. Здесь он, по-видимому, успел больше, чем в литературе. Та струйка смирения, что впервые открылась в год «Дворянского гнезда» через Лизу, ширилась — может быть, и не без влияния графини Ламберт. Разумеется, до того настроения, в котором писала она ему из Тихвинского монастыря, он не доходил. Но одно то, что мог написать: «Глядя на какое-нибудь прекрасное молодое лицо, я так же мало думаю при этом о себе, о возможных отношениях между этим лицом и мною, как будто бы я был современником Сезостриса» — уже говорит нечто. Много в нем менялось, что-то он мог принять, что-то простить... Сердце растоплялось. Но Виардо еще вдали. Писем от нее нет. Ее самое он видит, но как-то урывками.

А в России шел праздник. Священники читали с амвонов: «Осени себя крестным знамением, православный русский народ» — слова освободительного манифеста. Многие, среди них сам Тургенев, могли с радостным волнением повторять «Ныне отпускаеши» — сбывалось то, из-за чего давались аннибаловы клятвы. И хоть сбывалось неуклюже, тягостно, шершаво, иногда с насилием, неодобрением и даже противлением, все же шла новая Россия. Александр II знал и ценил Тургенева, зачитывался «Записками Охотника». Доля Тургенева в освобождении рабов бесспорна. Освобождавшуюся Россию приветствовал он всем сердцем. Россия ответила ему свистом.



Баден

К концу пятидесятих годов у Полины Виардо стал пропадать голос. Она встретила судьбу мужественно, играть в прятки не стала. В униженное положение себя не ставила и свистков не дожидалась. Пока могла — гремела славою. Когда инструмент ослабел, отступила. Что при этом переживала — понятно. Но вряд ли ныла, плакалась. Действия Виардо были всегда разумны, ясны и решительны.

Остаться в Париже, видевшем ее триумфы, не хотелось. Если меняется жизнь, пусть изменятся место, люди, даже язык.

Она выбрала Баден. Был и хороший предлог бросить Францию: она не любила Наполеона, отрицала его режим (как и муж, как Тургенев), могла объяснить переезд преимуществами Германии. В небольшом, изящном городе-курорте можно жить тихо, но среди светского общества. Зелен, музыка, чудесные окрестности — для людей, перешагнувших некий возраст, очень подходяще. Полина верно рассчитала: светские и просто зажиточные девицы, съезжавшиеся со всей Европы, будут дорого платить за уроки.

Теперь Тургеневу приходилось выбирать: жить ли по-прежнему в Париже с дочерью, возвращаться ли в Баден. Россия казалась враждебной. В Париже пусто. Оставался Баден. Тургенев тоже сделал разведку: осенью 62-го года в Бадене у Виардо погостил. Жил там хорошо. Встречался со старинными приятелями, охотился, серьезного ничего не делал. Местность очень ему понравилась. Радовался он солнцу, чудесным осенним дням — и, очевидно, у Виардо вновь пришелся ко двору. Что-то вновь между ними произошло — сблизило. Годы, его великий ум, великая любовь превозмогли многое. Как будто бы увенчивалось его терпение.

В первый же год баденской жизни с ним случилась неприятность, довольно неожиданная. Еще в Париже, перед отъездом в Баден, получил он через посольство предписание явиться в Петербург: его обвиняли в сношениях с эмигрантами, врагами правительства — Герценом, Бакуниным и Огаревым. Он должен был дать объяснения. В противном случае грозили конфискацией имущества.

Тургенев отправился к послу, лично ему знакомому. Удивил его решительным заявлением: в Петербург он не поедет.

— Очень вероятно, что все это кончится вздором. Но я старик, больной: пока я оправдаюсь, меня там затаскают.

— Государь вас любит, как писателя. Напишите прямо к нему совершенно откровенно.

Он так и сделал. Все это его тревожило, при живом воображении казалось очень мрачным. Но государь, действительно, отнесся мягко: Тургеневу предложили ответить на опросные пункты.

В конце концов свое положение Тургенев обозначил так: с революционерами в молодости дружил, в среднем возрасте водил знакомство, иногда по человечеству оказывал услуги, помощь, но в «заговорах» участия не принимал, за последние годы идейно спорил и разошелся... Хотите судите меня, хотите нет.

Сенат этим не удовлетворился. Предстояло ехать в Петербург. Тургеневу не хотелось. Сколько мог, он оттягивал, ссылаясь на болезнь. Наконец, в январе 1864 года пришлось выехать.

Поездка эта, вполне бессмысленная для русского государства, оказалась первостатейной в другом роде: ею открылся новый ряд писем к Виардо, свидетельство о новой, удивительной полосе любви.

Двадцать один год! Влюбленность, горячая близость, разлука надолго, связь во время этой разлуки, увлечение, чуть не женитьба. Встреча, страдания ревности и расхождения, годы мучительного томления, сложный и горестный путь примирения; годы «утешительных» встреч и переписки с другою изящной душой; и вот, на сорок шестом году жизни, этот «старик», которому трудно доехать в первом классе от Бадена до Петербурга и остановиться в хорошем отеле у Полицейского моста — он-то и пронизан (вновь!) чистейшим, возвышеннейшим Эросом. С Полиной, будто бы, все выяснено, все досказано. Еще три года назад казалось, что прошедшее «отделилось окончательно», что сердце умерло и он живет в окаменении — и даже если бы возродилась надежда возврата, она «потрясла бы окончательно».

И вот начинается петербургская жизнь: обеды с Анненковым и Боткиным, театры, посещения графини Ламберт, Филармоническое общество, где Рубинштейн дирижирует, заседания Комитета помощи литераторам, званный вечер у итальянского посла. Князь Долгорукий беседует с ним, князь Суворов «в высшей степени любезен», один из будущих судей его, «толстый Веневитинов, которого вы знаете, объявил, что дело мое пустяшное». И вообще все это пустяки, шумный и пестрый сон, а важно то, что «я почувствую себя счастливым только когда вернусь в мою милую маленькую долину». Важно то, чтобы не запоздало и не пропало письмо от Полины. А Петербург, мягкая сыроватая зима, бал в Дворянском собрании, где присутствует государь и у всех дам волосы напудрены или просто распущены по плечам и связаны только широкой лентой, сборище, где больше красивых туалетов, чем лиц, нарядный Петербург, задающий тон модам, — тоже случайное, тоже сон.

В конце января решалось его дело. Суд вынес решение 28-го января. Тургеневу разрешили выехать

за границу — обязали только немедленно явиться в случае вызова. (Окончательно оправдан он был позже, 1 июня.)

В марте возвратился Тургенев в свой Баден.

* * *

В первом же письме Тургенева графине Ламберт из Бадена есть опасения, что их переписка и дружеские отношения могут прерваться. Он оказался прав. Различия во многом между ними ширились. Писание в духе «Отцов и детей» мало графине нравилось, хотя по-другому, чем молодежи. Ей хотелось, чтобы он дал «простую и нравственную повесть для народа». (Тургенев блестяще защищал свою художническую вольность: пишу о чем хочу — куда клонится сердце — это сущность искусства.) Казалось ей, что он отходит от родины. При ее мистическом настроении — что он слишком далек от веры, главное, удаляет от нее дочь. Насчет родины Тургенев признался ей сам: «Россия мне стала чужда, и я не знаю, что сказать о ней». Против упреков насчет дочери возражает — и не без горячности: «Я не только «не отнял Бога у нее», но и сам хожу с ней в церковь... И если я не христианин, то это мое личное дело, пожалуй, мое личное несчастье».

Но главное, конечно, в том, что изменилось у него с Виардо. Что нашел он некий способ нежного «вблизи-бытия» и вновь загорелся. Правда, говорит он об этом скромно: «От того ли, что мои требования стали меньше, от того ли, что там (в Бадене) мое настоящее гнездо, только я замечаю, что с некоторого времени счастье дается мне гораздо легче». Но ведь не мог он описывать графине слишком ярко, как он любит Виардо.

Во всяком случае, утешительница теперь не нужна. Никогда графиня Ламберт не могла соперничать с Виардо — даже в самые трудные времена. Теперь победа великой двадцатилетней любви над чувствами смутно-тонкими — окончательна. Письма становятся реже. Попадают фразы: «из некоторых ваших выражений я должен заключить, что вы сами почли за лучшее умолкнуть». И далее, уже в 64-м году: «Я вам очень благодарен за ваше письмо, хотя вы и браните меня, и прощаетесь со мною».

Грустно следить за умиранием долгих, чистых и прекрасных отношений. Переписка увядает — ничто не восстановит уже ее. Утешительница необходима, когда Тургенев одинок. Но с приближением Виардо не нужна. В одном из «предсмертных» писем предлагает он графине сделать так: если она, после глубоких потрясений, ее постигших, хочет совсем покончить с прошлым, где одна горечь: пусть ему не ответит — он поймет. Он хотел бы весьма скромного: не поднимая ничего «со дна», установить простой обмен дружеских писем, освещающих жизненные события.

На этом удержаться было нельзя. Графиня умоляет. Быть может, в своей печальной и холодноватой чистоте она и недовольна несколько Тургеневым. Переделать его, обратить — не удалось. Она навсегда сошла с его пути. Нигде далее нет о ней ни слова. Но ее облик навсегда с ним связан, сквозит в каждом письме к ней.

Мы знаем о ней лишь еще то, что Тургенева она не пережила: скончалась в 1883 году.

* * *

После «Отцов и детей» нет покоя душе Тургенева. С Виардо так или иначе налажено, с Россией, литературой разлажено. Трудно забыть оскорбления — и они все растут. Число недругов не убывает.

Не только Некрасов и «Современник», но и Катков со своим «Русским Вестником» оказываются врагами. Само то, что в России делается, и радует, и раздражает.

Нелепое чванство молодежи, разгул «левизны», нигилизма, готовящаяся нечаевщина... А на другом конце — «свет», чиновничество, мракобесие: тоже не лучше.

Из сложных и горьких чувств возник «Дым» — главнейшая вещь баденской полосы. В нем давняя черта, еще молодого Тургенева — холодная насмешка и пренебрежение, яд, хуже того: брезгливое презрение к обществу и людям. Всем досталось, генералам и политикам, Губаревым и молодежи, болтунам и лжепророкам. Одно вознесено: любовь. Она одна священна, написана полным тоном. И это любовь-страсть, разрушение, любовь-беда, болезнь. Ирина и Литвинов — лишь вокруг них кипит пламя — остальным нет пощады. «Добрый» Тургенев, умевший и обласкать, и помочь, очаровать — тут жесток. В «Дыме» мало человеколюбия. Надо прибавить: именно это извительное, не-човеколюбивое и не удалось ему. Гоголь стоял на великом сарказме, трагическом. Насмешка Тургенева вышла некрупной — не идет в сравнение с любованием лучших его вещей.

И все же «Дым» замечательный роман, двусторонний, двухстворчатый, неудачно-удачный, окрыляюще-пригнетательный. Отразил он создателя своего, двуликого Януса. В воздухе «Дыма», в душевном настроении: «все дым», все белые клочья, летящие из трубы паровоза, безвестно развевающиеся — жил одной стороной своей баденский Тургенев. Как связать это с высочайшими, нежнейшими чувствами к Виардо?

Точно бы две половины, два мира. В одном Некрасовы и Губаревы, Катковы, Суханчиковы и Бамбаевы. Газеты, денежные дела, семейные ссоры, политика, может быть, даже «прогресс», может быть, родина. Здесь всегда можно ждать оскорблений, непонимания. Вечно надо что-то устраивать: добиваться от дяди побольше доходов, выдавать замуж дочь, выслушивать истерические нападки Достоевского (посетившего его в Бадене, безумно раздражавшегося барством Тургенева и тем, что был должен ему, и западничеством «Дыма», и каретой Тургенева). Этот мир точит, мельчит, разжигает тщеславие.

В другом мире — «только у ваших ног могу я дышать» — Полина Виардо, Ирина, безмерность любви, горы, зелень, родник, птицы, звезды над Баденом. Любовь и природа — это действительно его животное.

Одной ногой здесь, а другой там, пред зрелищем последней тайны: Смерти, все упорнее заглядывавшей в глаза, и жил Тургенев в Бадене. Быть может, он непрочь был закончить дни свои на берегах Ооса, в германской светло-зеленой стране, наподобие Гете, Петrarки в Воклюзе, Бембо близ Падуи.

Но все вышло иначе. И мирное житие кончилось, и любовь еще раз обманула.



Катастрофа

Тургенев часто ездил летом в Россию — всегда теперь за одним: продавать какую-нибудь рошницу, «землицу» и т. п. Для широкой жизни в Бадене деньги необходимы. Невредны они и для семьи Виар-

до — девушки подрастали, приходилось думать о приданом.

В Спасском в это время хорошо. Солнечные пятна в парке, благоухание покоса, пчелы, земляника. Горлилки курлыкают, шмели гудят.

Окончив деревенские свои занятия, Тургенев как обычно выехал в Петербург. И пока обедал у Анненкова в Лесном, дружественно беседовал с многословным Полонским, французский министр иностранных дел нажимал на Пруссию с ультиматумами. Нельзя было пустить немудрящего немецкого принца на испанский престол (предлагавшийся ему как удобное место с хорошим окладом). Тургенев читал друзьям в Петербурге повесть, а самоуверенные французы упорствовали, Вильгельм не очень-то желал войны, Бисмарк же и Мольтке именно ее желали (и не зря) — хитрили, вызывали. И вызвали.

Революцию Тургенев некогда, в Париже, пережил. Для заполнения опыта настигла его теперь война.

Подходило время и тургеньевскому сердцу обливаться кровью: разоряли Францию, родину Полины. Громили тот самый Куртавенель, где столько было пережито. Если плох Наполеон, то противен и Бисмарк со всей прусской военщиной, тупой и грубой. Тургенев любил Германию. Но Германию «Аси» и Гейдельберга, Бадена, гетевского Веймара. Эта Германия в победоносной войне кончилась. Машина, дух которой впервые почувствовал он некогда в Париже, читая в Пале-Рояле об успехах Америки, теперь выступила и в Европе. Машина разгромила старую, пусть и порочную, но артистическую Францию.

Мирно-идиллическая жизнь кончилась. Виардо собрались и уехали — так спешили и так, очевидно, были подавлены, что многого не доглядели: например, того, что таинственный доктор в суматохе похитил у Полины все письма Тургенева, с 1844 по 1870 год.

Сам Тургенев несколько запоздал — из-за болезни (в эти годы подагра уже мучила его). Но одному в Бадене не усидеть. В конце октября он укладывается, а в ноябре уже в Лондоне. Там и семья Виардо.

Зимние месяцы Тургенев провел в Лондоне. На февраль — март выехал в Петербург — снова за деньгами. Это посещение Петербурга тем лишь отличается от прежних, что все — и дружеские, и светские встречи, и обеды, и выступления идут на фоне войны. (Русское общество за Францию. Жалуют взятый Париж, ужасаются условиям мира, контрибуции, и т. п.) Обо всем этом пишет Тургенев Полине в Лондон. Пишет спокойно, сдержанно, совсем не в тоне писем в Баден отсюда же, в шестидесятых годах. Нет прежнего раскрытия сердца, восторга... Не зря таинственный доктор сидел ежедневно перед войной у Полины. Пусть сейчас его нет в Лондоне — все же он был, довольно долго, упорно — увез всю прежнюю переписку Тургенева: в сущности, похитил целую жизнь!

Он вернулся в Лондон весной. Франция была в отчаянии. Недостаточно свергнуть Наполеона. Тяжкие чувства поражения искали еще выходов, более кровавых. Коммуна в Париже продолжила тот же 48-й год, который пришлось ему некогда видеть вблизи. Париж бунтовал, бушевал. Немцы злорадно взирали на братоубийственную брань — теперь Тьеру и версальцам приходилось усмирять, с высот С. Клу, обезумевший город. До Тургенева, в Лондон, как и до Флобера, в Руан, доносились лишь стоны этой новой войны. Впечатление от нее, даже издали, было ужасное (так же чувствовал и Флобер). Тургеневу просто казалось, что от Франции останется «мокрое пятно».

Но ни Франция, ни Париж не пропали. Тьер пролил море крови, чуть не все рабочее население города погибло (одолела Франция крестьянская и мелко-собственническая), но Париж уцелел, хоть и пострадал в бомбардировках и боях. Кровь быстро замыва-

ется. Погибших забывают, дома застраиваются, мостовые чинят... жизнь идет. Мир заключен. Начинают — без особых затруднений — платить контрибуцию. Скоро страна, против всяких ожиданий, зацветает вновь. Виардо временно возвращается в Баден. Там распродадут что можно. Продали заодно и Тургенев свой дом, над которым столько трудился, где, может быть, собирался кончать дни. И великий Париж, ожидающий, вновь высасывает эту странную русско-французскую семью.



Париж

Может быть, легче перенес Тургенев немецкого доктора, чем в свое время Ари Шеффера (и первый уход Полины). Все-таки военный разгром баденской жизни совпал с внутренним. Поздно, безнадежно было перестраиваться, еще раз приближаться к Полине: ему шел пятьдесят четвертый, ей исполнилось пятьдесят, но чувствовал он себя много старше. И когда в Лондоне заболел, а Виардо уехали, всей семьей, по делам, оставив его одного, вряд ли представлялся себе молодым и любимым. «Несомненно на земле только несчастье», — писал некогда графине Ламберт. Несмотря ни на какую зелень и свет Бадена, не приходилось от слов этих отказываться. Но удаляться от Виардо внешне тоже было поздно.

И в Париже ожидала его некая торжественная усыпальница. Во всяком случае, в полубольном, старом и горестном Тургеневе достойна всяческого уважения черта сочувственности к людским бедам, не отталкивания. Уже одно терпение, с каким он слушал! То, что находил время поехать, попросить и поклониться. Что читал бесчисленные безнадежные рукописи, писал мягкие письма, искал работу, устраивал больных в лечебницы, давал деньги на школы, возился с литературно-музыкальными утратами в пользу нуждающихся, учредил первую в Париже русскую библиотеку* — не так уж это мало и не так похоже на писателя «европейского».

А вместе с тем именно европейским писателем он и был — теперь чуть ли не французским. Правда, сердился, когда спрашивали: верно ли, что по-французски и рассказы свои пишет? Тут Спасское, Мценск, Орел пробуждались в нем. «Нет, нет, всегда по-русски!» (Он французский язык не очень-то и любил, хотя и знал превосходно. Был к нему не совсем справедлив.)

В парижскую же литературную жизнь вошел сильно и след оставил.

С Жорж Санд (которую очень ценил) и с Мериме знакомство его давнишнее, счастливых времен Куртавенеля. А в начале шестидесятих годов познакомился с Флобером — и сдружился. Настолько он к Флоберу привязался, что считал: только и было у него два друга настоящих — Флобер да Белинский (в юности).

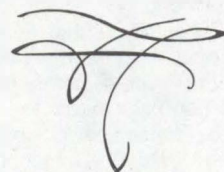
* * *

Баронесса Юлия Петровна Вревская — блестящая красавица, чудесный, горячий, страстный человек. Они встретились в конце 73-го года. Она очень ему понравилась. Уже весной 74-го года пишет он ей

из Парижа о своем чувстве к ней, «несколько странно, но искреннем и хорошем». Летом он побывал в России. Вревская приезжала к нему в Спасское, провела там пять дней в июле — робостью она не отличалась, но авантюристкой не была никак. Тургенев, разумеется, ей тоже нравился. В собственной жизни она не устроена и тоже томится. Ей хочется жить, но не так печально-созерцательно, как графиня Ламберт, не так семейственно, как Ольга Александровна. Она более женщина нового времени. Не Елена ли «Накануне», попавшая в семидесятые годы? Много уже видела. Много испытала. Знает разочарования, но и силы свои. Не одна семья и не одна любовь ее влекут. Жить — значит действовать. Рядом с любимым человеком, но на ровной ноге.

На роль Инсарова никак Тургенев не годился. По обыкновению, расставлял свои серебристые тенета, слегка опутывал и завлекал, но что мог предложить решительного? В Спасском читал ей вслух стихи, мастерски рассказывал (кто же из женщин скучал с Тургеневым?), загадочно целовал ручку, вздыхал — был мил и очарователен, вечно ходил вокруг да около. «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными, а главное свободными людьми... докончите фразу сами».

Вревская поступила решительно, прямо. Шла русско-турецкая война. Вскоре после последней встречи (в конце мая, в Павловске на даче Полонского) уехала она сестрой милосердия на войну — в ту же Болгарию, куда некогда устремилась Елена. Там героически ухаживала за больными, ранеными. Там сложила голову «за други своя». С «золотой волюшкой» не рассталась, жизнь же отдала.



Буживаль

Жизнь шла тихая, старчески-закатная. Видишь его здесь полубольным и грустным, с подарою, нередко в плеле, медленно прогуливающимся по парку (в лучшие относительно годы, до последней болезни). Очень это непохоже на его молодость в Куртавенеле, но ни от чувств Куртавенеля, ни от самого поместья ничего более не осталось.

К молодости его тяготение неизменно. Вот Диди расставляет у него в кабинете, рядом с окном на Сену кисти, краски на мольберте, тут для нее поставленном. Это видная молодая женщина с черными блестящими волосами, острыми чертами лица, глубокими синими глазами. Обликом напоминает мать. Она тоже умеет петь — Полина обучала ее. Но ее занимают больше кисти, краски. Диди с детства рисует. В годы Бадена дарила Тургеневу ко дню рождения «Св. Семейство» — здесь пишет пейзажи, натюрморты.

Тургеневу нравится, что она близ него. Может быть, он дает ей советы, критикует, хвалит. Снизу, с крокетной площадки, тоже молодые голоса, щелкают шары, смех: ученицы забавляются не столь веселой игрой. Накидывая на плечи пестрый плед — летом нередко холодно, — спускается вниз и под ясенями садится на скамейку, смотрит, как играют. Ученицы разноплеменные: южная красавица Гаргани — венгерка; мечтательная Фермери, чудесное контральто, немка. Ромм — русская. Все как на подбор высокие, стройные. В Париже, увидев их раз в салоне Виардо, Тургенев окрестил всю тройку «анабаптистами» из

* Всем известную Тургеневскую. Она погибла во время последней войны — немцы вывели ее.

«Пророка», так и осталось за ними название. Опять похоже на Лаврецкого и молодежь, только не в Орле на Дворянской, а на латинской земле, и Лаврецькому шестьдесят лет. Анабаптисты относятся к нему с благоговением — это великий писатель, такой приветливый и грустный человек, даже такой красивый, несмотря на возраст. Возможно, и он тряхнет стариной, сыграет партию, да вряд ли барышни решатся обыграть его. Хотя боязни к нему нет. Кому он страшен? Кого обижал из малых сих? (Не то Виардо: от нее, случалось, плакали статные ученицы — потом мирились, целовались — до ближайшей ссоры.)

Долго ему под ясениями, однако, не усидеть. Из дому бежит прислуга.

— Г. Тургенева спрашивают...

Или:

— Приезжая дама очень хочет видеть по делу г. Тургенева.

Это соотечественники, Виардо не особенно их ласково встречает, все-таки они просачиваются. Может быть, молодой, рыжеватый с бородой клочьями и в косоворотке народник, будущий Златовратский, приехал «ознакомиться со взглядом нашего знаменитого писателя на революционное движение», выяснить окончательно, «как он относится к прогрессу?» — и заодно пожуристь за «постепеновщину», за то, что в «Нови» «недостаточно выведено положительных типов», и т. д.

— В России назревают события, — осведомляет юнец. — В Петербурге сейчас два правительства: одно в Зимнем дворце, другое в конспиративной квартире исполнительного комитета...

Все это Тургенев знает, но ничего не поделаешь, надо слушать. Он полулежит — громадный, с серебрястой головой, кутает ноги пледом.

— Вы уж меня извините, — говорит высоким, пришепывающим тенором, — за такую позу. Большой старик... Да, да, я преклоняюсь перед самоотвержением русской молодежи. Я вам очень благодарен за ценные указания. Разумеется, я сделал в «Нови» промах...

Посетитель оглядывается по сторонам. Видимо, обстановка его смущает и собственная косоворотка, и борода козлиная.

— Вы здесь вдали от гущи жизни. Для уловления нарождающихся типов необходимо быть, так сказать, внутри, а не вовне...

Это большое место Тургенева. За «гущу», за якобы «измену» родине («променял на Францию») кто только не корил его? (А когда умер Флобер и попробовал Тургенев собирать на памятник ему в России, эта милая Россия в ярости на него набросилась!)

Может случиться, что народник вытащит-таки из-под полы, пыжась и краснея, трубочку рукописи, где «выведены» в поучение Тургеневу и «положительные» типы, будет рассказано, как честная учительница с не менее честным учителем ушли в народ и что из этого получилось.

Терпелив Тургенев. Прочтет, одобрит, перешлет Стасюлевичу — нельзя ли «тиснуть» в «Вестнике Европы»? Из своих средств даст аванс... (Одна из причин нелюбви Полины к землякам.)

Или же не народник, а щебечущая дама дожидается. Под вуалькой, в джерси, с турнюром и юбкой в воланах.

— Иван Сергеевич, я такая ваша поклонница... позвольте представиться... — обожаю ваш талант, мне бы хотелось автограф.

Это в лучшем случае. А то — похлопотать за сына. Его поместить в гимназию, на казенный счет, так вот не может ли он дать письмо... При его имени... с его известностью.

— А сколько лет вашему сыну?

Тургенев берется за перо.

— Пятый пошел.

— Ну, в таком случае не возьмут.

— Ах, знаете, я на всякий случай вперед. Нахожусь проездом в Париже, думаю: надо навестить Ивана Сергеевича, он такой добрый, а Олег подрастет, ему пригодится рекомендательное письмо. Да заодно и подписать знаменитого писателя.

Вероятно, не так уж благословлял в сердце своем «Иван Сергеевич» разных мамаш и Олегов, но письма писал, пока в дверь не стучала твердая рука Виардо: конец аудиенции — «г. Тургенева ожидают к завтраку» (или к обеду, или еще что).

А потом кончится этот день. Один останется Тургенев у себя в chalet — как и всегда. В угловом окне, над Парижем, бледное зарево. Летние звезды в небе. Лампа под зеленым абажуром на столе. Как некогда в Куртавенеле — шум крови в ушах, шорох — неумолкаемый лепет деревьев, капля падает с легким серебристым звуком. Тончайшее сопрано комара. И — ощущение ушедшей жизни.

В полночь было страшновато в уединенном Куртавенеле, могло пригрезиться что-нибудь, почуваться. Но тогда — молодость. Хотя не надолго — да увенчанная любовь. И тот, неведомый мир, чуть приоткрывавшийся, был далеко: едва давал о себе знать. Теперь он рядом. Совсем приблизился, как кошмар «Сна». Тайные силы, грозные и недобрые, может быть, и могли заколдовать и покорить ему ту, около которой (в неравной борьбе) прошла жизнь. Но вот не заколдовали. Не обратно ли? Не им ли овладели — приковали к «краюшку чужого гнезда»?

Возможно, встанет monsieur Tourguéneff, в тишине ночи обойдет сад и, вернувшись, запишет себе в дневнике: «Самое интересное в жизни — смерть».



Слава

В начале 79-го года умер в России старший брат Тургенева Николай, тот, с кем вместе воевали они некогда против матери, который по смерти ее стал владельцем огромного состояния и так всю жизнь прожил с Анной Яковлевной (скончалась она раньше него). В свое время немало претерпел за нее от матери. Но навсегда остался под властью этой женщины. Анна Яковлевна управляла мужем безраздельно, а он, по словам Ивана Сергеевича (не любившего невестку), «целовал ей ноги» — некоторым образом повторяя судьбу Ивана. Нельзя равнять Анну Яковлевну с Виардо, но она тоже была некрасива, тяжело характера и бурного темперамента.

В жизни Тургенева-младшего старший почти не имел значения, если не считать приезда его в Баден в шестидесятых годах, когда Иван Сергеевич сообщил ему важные семейные тайны (о себе и Виардо, нам неизвестные). До духовного уровня младшего брата никогда Николай не подымался. Их отдаленность не удивляет. Николай был помещик, хозяин, скуповатый делец. Все это чуждо Ивану Сергеевичу.

С похоронами близких Тургеневу всегда не везло (так уж, видно, назначено было: держаться в стороне) — не видел он в гробу ни матери, ни брата, ни Белинского, ни Герцена. В феврале же 79-го года приехал в Москву по делу о наследстве. Николай Сергеевич и в смерти остался верен памяти жены: подавляющую часть имущества оставил ее родственникам. Иван Сергеевич получил совсем мало.

Как бы то ни было, приезжал Тургенев в Россию за деньгами. Но о наследстве, неприятностях с каким-то Малояревским слышим мы лишь вскользь. О встрече писателя с Россией очень много.

Началось как будто с пустяка. Максим Ковалевский, известный ученый, барин, гастроном, человек «западнического склада», жизнь проживший широко и вольно, — тогда редактор «Критического обозрения» — пригласил Тургенева к себе на завтрак. (Тургенев остановился все на том же чудесном Пречистенском бульваре, у того же приятеля своего Маслова, в Удельной Конторе.) У Ковалевского собралось человек двадцать сотрудников. Завтрак был обильный, парадный. Первый тост грузный хозяин провозгласил за гостя, «как за любящего и снисходительного наставника молодежи». Все это просто и естественно: Тургенев только что приехал — старый, знаменитый писатель. Более удивительно, что столько раз уже в жизни завтракавший, столько тостов произнесший и выслушавший, на этот раз Тургенев «не дослушал и разрыдался». Это вышло совсем не по-западному — ни у Вуазена, ни у «Адольфа и Пеллэ» этого не полагалось. Что-то сразило Тургенева, раскрыло «славянскую» его натуру. Позже он называл небывалым этот день. В действительности ничего небывалого, разве одно: случилось это в Москве, где мальчиком он учился в пансионе, юношей ездил в университет, был влюблен в Зинаиду. Одно важно, что это Родина, что не только его не забыли, а считают наставником и любят. Что пред надвигающейся смертью может он собрать и плоды жизни.

Эти плоды посыпались со всех сторон. Приезд его обратился в триумф — хотя умысла никакого не было. Все вышло само собой.

В начале марта Тургенев переехал в Петербург. Тотчас петербургская литература устроила в его честь обед. Литературный Фонд — вечер. Должен был он читать и в пользу какой-то гимназии — педагоги чуть не вынесли его на руках. Вновь, как в Москве, толпа по утрам в номере. Приносят его сочинения (опять автографы), адреса, приветствия. У Тургенева было несколько своих книг. Девицы растащили их мгновенно — спорили, кому какой том взять, рвали друг у друга книги, «кричали, как галчата перед вечером».

Шум Москвы и Петербурга достиг Запада. Оксфордский университет поднес Тургеневу диплом доктора гражданского права. «Ох, как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!» — писал он Маслову, будто бы удивляясь, что ему эту шапку дали. В гражданском праве ничего не смыслил, не умел заключить простейшей сделки, а попал в доктора... (Англичане считали — за «Записки Охотника», за освобождение крестьян.) «Оказывается, что я всего второй русский, заслуживший подобную честь».

Тургенев удивлялся, что его выбрали, но был очень доволен. Честь любил, к славе был слаб.

* * *

1880-й год был довольно важным для русского просвещения: в Москве открывали памятник Пушкину. Подводился итог восторгам, охлаждением, вновь вознесениям дела и памяти поэта. Пред памятником споры умолкают. Художник как бы причисляется к лику святых, и творения его переходят в школу, а имя «в века».

После всяческих проволочек памятник открыли, на Тверском бульваре, 6-го июня. Монумент сделал Опекушин — не Бог весть что — все же задумчивый Пушкин со шляпой, в сюртуке, слегка наклонив голову с курчавыми волосами, хорошо входит в пейзаж

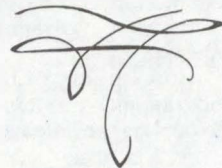
Москвы. Представляешь себе июньское утро, благовест Страстного монастыря, толпу, трибуны, переполненные публикой, группу важных стариков во фраках у подножия памятника, пеструю тень летних облаков по ним, великолепного полицмейстера, городских, таращащих глаза, оркестр, играющий гимн. Гусарский офицер Александр Пушкин стоял тут же, будущий почетный опекун московских институтков. Тогда был он не стар. Говорят, очень напоминал отца — этому охотно веришь: даже в старике Александре Александровиче Пушкине оставалось некое веянье отца. И когда завеса упала, отец этот стал частью Москвы, гением местности, как бы покровителем бульвара, восходящего к нему, и одновременно ликом России.

Тургенев тоже находился тут, очень взволнованный. Знал он Пушкина живого, видел его в гробу. С юности поклонялся ему, носил на себе его локоны. По словам очевидицы, «стоял около памятника весь просветленный». Венок возложил в глубоком волнении.

Торжества Пушкина имели всероссийский характер. Пушкин показал России Россию. Тургенев с Достоевским добрались до московских людей. Энтузиазм был огромный. После речи Достоевского давние враги мирились. Давались обеты «быть лучше», и т. п. Старая, милая Москва! Она расколыхалась, разбурлилась. Все эти длинные сюртуки, бороды, турнюры, джерси...

Много позже рассказывала мне пожилая дама, чистый и нежно-сентиментальной души, с эмалевой голубизны глазами, как выходил Тургенев, как у него перехватывало голос, как они плакали, — как неистовствовал Достоевский, — и у самой появились слезы (при воспоминании о днях высоких и почти блаженных). Да, праздник так уж праздник.

— Мы и по вечерам не могли успокоиться. Ходили все на Тверской бульвар, садились у памятника и поздно, за полночь, читали стихи. Всегда кто-нибудь там был... студенты, барышни.



Савина

Приезд Тургенева в Россию «для Пушкина» оказал и приездом «для Савиной». В феврале — марте 1880 года он встречался с нею в Петербурге довольно часто. То она к нему приезжает, то он просит билет на «Дикарку»: видимо, Савина начинала его занимать.

Разница лет между ними огромная: ей двадцать пять, ему шестьдесят два. Но это придает некую пронзительность его к ней отношению. Если в Париже Виардо, если там будет он тих, послушен и привычен, *ami catalogué*, которого можно послать в аптеку или за драпировками, то здесь другое: молодость. Полине, в некотором смысле, принадлежит он совсем. Но обольщения юности она дать не может.

Тургенев понимал свое положение. Жизнь подсказала ему способ действия единственно возможный, единственно и достойный: длительную, дружественно мечтательную переписку «без надежд и выводов». В этом был он силен всегда. За зиму 80—81 гг. у него наладилась такая переписка с Савиной. Интересоваться ее успехами на сцене, ее здоровьем, нервами, получать письма, где иногда вставляет она ласковые выражения, — вот его скромное питание. Мысленно расцеловать «умные руки» или «облобызывать все пальчики вашей правой руки» — небогато, все же несколько украшает скудное бытие. Глубоких, важных о себе высказываний, как некогда графине Ламберт, здесь

нет. Скорее похоже на письма к Виардо периода отдаленности, но в ослабленном виде.

К весне придумывает он очень разумную вещь: зовет ее летом навестить его в Спасском, куда, как обычно, собирается.

* * *

Савина у него на этот раз побывала, провела в Спасском несколько славных июльских дней. У Тургенева гостил Полонский с женой — старые, верные друзья, типа Анненкова, Маслова и Топорова. Присутствие Полонских облегчало положение Савиной, приезжавшей как бы в целую семью.

Гостье отвели комнату недалеко от Тургеневского кабинета — из него отворялась маленькая дверь в коридорчик, ведущий туда. Окна выходили на север. Рядом «казино». Савина отдыхала, провела четыре очень приятных дня. На пруду для нее устроили нечто в роде купальни, каждое утро плавала она в спасских водах — была отличным пловцом и (не деревенски) купалась в костюме. Обедали на террасе. 16-го июля вдруг налетела такая гроза с градом, что во время обеда посыпались стекла. Пришлось наспех все перетаскивать в столовую, самим спасаться. Но потом опять солнце засияло, — стояла благодать, жара. Дневные часы проводил Тургенев у себя в кабинете, а к вечеру, когда становилось прохладней, выходил на балкон и звал Савину.

— Ну, пожалуйста исповедываться!

«Исповеди» в том состояли, что Савина рассказывала о своей жизни, об актерских делах, наверно, и о сердечных. Это Тургеневу нравилось: очевидно, изображала она хорошо. Настолько нравилось, что однажды он даже ей подарил особую книжку, синюю с золотообрезанными страницами: велел туда записывать, чтобы не пропадало. А самые исповеди так иногда затягивались, что уж тоненький месяц появлялся над лохматой крышей сеного сарая, сыростью с пруда тянуло, стреноженные лошади пофыркивали вблизи, на лужайке. А в столовой шипит самовар. (Июльский вечер в России, светлый, благоуханный!)

И однажды хозяин разволновался, встал, повел в сумерках молодую свою гостью в кабинет и прочел маленькое стихотворение в прозе. Оно не было напечатано, и не могло быть: по крайней своей интимности, по слишком явному стону. В нем рассказывалась «долгая любовь, непонятная любовь в течение всей жизни». Было там и о том, что когда «он» умрет, «она» не придет на его могилу (что и сбылось вполне).

И еще позже, почти на рассвете, водил гостью Тургенев в парк слушать «голоса». Может быть, это было как бы продолжением чтения. Во всяком же случае, в ночном парке Тургенев как дома. Слушали они таинственные звуки — было жутко, но и хорошо. Он называл ей всех птиц, просыпавшихся перед рассветом. Их-то песни знал наизусть.

На другой день Савина уехала. Вскоре сообщила, из имения Сивы, Пермской губернии. о своей помолвке с Никитою Всеволожским.



Судьба

Еще летом в Спасском произошли с Тургеневым некие неприятные маленькие события. Например, расстроило его известие о холере в Брянске. (Холера — его бич с давних лет.) Как всегда, стало казаться,

что у него самого что-то начинается. Он мрачнел, заводил разговоры о смерти. Даже анекдоты его переходили больше на холеру.

Невесело принял и птичку, вечером с упорством бившуюся в оконное стекло его комнаты. Пошел, в фуфайке, на половину Полонских. Яков Петрович собирался ложиться, Жозефина Антоновна писала письмо. Тургенев так разволновался, что пришлось Жозефине Антоновне идти с ним. Назад она вернулась, неся птичку, черноглазую, меньше воробья. Тургенев пытался обратить все это в пустяки (сказал: «так называемое таинственное никогда не относится в жизни человеческой к чему-нибудь важному») — но все же птичка прилетела слишком уж «по-тургеневски». (Вот и к Владимиру Соловьеву перед смертью прилетела!)

Не особенно тоже хорошо, что Полину укусила в лицо ядовитая муха, да такая, что и нос распух, и сама она чуть не слегла. Из Спасского в Буживаль (и обратно) полетели телеграммы. Тургенев едва не уехал. И обернись это более серьезно, улетел бы, несмотря ни на какую Савину. Но все оказалось не так страшно и он остался. Полонский уехал раньше, Жозефина Антоновна пробыла несколько дольше, и к концу августа тронулся сам Тургенев. Не знаю, как уезжал из Спасского. Что думал, что чувствовал, когда коляска везла его среди полей с крестцами овса на вокзал во Мценск: видел он эти крестцы в последний раз.

В октябре, как вычислял по цифрам года рождения, не умер. Чувствовал себя неплохо — и опять несколько по-другому, еще из Спасского писал Савиной в Сиву: «чувствую уже французскую шкуру, нарастающую под отстающей русской». При Виардо он несколько перестраивался, и душевно и даже внешне. Любил, например, нюхать табак, но «его дамы» не позволяли делать этого. Так что нюхал только в Спасском — в Буживале заменял табак какой-то солью.

Но и западная, французская шкурка была ему уже привычна. «Друг», «дедушка», некая тень семьи, некая и подавленность, робость. В Буживале — спокойная осень, довольно одинокая. (Виардо раньше переехали в Париж.) Позже, на rue de Douai обычные рулады учениц снизу, обычные собрания со знаменитыми иностранцами (но без русских), все те же petits jeux. (Поразительно, как люди вроде Тургенева, Ренана, Луи Виардо могли разыгрывать «загадки»: ох-у-géne — каждый в слова свои должен был вставлять слог, а слушатели пусть разгадывают.) В промежутках кто-нибудь сыграет на рояле. Остатками голоса Полина пропойет: «О, только тот, кто знал свиданья жажду»... А потом опять: то надо выбрать драпировки, то улаживать дела пришедшей дамы с мужем, то другой даме помогать в борьбе с должником, то доктора приглашали к Диди. Или — претерпевать за забытые на извозчике ноты.

За всем этим, подспудно, не очень-то на глазах Полины, переписка с Савиной — мечтания, фантазии (утешения слабого). Савина в Петербурге, играет в Александринском театре. Молодость, успех, поклонники (как сорок лет назад у Полины). Но переписывается с ней не «помешик, пишущий плохие стихи», а Иван Сергеевич Тургенев — всякому понятно, что это значит: «Милая Мария Гавриловна, как мне приятно получать от вас письма! Один вид вашего почерка меня радует... Очень мне жаль, что я вас не вижу — да и не увижу скоро — не раньше марта. Вот вы мечтаете, как бы хорошо было убежать потихоньку за границу; а я, с своей стороны мечтаю — как было бы хорошо — проездить с вами вдвоем хотя с месяц, — да так, чтобы никто не знал, кто мы и где мы...»

«И ваша мечта — и моя так и останутся мечтами — без сомнения...»

Для этих мечтаний он выбирает место классическое: Италию, ни более, ни менее. И из Италии Венецию или Рим. Пусть представит себе она такую картину: «ходят по улицам, или катаются в гондоле — два чужестранца в дорожных платьях — один высокий, неуклюжий, беловолосый и длинноногий — но очень довольный, другая стройная барыня с удивительными (черными) глазами и такими же волосами... положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквям и т. д., обедают вместе — вечером вдвоем в театре — а там... Там мое воображение почтительно останавливается... Оттого ли, что это надо таить... или оттого, что таить нечего?»

Таить-то, вероятно, было что. Но удивительно другое. Савина была невеста Всеволожского. Тургенев знал об этом. И все-таки воображение не останавливалось...

Тургеневские мечты не сбылись — настолько странны они, что и читать о них почти тягостно. Савина же за границу попала. Еще в ноябре 81 г. она почувствовала переутомление. Театр надрывал ее — слишком много приходилось выступать. И ей удалось вырваться сначала в Киев, там несколько отдохнуть. Но этого оказалось мало. И в марте 82-го года она уезжает за границу — в Меран, затем в Верону. Ее сердечные дела довольно путаны. Она невеста Всеволожского, но нравится ей и Скобелев (известный генерал), продолжает она нежную игру с Тургеневым. Не особенное удовольствие доставляли ему эти Всеволожский и Скобелев, но к таким положениям он приучен. Все же временами пускает «шпилики».

«Ваше описание Мерана очень подробно и мило... Но я не мог не улыбнуться — правда, про себя... Распространяясь насчет красот Мерана, вы нашли возможным даже словечком не упомянуть о том изумительном воине, который такое сильное произвел на вас впечатление — и ничего также не сказали о ваших матримониальных планах».

Дальше опять тон меняется. «Намерение ваше ехать в Италию — особенно во Флоренцию — одобряю вполне. — Я прожил во Флоренции, много, много лет тому назад (в 1858 г.) десять прелестнейших дней; — она оставила во мне самое поэтическое, самое пленительное воспоминание... а между тем, я был там один... Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатическая, хорошая, красивая (это уж непременно)...» «Если вы попадете во Флоренцию, — поклонитесь ей от меня. — Я проносил мимо ее чудес влюбленное... но беспредметно влюбленное сердце».

В конце марта Савина приехала в Париж. Тургенев встретил ее с парадною нежностью — принес чудесные букеты азалий.

— Цветите, — сказал, — как они.

Савина собиралась лечиться. У него в это время тоже были волнения и беспокойства: заканчивалась печальная, неудачная семейная жизнь дочери, Полины Брюэр. Муж разорил ее, стал пьянствовать, носился за ней с револьвером. Ей пришлось бежать, а отцу — прятать ее. Затем тяжело заболел Виардо («мой старый приятель Виардо чуть не умер две недели тому назад — да и теперь не встает с постели»). Но все это ничего. Найдется время и для Савиной, и для забот о ней, ее лечении. Устраивает он ее у знаменитого Шарко, хлопочет, чтобы устроить врача, не нравящегося ей. Словом, Тургенев на высоте. А Савина острым своим, умным и уже ревнивым взором окинула и Виардо, и особняк на rue de Douai, и верхние комнаты Тургенева — осталась недовольна. Ревность ее не от влюбленности, а от поклонения «звезде», «картине»: так же, как у других русских, видевших его в последние годы при Виардо.

Что-то в нем вызывало, разумеется, глубокое сочувствие и эту ревность: вероятно, некий тон с ним Полины. Но это и преувеличивали. Все-таки у Полины он жил барином. Занимал в верхнем этаже четыре комнаты, обедал внизу, для приемов совместных великолепный салон. В Буживале целый дом. Внешней оброшенности тоже не было. Что знаменитая пуговица оборвалась, когда к нему зашел Кони, — не за всякую пуговицу ответственна и Виардо, надо быть справедливым. У Тургенева была прислуга, он не стеснен в средствах — за что угодно, только не за материальную, житейскую скудость можно пожалеть старческие годы Тургенева. (С другой стороны: нелепы воспоминания дочери Полины, Луизы Эритт. Там получается, что Тургенева денежно поддерживали Виардо. Это, конечно, вздор. Было обратное — Тургенев дал приданое Диди, когда та выходила замуж.)

Савина пожила в Париже сколько надо, полечилась и уехала в Петербург, увозя дружественную нежность к Тургеневу и неприязнь к Виардо. А Тургенев вступил в последний, самый страшный и мученический год своей жизни.

Мог он, юношей, погибнуть в пожаре на море, и не погиб. Всегда боялся холеры и от одного воображения захварывал. Боялся октября 81 года — и напрасно. А когда в апреле 82-го появились у него «невралгические» боли, не обратил на них внимания. Боли и боли. Неприятно, но пустяк. Шарко определил *angine de poitrine* «и не велел выходить из комнаты дней десять». И ни Тургенев, ни Шарко не подозревали всего ужаса положения. Не невралгия, не грудная жаба. Начинался рак спинного мозга.

* * *

«Опасности болезнь не представляет, но заставляет лежать, или сидеть смирно; так как не только при восхождении на лестницу, но даже при простом хождении или даже стоянии на ногах — делаются очень сильные боли в плече, спинных лопатках и всей груди — а там является и затруднительность дыхания», — так писал он Жозефине Антоновне и в том же письме звал ее с мужем в Спасское: пусть собираются, не дожидаясь его, он подъедет, как только сможет. Полонских, однако, взволновала его болезнь. Да и сам он, чем дальше шло время, серьезней о ней задумывался, как больной «просвещенный», хотел знать все в точности, и Шарко пичкал его жалкими знаниями медицины тогдашней (не умевшей определять рака позвоночника).

Якову Петровичу, в конце апреля, он мог уже подробно расписать, какие бывают *anginae pectoralis: essentialis* — от той умирают, а вот у него другая — *cardialgia nervalis* — от этой не умирают. Но она затяжная, хроническая. Неизвестно, когда выздоровеешь. И от этой *nervalis* ему жгли плечо, как будто дело было в бедной коже тургеневской, а не в тайном страдании позвонка. Ходить он совсем не может. А когда прибавляется еще «межреберная невралгия с правой стороны», то и лежать нельзя: ночью надо сидеть.

В таком виде — недвижимого в карете — перевезли его в Буживаль. Думали: весна, природа, воздух оживят. Но в майском Буживале, при всем дыхании голубизны и света лишь острее он почувствовал, что дело плохо. Боли росли, становились невыносимыми. «Человек я похеренный», пишет он Жозефине Антоновне: «хотя проскрипеть могу еще долго». Надежд на Спасское и встречу с ним мало. Тургенев рад, что Полонские согласились ехать в Спасское и без него (после долгих уговоров; Жозефина Антоновна собиралась даже в Париж, ухаживать за ним).

А о себе вот что: «Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». Полонские прислали ему в письме цветы и листья Спасского сада. (Он просил «сиреневый цветок».) А в Буживале врачи приделали к плечу машинку, надавливавшую на ключицу, — с ней как будто легче: мог сделать несколько шагов. Но как! «Всякая черепаха меня обгонит». Еще одно нововведение: по совету другого знаменитого врача, Жакку, стали его лечить молоком! За все хватается измученный человек: молоко так молоко. По двенадцати стаканов выпивал он в день бессмысленного поила. А в промежутках впрыскивали морфий, обкладывали горячими салфетками.

И все-таки Тургенев живет — даже достойно живет. Надежд нет, но нет и озлобления (при этом человек он неверующий). Скорее смирение. Муки и безнадежность смиряли. Он даже кое-что пишет. (Из «Стихотворений в прозе», начатых довольно давно, еще в 78 году). Охотно переписывается — тон писем ровный, тихий, может быть, становится и несколько «надземней» (хотя сообщает он о мелочах бытия, о болезни и т. п.). Савина обвенчалась, наконец, со своим Всеволожским. За ласковые письма Тургеневу в беде зачтется ей немало грехов. Она давала ему улыбку, да и нежность. (Думаю, писала правду). Вот, например: «Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже, что я тогда перечувствовала!» (Может быть, и плакал Тургенев, читая это...) Случалось и так: «мелькнет «добрая» фраза, и сама она позабудет о ней. Он, за тысячи верст, напомнит. («Не считая меня, обожающей без границ чудного Ивана Сергеевича»... — Он, в ответ: «Вы понимаете, что за такие слова надо по меньшей мере встать на колени. Одна беда: коли вы забыли эту фразу, стало быть, писали ее не совсем серьезно»). Вот это действительно беда. Но не впервые так случается с Тургеневым. Бывало, он и Полин не говорил, еще в Париже, до болезни: «А помните, мы гостили тогда у Жорж Санд, еще Шопен играл, такая же туча над садом, и дождь только что отшумел...» — «Где? у Жорж Санд? Ну, как это давно было. Не помню». Помнил-то всегда он. А женщины, кого любил, — те забывали.

Чем объяснить, что молоко все-таки помогло ему? Июль, август шли легче. Даже надежды появились. Мог он немного вставать, ходить. Врачи упорно твердили, что опасности нет, а надо терпеть: болезнь нервная, ей подвержены на склоне лет многие артисты, писатели, художники. Тянуться она может долго. Надо пить молоко да ждать. Он ждал с терпением. И написал в этот промежуток последнюю свою истинно-замечательную вещь «Клару Милич».

В ней всегдашне тургеневское — неразделенная любовь и потрясающее чувство загробного. Не райского, а грозного. Клара опять не Беатриче. Она магическая женщина, но сама не насытившаяся любовью. Находит ее в Аратове — ему единственно и может ответить, но как раз он и глух. Не почувствовал, не полюбил ее при жизни Аратов! Он еще так молод, сам не знает любви. Оба они девственники. Она отравляется. И из-за гроба «берет» его — дух ее, являясь по ночам, мучит Аратова и дает неиспытанное ранее блаженство. Сводит с ума и из жизни уводит.

Клара изображена сумрачной, черноволосою «цыганкой». Брови у ней почти срослись на переносице. Над губой черные усики. Голос — контральто. Она неласкова, горда, властна (может быть, и у Полины над губой был пушок). Магнетический ее взор чувствует Аратов еще на музыкальном утре, где впервые ее видит. Она не очень нравится ему — именно тем,

что и трагическое в ней, и от «леди Макбет». (Она поет, между прочим, «О, только тот, кто знал свиданья жажду...»). Но вот именно ее и сразил скромный Аратов — и сам погиб.

Повесть окончил Тургенев в сентябре. Назвал «повестушкой», будто бы «кропал» ее (обычная его манера говорить о своих писаниях) — но понимал, что дело тут серьезное. Удивительно, как сильно он болелся! Литературу никак не хотелось отдавать. Для жизни, женщины, для любви он уже «устрица», приросшая к скале». Но не для литературы. Кончив «Клару», отбирает Стасюлевичу для «Вестника Европы» те «Стихотворения», где меньше личного. Переписывается с Топоровым насчет собрания сочинений — Глазунов издает их. Из России высылают ему Топоров том за томом корректуры. И, несмотря на боль в лопатке, перечитывает, правит, чистит свои строки (свою жизнь). «Записки Охотника», «Рудин», «Отцы и дети», повести, пьесы, рассказы — сорок лет бытия, лучшее, что было в нем. Отказаться от этого нельзя и на смертном ложе.

Осенью жил он в Буживале один. (Виардо рано переехала в Париж... погода скверная.) Кажется, впрочем, не огорчался одиночеством. Работал, писал довольно много писем. Утешал Полонских, очень о нем в Петербурге скорбевших. Подробно излагал Бертенсону (врачу, русскому) свое положение — где боли, куда перемещаются, как желудок и пр. Радовался, что по ночам спит. И с легкой, горестной усмешкой отказался от нового лечения, ему предложенного: прикладывать к больным местам сырую глину. (В молоко все-таки верил, продолжал поглощать его неимоверно — по 10—12-ти стаканов в день.) И окончательно смирился: т. е. уверился в безнадежности.

Программой maximum стало: не очень страдать. А там — устрица так устрица.

Но и этого не было дано. В ноябре переехал он в Париж. К январю боли усилились — без морфия не мог спать. В январе (83 г.) ему сделали операцию — вырезали «из брюха»... «прескверную сливу» — врачи называли ее «невром». Почтительно повторяет он непонятное слово, думая, что, наконец, операция и поможет. Он ошибся. Надо или не надо было его резать — дело врачей. Рана скоро зажила и осложнений не вызвала. Но с того января, с этой операции «старая» его болезнь стала расти с силою угрожающей. Передышка окончилась. Вновь началось наступление, с силами утренними. Теперь не только плечо и лопатка — вся спина, грудь болела, все вообще болело, двигаться совершенно нельзя. И ни молоко, ни уколы, ни машинка не помогали. Действовал один морфий. Шарко и тут придумал утешение: воспаление нервных оболочек, потому так и больно.

Последние томы проходят чрез его руки — VI-ой, IX-ый... Еще в феврале, в письме Григоровичу, он умно, тонко разбирает «Гуттаперчевого мальчика». Такие-то вот фразы надо вовсе выкинуть, следовало бы изменить тяжелые обороты, много в рассказе излишней обстоятельности и т. п.

Но уже это последние письма, писанные собственной рукой. Позже он диктовал.

* * *

Весна, Буживаль. Каштаны распускаются; дрозды скачут в саду. Умирает старик Виардо. Тургенева в кресле выкатывают из chalet — в весеннем солнце издали может он поклониться праху странного своего «друга», при котором прожил сорок лет, с кем мирно беседовал, охотился, от кого выслушивал иногда бессмысленные замечания насчет писаний своих. Полина хоронила мужа без сентиментальностей. На следующий день давала уже урок. Что думал Тургенев, гля-

дя на его гроб, удалявшийся вниз, по спуску к воротам на набережную?

В мае он смог еще написать Полонским: «Давно я не писал вам, любезные друзья мои — да и о чем было писать? Болезнь не только не ослабевает, она усиливается — страдания постоянные, невыносимые — несмотря на великолепнейшую погоду — надежды никакой — жажда смерти все растет — и мне остается просить вас, чтобы и вы со своей стороны пожелали бы осуществления желания вашего несчастного друга».

Так умирал Тургенев. Всю жизнь стремился он к счастью, ловил любовь и не догнал. Счастья не нашел, смерть встречал в муках: точно бы подтверждался страшный взгляд его на жизнь. Но в действительности никак не подтверждался, ибо последней его судьбы, последней глубины бытия его мы не знаем. Мы только знаем, что это буживальское лето было ужасно и для Тургенева, и для Виардо, ухаживавшей за ним. Боли доводили его до криков, до мольбы прикончить. Так продолжалось до августа. Морфий действовал на его мозг — то казалось ему, что его отравили, то в Полине мерещилась «леди Макбет».

А в смертный час, когда никого уж почти не узнавал, той же Полине сказал («которая пододвинулась к нему ближе, он восторженно воскликнул»):

— Вот царица из цариц!

Умер он 22-го августа. Отошедши, весь преобразился. И не только не осталось на лице следов страданий, но кроме красоты, по-новому в нем выступившей, удивляло выражение того, чего при жизни не хватало: воли, силы — мягкой, даже ласковой, но силы.

Сохранилась фотография с него в гробу: действительно прекрасен. Может быть, и никогда красив так не был.

1929—1931.

Текст печатается по изданию: Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Париж, Издательство ИМКА — PRESS, 1949 г. (С разрешения издательства.)

Журнальный вариант.

Подготовка публикации
Геннадия ЗВЕРЕВА

СЕРИЯ КНИГ «БИБЛИОТЕКА «ЮНОСТИ»

Вниманию наших читателей, общества книголюбов, библиотек и других заинтересованных организаций!

В 1991 году в серии «Библиотека «Юности» начнут выходить следующие книги:

Фантастика Кира БУЛЫЧЕВА (8 книг);

Приключения на суше и на море (10 книг).

Ориентировочная цена каждой книги 7—9 рублей.

Великий Князь АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. «Книга воспоминаний» (иллюстрированное издание с использованием архивных материалов).

Ориентировочная цена 20 рублей.

Книги будут высылаться наложенным платежом. Коллективные заказы следует оформлять до 1 сентября 1991 года.

Наш адрес: 103055, г. Москва, К-55, а/я 122.

Виктор ЛИПАТОВ

«ДЖОТТО — ПРОЗВАНИЕ МНЕ...»

К 725-летию великого
итальянского художника



Джотто проникал вечность, а потому суетное не ранило его. Был он весел и любил подшутить. Еще с той поры, когда пририсовал муху одной из фигур в картине его учителя Чимабуэ, а тот тщетно пытался согнать ее. Был он остроумен и расшвыривал вокруг себя острые словца, как драгоценные камешки, и укалывали они, но и светились. По мнению Боккаччо, признавались словами, достойными философа. И еще Джотто радовался семейной жизни; вместе с женой своей Моной Чинта ди Лапо дель Пела трудился неустанно — дети рождались часто, и их обилие не утомляло мастера. Правда, не без некоторого удивления замечают, что знаменитый живописец времени выступает и в роли ростовщика и землевладельца. Но при такой семье и желании избежать мелких тягот жизни деньги были не лишними. К тому же «наживался» Джотто не на чужой беде, а на собственной смекалке и таланте. Не потому ли его и «любили все»?

Прежде всего подкупает у Джотто естественность видения. В отличие от своего друга Данте пишет он не «Божественную комедию», но Божественную историю. Крестьянский сын, человек от земли, еще недавно пасший овец, естественно, чувствовал он себя частью природы и смотрел ее глазами. Художника и называли учеником природы. Глубоко верующий человек, преклоняя колени, он знал, что и Иисус, и Мать Божья, и святые ходили по грешной земле так же, как ходит он, как ходили его предки и будут ходить потомки. Потому он прочно поставил действующих лиц Библии на землю. У них выразительные, чеканные головы, крепкие тела. Святость в человеческом образе. Величественная мадонна, внушающая благоговение и надежду, одновременно выглядит обыкновенной южной женщиной, у нее здоровый цвет лица и благожелательный взгляд. Прядущая святая Анна и вовсе уподобляется обыкновенной матроне, вертящей веретено. Она исполнена достоинства, как всякая истинная хранительница домашнего очага.

Фрески рассказывают о жизни девы Марии и Иисуса Христа. От рождения, от «Юного Христа среди книжников в Храме» до «Вознесения» и «Сошествия святого духа». В огромном «Страшном суде» наряду со святыми и правед-



Рождение Христа. Благая весть.
Падуа. Фрагмент фрески капеллы Скровеньи. Италия.

**ДЖОТТО
ДИ БОНДОНЕ.
1267 — 1337 гг.**



Бегство в Египет.
Падуя. Фрагмент фрески капеллы Скровеньи. Италия.



Избиение младенцев.
Падуя. Фрагмент фрески капеллы Скровеньи. Италия.



Апостол Павел.
Фрагмент росписи «Мадонна со святыми и ангелами».
Галерея Ифицци. Флоренция. Италия.

никами — откровенные, как у Данте, картины ада, где обнаженных грешников пытают призрачно-лохматые черти, подвешивают их на суку вниз головами, избивают и всячески издеваются. Современники считали, что картины Джотто правдивее самой жизни.

Через телесность изображения художник шел к духовности. Чудо, показываемое им, достоверно. В «Воскрешении Лазаря» наглядно демонстрируется средоточие духовной энергии. Он убеждает нас в неразрывности неба и земли. В «Вознесении Иоанна Евангелиста» святой возносится в прямоугольный проем в крыше строения. Там остаются его ученики и собраты, а сразу же над проемом его встречают святые. В «Поклонении волхвов» изображается когда-то виденная художником комета. Космичность фресок признало Европейское космическое агентство, назвавшее проект полета к комете Галлея — «Джотто».

В мире, где, как говорят, равномерно рассыпано добро и зло, Джотто старался приумножить первое и сам был его частицей. Его открытия пространства, перспективы, светотени, связи пространства и времени служат именно этой цели. Это наглядно ощущаешь, наблюдая противопоставление образов Христа и Иуды.

Предавали многие и до Иуды, и после него. Но Иуда предал Единственного. Сына Человеческого. Джотто последовательно убеждает нас в верности последнего определения. Христос не выделяется внешне из числа окружающих его. Сын Божий, но плоть от плоти людской. Один из всех. Лишь внутреннее свечение, смиренное достоинство, понимание своего предназначения отмечают его торжественно прислушивающееся к дальней музыке лицо. Таков он везде, даже в «Несении креста», где, казалось бы, беспредельно унижен своим бессилием и глумлением толпы. Фреска «Поцелуй Иуды» особенно драматична. Но предваряет ее «Подкуп Иуды». Событие, возможно, и мимоходное. Да и подкупа как такового не было — Иуда сам пришел к первосвященникам и фарисеям и предложил предать в их руки Иисуса. Не бескорыстно, само собой. Иуда, казначей и эконом, и ранее подворовывал, а по иным сведениям, и проигрывал общественные деньги. Потому он с видимым удовольствием сжимает в руке мешочек с тридцатью динариями — тридцатью серебряниками. В картине витает атмосфера сговора. Вкрадчиво-обрадованная фигура массивного священника. Выжидающе-внимающая фигура Иуды; его длинно-вытянутая шея выражает почтительно-заинтересованное устремление к лицу заказчика. А черная тень дьявола впечатляюще пятнается рядом с Иудой — она как ожившая тень самого Иуды, или, напротив, предатель — посол этой тени, дружески опустившей лапу ему на плечо. И, наконец, вот она, решающая минута. Предсобытие, которое для Джотто важнее всего. Два взволнованных берега и спокойная река. В саду — приверженцы Христа и его противники. Копья и факелы вонзаются в светло-синее итальянское небо. В центре — спокойствие Христа, к которому прильнул Иуда, чтобы его поцеловать. Вот-вот он скажет: «Радуйся, Равви!» Сцена смятения и грозы, которая должна разразиться. Занесены палки, настойчивы солдаты. Мягкость цвета и уверенные, рассказывающие движения фигур. Поцелуй Иуды — сигнал, поцелуем он метит того, кого должно схватить: его поцелую — возложите на него железа. Иуда обнимает Христа, обволакивая его своим нежно-желтым одеянием, словно пытаясь втянуть в себя человека, которому уготовил смертную участь. Он продает Христа, потому что любит его и ненавидит. Светло и мужественно лицо Христа, чей ясный и пронизательный взгляд устремлен в глаза Иуды, но настойчиво-темный взгляд последнего ускользает, упираясь в чело Христово. Противостояние объемлющего многое лица Иисуса и коварного, гориллоподобного лица его ученика, говорящего учителю: пришел твой черед. А Христос спокоен, он знает: чему должно случиться — случится. Он, как и сказал, сам отдает свою жизнь. И не грозит карами, утверждает неизбежное: «Горе человеку, предавшему меня». И Иуда выжидающе-спокоен, лишь нежелание обмишулиться метит его склепанное низкими страстями

лицо. Иуда еще не знает, что дни, проведенные с Христом, просветлили черноту его души и после часа предательства начнет она мучиться и стенать. Он еще не знает, что добровольно повиснет в петле на ветке дерева и окончательно будет задушен лишь после того, как Христос воскреснет...

Джотто — гений пластики композиционного построения картины и выразительности движения человеческого тела. Боккаччо утверждал, что его героям «не хватает только речи, чтобы быть живыми». В лицах сосредоточивается страсть. Лица и руки ведут диалог. Персоны действуют среди ясного и прекрасного. Великий декоратор и тонкий колорист, Джотто посредством благородства цветовых оттенков в одеяниях усиливает в фигурах и лицах звучание того или иного настроения. Богатая насыщенность цветом подчинена гармонии — ни малейшей назойливости или цветовой бестактности... Картины достаточно многофигурны, персонажи тесно связаны между собой и зависят друг от друга. Прикосновения, как взаимопроникновения. Вместе с тем властвует свобода движения, что свидетельствует о понимании особенностей человеческого тела. Каждое движение необходимо и чрезвычайно характерно даже тогда, когда люди показаны со спины, — достаточно взглянуть на спину палача с фрески «Избиение младенцев». Пластика тела отвечает настроению момента. Недоверчиво-желанно тянутся руки Марии Магдалины к являющемуся ей Христу. Трепетно-ожидаящее выражение лица. Марии хочется осязать неосоздаемое. «Профессиональные» фигуры служанки и толстого виночерпия. Благородно-задумчива фигура Иоакима. Эмоции и характеры проявляются в выражениях лиц, которые то благостны, то драматически напряжены. Профили созданы навсегда.

Жизнь проявляется в фресках Джотто не то чтобы неразборчиво, но единым потоком. Художник достаточно объективен, чтобы случайно частным отношением не мутить этот поток. Палачи в «Избиении младенцев» столь же монументальны и красочны, как и благородные фигуры.

Каждую фреску отличает композиционная законченность. Каждое действие полноценно — развивается и получает решение. Художник стремительно сосредоточивается на единой идее. Все живущее в фреске так или иначе выражает отношение именно к этой идее, к ее центральному событию. Психологический заряд сцены, распятие Христа, значительно усиливается пластикой горя в позах летающих над распятием ангелов. Подобное же происходит и при похоронах Сына Человеческого.

Джотто — эпик. Его монументальные циклы, которые называют поэмами, исполнены ясности и элегантно простоты. Музыка создаваемых им фресок облагораживала «век тот и грубый и неумелый». Оттого такой благодарностью насыщены эпитеты: «наивысший», «слава величайшая». Сам Данте говорит в «Божественной комедии» о мастере как о явлении бесспорном.

Назначение же его определяется так: «Джотто был рожден, чтобы просветить живопись». А творчество именуется Евангелием нового искусства. Живописец и архитектор, скульптор, философ и поэт — «мастер семи свободных искусств», флорентийский гражданин Джотто ди Бондоне цену себе знал. Когда папский легат хотел послать Бенедикту XI образец умения художника, тот начертил почти идеальный круг: «смотреть было диво». Далее последовал такой диалог:

Джотто. Вот и рисунок.

Легат. А получу я другой рисунок, кроме этого?

Джотто. Слишком много и этого.

Вазари утверждает, что именно от этого случая родилось присловье, обличающее сверхкруглых дураков: «Ты круглее, чем джоттовское «О».

Художник упокоен в соборе Санта-Мария дель Фьоре под белой мраморной плитой: «Джотто — прозвание мне...»

РУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ



В ЧЕМ НАША НАДЕЖДА?

*Я пришел к профессору
Александру Михайловичу ПАНЧЕНКО за надеждой.
Потому что открыты же кому-то, за прискорбными
впечатлениями политической минуты,
иные реальности? Сферы, где на самом деле
совершается история?
Какие — геологические —
подвижки происходят там? И что сулят?
И я услышал то, что хотел...*

— Начнем, пожалуй, с преодоления раскола «двух культур». Имею в виду не «революционность» и «реакционность», а «публику» и «народ», как говорил Достоевский, или, если угодно, общество и народ. В петербургский период переход из крестьянской культуры в культуру общества осуществлялся не без затруднений, но регулярно, достаточно вспомнить Ломоносова и Менделеева, Чехова и Ивана Цветаева. После революции этот переход стал чрезвычайно затруднен. И вот почему.

Культура в отличие от веры предполагает, что не по всем, конечно, но по очень многим вопросам могут существовать и сосуществовать разные мнения. И когда крестьянин (до революции) покидал свою культуру (она, кстати, ничем не хуже других, она самая древняя и количественно самая мощная), ему было кому подражать: европейски образованным людям, исповедующим принцип множественности точек зрения. Множественность подходов — это и есть подлинная культура. А что же произошло в советское время? Почему символ восемнадцатого века — Ломоносов, двадцатого же — Лысенко?

Что представляет собою крестьянин? Он способен предсказывать погоду, чего мы с вами не можем, он скажет вам, когда пойдет грибной слой, он знает массу других вещей, и знает замечательно. Но дома у него в лучшем случае одна книга — Псалтырь. Очень редок был крестьянин-чудак, у которого было несколько книг. Крестьянин думал, что в Псалтыри — истина. Это естественно для православного, ибо Псалтырь богодухновенна. Но вот он приходит в город (а исход из деревни в силу обстоятельств был массовым), скажем, на рабфак, потом в вуз, и ему дают другую книгу, «Материализм и эмпириокритицизм», утверждая, что истина — как раз в ней. Представьте себе эту встречу! Человек уже от названия шалает: русских слов — один союз «и». Но крестьянин старается — искренне — эту истину усвоить. Такова его культурная привычка! Я, например, до сих пор не понимаю, что в этой книге написано, и у многих такая самозащита срабатывала. Но, к сожалению, иммунитет был не у всех. Тот, кто усваивал, тот и пропал. И получался Лысенко. Знаете, в юные годы я прочел в одном из выпусков английского справочника «Who is who»: «Лысенко. Крупный советский лжеученый». Это замечательно!

Но все-таки я намеренно заострил проблему. Пушкин же при советской власти издавался! И Достоевский — не всегда и не весь, но «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные» были доступны. И Гоголь (пусть без «Размышлений о Божественной литургии»), и Лев Толстой, хотя и усеченный... Это, я думаю, нас и спасло. Человек, читавший «Капитанскую дочку», уже знает, что надо беречь честь смолоду. Иначе говоря, переход из одной культуры в другую все равно происходил, и не только ненормальным, извращенным путем, но и путем нормальным. Конечно, во всяком процессе есть потери, и очень горькие. Тяжко думать о том, что крестьянская культура при смерти, что ее не воскресить. Не будет уже святочных ряженных, масленичных балаганов, ярмарочного веселья... (Хотя известная компенсация есть, например, замечательные «Лицедеи» Славы Полунина, которые заставляют нас хотеть в смутные времена, когда все либо плачут, либо ноют, а иные злятся.) Но путь, которым Россия шла раньше, начиная, условно говоря, с Петра, — этот путь остался торным, пусть он превратился в узкую, извилистую (но не заросшую!) тропинку.

И к чему привело постепенное приращение людей новой культуры? Крестьянство ведь не просто меняло место жительства, но и образ мышления — во втором поколении, в третьем... Это как чашу наполняешь, наполняешь до «выпуклого мениска» — раз, и вода начинает проливаться. Так и с «перестройкой». Не оттого она «есть пошла», что кто-то задумался, устыдился, раскаялся, что-то решил. Нет! А — переполнилась чаша. Отсюда и возвращение к старой культуре, оттого мы и живы. Мало разрешить, надо и понятие иметь! Попробуйте-ка вы человеку уровня Лысенко дать «Пути русского богословия» отца Георгия Флоровского. Он не станет читать. И необязательно потому, что он бес, злой и дурной человек, а потому, что не понимает, о чем там написано и для какой надобности. Теперь же, к счастью, появился слой людей, которые понимают.

— А уж читать умеют все! Удивительно, как это тирания

организовала «ликбез», а не подморозила нас и с этого бока. В воспоминаниях Юрия Анненкова есть такое, уже общеизвестное место, где Анненков пишет портрет Ленина и тот во время сеанса говорит: нам и грамотность-то нужна для того, чтобы могли читать декреты. То есть можно держать человека в темноте, но он останется «себе на уме», будет менее управляем. Иное дело — научить человека грамоте и поставить в условия, когда всего чита — одни декреты. Человек становится материалом для манипуляций. Величайшее благо оборачивается величайшим злом. Но это оружие с первыми глотками информационной свободы обернулось против своих создателей!

— Вы правы, и, конечно, грамотность давалась не для того, чтобы она превратилась в оружие против диктатуры. Но видите ли... С каким настроением была эта революция задумана? Не для чего — это особая тема, — а с каким настроением? «Кто был ничем, тот станет всем», не правда ли? А барином как стать? Только выучившись. Ведь отчего люди в двадцатые годы так «рванули» учиться, и почему это запрещалось молодым людям из «бывших»? А чтобы их переменить местами. Но эта идея — что только выучившись можно стать барином — имела продолжение. Худо ли, бедно, но все-таки человек выучивался. А иные и хорошо выучивались. И, слава Богу, наука у нас не пропала, и поэты были. И не только такие, которые, как Анна Андреевна Ахматова, научились писать до революции, это бы понятно, но и такие, как Заболоцкий, которые научились после. И ничего, неплохо получалось, и таких имен назовем сколько угодно. Так что эта так называемая «культурная революция» — она-то и привела, в сущности, к контрреволюции!

— Я все же хочу, чтобы мы подчеркнули, Александр Михайлович: нельзя поставить «культурную революцию» в заслугу власти, потому что в замысел власти входил — манипулировать людьми.

— Разумеется. Но притом никогда же не удастся провести замысел безукоризненно. Пушкина же не смели трогать — боялись, а когда читаешь: «Зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно?» — слово сказано!

— Итак, возникающая на руинах культуры едина и объединяет общественные этажи в своем потоке. «Гласность» не создает пропасти между обществом и народом, элитой и народом, пропасти, в которую все и ухнуло 70 с лишком лет назад. Если теперь перевести эту часть нашего разговора на язык политики, то следует оптимистический вывод: преодоление раскола «двух культур» работает против перспективы гражданской войны, смягчает противостояние традиционных «мы» и «они», ибо теперь и «мы», и «они», пусть не равные социально, подобны друг другу психологически и культурно.

— Это важная мысль. И она пока подтверждалась. Для того, чтобы началась поножовщина, резня, много времени не надо. А прошло уже много времени. Я не говорю о резне на национальной почве... При всем том, что сжигают флаги, портреты, но это я считаю хамством обыкновенным...

— Хоть говорят: мол, мы за ненасилие, — но рвут портрет и уподобляются тем первобытным людям, которые считали охоту решеной, расстреливая пещерное изображение жертвы...

— Вот именно. И при всем этом русские русских, узбеки узбеков, грузины грузин не режут.

— Хотя съезд могут...

— Ну, преступность всегда была и есть. Но чтобы воевали русские с русскими, как 70 лет назад? Все потому, что и «они», и «мы» — как угодно делите — рассказывают одни и те же анекдоты, читают одни и те же книги, обсуждают одни и те же события...

— Смотрят телевизор...

— И это, кстати, чрезвычайно важно: оказывается, что у всех одни проблемы. И каждый видит, что если он набросится на другого, то ничего тем самым не решит.

А потом ведь мы, русские, — я русский, и мне, может быть, лучше видно, — мы столько потеряли! Мы же находимся на какой-то генетической грани! Если мы себе еще раз бунт или диктатуру позволим — все! — мы сойдем на обочину истории. И я думаю, что есть, и даже очевидно есть, какой-то генетический страх, генетический удерж... Так что надо, конечно, трудиться, думать, искать выходы из сегодняшнего состояния дел, которое терпеть невозможно, но... Надо терпеть!

— Мне кажется, мы уже живем в другой России, слишком отдалившейся от прежней. Но и в этом трагическом обстоятельстве есть зерно надежды. Помните у Федотова? Обретение славянской азбуки имело изначальное присутствие эллино-латинского фундамента — греческой философии, римского права, классического искусства. И это отличало от остальной Европы уже Киев, в остальном так на тогдашнюю Европу похожий. Можно по-разному относиться к этой знаменитой мысли, но все согласается, что в образе ушедшей России мы обрели античность, свой Рим. Чаадаев пытался нащупать под собой почву отечественных преданий и не находил; он, может быть,

плохо искал, но факт тот, что не находил. А сегодня политики, публицисты цитируют наших философов и историков, обращены к нашей литературе...

— Все это несколько фигурально, но я понимаю, о чем вы говорите: у нас теперь есть мощный культурный тыл, прошлое, то же самое, что вечность — вечные ценности. И действительно, мы делаем дело Леонардо — Возрождение. Возрождение, что ж, можно сказать, своей античности. Мы — в другой эпохе, и рождается другая страна. Какая она будет — неизвестно, но будет другая. До самого последнего времени мы были той Россией, искаженной, но той. А теперь у нас есть свои печальные руины. Но как они держат душу и разум! И когда мы смотрим на свои руины, мы понимаем, что это утраченные, но вновь обретенные ценности.

Вот что еще важно — это я хочу особо подчеркнуть. Всякая революция проходит три этапа: собственно революции, диктатуры, реставрации. Так было и в Англии, которая реставрацией Карла II обязана генералу Монку, и во Франции, куда Людовик XVIII вернулся благодаря войскам коалиции, и прежде всего русским войскам. У нас же опять по-особому. Революция была, и диктатура была (Сталин — нечто вроде карикатуры на Бонапарта), а вот третий этап запоздал. Уверен, что нынешняя «перестройка» — наша реставрация, при том, конечно, что Владимир Кириллович не воцарится. После реставраций бывают бунты, но, так сказать, карманные, вроде июльских трех дней в Париже в 1830 году или бескровного свержения Якова II Стюарта. Такова закономерность. Надеюсь, что наша страна ей тоже подчиняется. Это внушает некоторую надежду на то, что все обойдется без крови...

— Продолжим же, Александр Михайлович, наши оптимистические изыскания. Что же еще? Пожалуй, восстание мертвых: никогда пред мысленным взором всего народа не вставали, как встали теперь благодаря той же грамоте и тем же «масс-медиа» все его великие мертвые. А уж мертвые «нас не оставят в беде». И если однажды свою историю открыло через посредство Карамзина избранное просвещенное «общество», то сейчас, и при помощи того же автора, ее могут открыть для себя все. И если прежде перед мысленным взором крестьянина стояли темные предания, то теперь все мы поминутно сталкиваемся с прошлыми поколениями как реальностью духовного и умственного опыта, действительно вечности.

— «Чаю восстанья мертвых к жизни будущего века...» И, может быть, нам действительно нужно чаять жизни будущего века. А это идея бессмертия. Бессмертия души. Души народа — и отдельного человека. Ведь есть зримая связь между нами и предками — поминание, которое передается в церковь. Много раз в году я сажусь за машинку и печатаю поминание, мать идет и передает в церковь. Так вот, обыкновенно поминаются три-четыре колена, не больше. Чаще даже все оканчивается дедушкой и бабушкой. А я всегда пишу в конце: «Болярина Александра». Пушкина, значит. Ну, вдруг его некому поминать? Да, настали времена, когда мы чтим среди наших предков — и не как идолов хрестоматийных, а как спутников — болярина Александра, болярина Льва, болярина Федора и многих других боляр. И понимаем теперь, что мы не только не первые, но и не третьи-четвертые, — там, за нами, могучая толща мудрости и много, много людей, которые были, во всяком случае, не хуже нас. Это было обольщение — думать, что мы первые. Наоборот — последние. Живущие сегодня — пока последние.

— Теперь позвольте еще одно общее место. Интеллигенция, она всегда была не одно с народом и не одно с властью. Говоря точнее, была отделена стенами непонимания от того и от другой. И находясь между основанием и вершиной общественной пирамиды, она — такая — придавала непрочность всей постройке. Сейчас, кажется, интеллигенция теряет сектантские черты и переходит в разряд «интеллектуалов» в европейском смысле, если не считать инерционных в ней течений...

— Я, сказать правду, этого не вижу. Я, во-первых, человек инерции. Мне уж шестой десяток, знаете, и поздно менять привычки, да и не вижу в том нужды. И я как раз принадлежу к той инерции, которая предписывает нам — а это началось со времен Лермонтова, Чаадаева — с властью не яхтаться. Хотя была и другая часть образованного слоя, которая, наоборот, к власти всегда стремилась и даже была в лакеях у власти. Третья позиция, видимо, самая разумная: делать свое творческое дело и в то же время не чураться государственной службы. Это позиция С. Т. Аксакова, Гончарова, которые служили в цензуре (!), И. А. Крылова, Тютчева (служил в иностранной цензуре, до этого — по дипломатической части) и многих почтенных

людей. Когда интеллигенция принципиально противостоит власти, власть обречена на дожинность, и это плохо для всех.

Но что происходит сейчас, мне сказать трудно. Я когда включая телевизор — эти наши заседания, которые мы все, бедные, смотрим, пора бы уже перестать, — меня охватывает отчаяние. Что же это такое? Интеллигенция ли это, что так себя ведет? Если вы туда пришли, то первое — держите свои нервы на привязи. Я понимаю, есть личные амбиции, есть много глупых людей, как среди реакционеров, так и демократов. Глупость, она не зависит от мировоззрения. Но эта суетливость так отличает нас от западного «работника на интеллектуальной почве»! Эти смены настроений от хохота к отчаянию... Эти митинги, на которых говорится одно и то же... Ведь порядочному человеку, если кто-то уже высказал его мысль, — ну, да, неприятно, но повторять неприлично. У нас нет упорства и спокойного отношения к жизни. Когда мы его выработаем, уйдут сжигание флагов и контрдемонстрации. Самое простое: вообще не ходить ни на какие демонстрации. Посидеть дома, заняться чем-нибудь добрым, да хоть полнатуреть. Я думаю, что мы еще не научились быть интеллигентными, и в этом — тоже наша традиция, не лучшая. Я читал речи думских ораторов. Конечно, калибр был повыше, чем теперь, но и там десятки раз высказывают на трибуну — и все про одно! Так что нам еще предстоит учиться. Но, может быть, действительно есть некоторые признаки того, что у нас «становится» нормальная буржуазность. Не в смысле отношения к богатству, корысти, нет, а в смысле спокойного, размеренного отношения к труду.

— «Среднего штиля»?

— «Среднего штиля»! Россия всегда производила гениев — это запросто. А вот пишущей машинки произвести не можем. За всю историю советской власти хотя и запускали спутники и проч., но пишущие машинки были таковы, что драться ими можно, конечно, но печатать на них все же нельзя. Я, например, всю жизнь печатаю на машинке «Ундервуд» № 5, американской, 1913 года.

Кстати, есть одно доказательство, что мы не готовы к «среднему штилю» (и в этом — и наше величие, и беда, как всегда!). У нас не было детектива. Вообще, как жанра. Романов с уголовной интригой (хотя бы у Достоевского) — сколько угодно. Но детектив построен на другом — именно на «среднем штиле», на представлениях среднего человека о том, что лицо определенного характера, воспитания, состояния в определенных условиях совершает определенные поступки. Не так ли? Иначе Шерлок Холмс не в состоянии расследовать дело. (У Достоевского «штиль» выше: человек — образ и подобие Божие, и никто не может знать, что он совершит.) Советский детектив, когда он зародился, был постыден, глуп, но чрезвычайно интересен как симптом: что-то в обществе начинает меняться.

— Спрос же на детектив — симптом еще более верный!

— Да, но сам наш, сегодняшний, паршивенький детектив показывает, что мы еще не привыкли к этому «среднему штилю», к которому обязаны привыкнуть. Обязаны! Где «средний штиль», там средний класс, где средний класс, там среднее, не отклоняющееся за грань поведение, там — стабильность. Что же в нашем детективе? Кто-то кого-то убил, ограбил; нормально — это литературная игра. Но одновременно про Страдивариуса подпустить. Мы, мол, не просто пишем детектив, мы и про Страдивариуса знаем. Нет, это еще не доверие к «среднему штилю»! Не таковы Чандлер или Чейз! Пусть наши авторы скажут: я честно делаю свое среднее дело, в «среднем штиле», для создания средних условий жизни, а про Страдивариуса пусть пишет тот, кто знает про Страдивариуса.

— То есть «штиль» еще в смещении...

— Еще в цилиндре и в лаптях.

— Я хотел бы перейти на неожиданную тему — упомянуть в перечне наших надежд... афганскую войну. Поясню. Ведь война накладывает свои черты на идущий за ней кризис. Важно поэтому, что вокруг лозунгов афганской войны не было такого воодушевления, какое было в 1914-м вокруг лозунга Веры, Царя и Отечества и какое придавало равную силу отрицанию тех же лозунгов в 1917-м. В мировую революцию в 79-м никто не верил, оттого и не сильно ударила, разжавшись, пружина войны. А во-вторых, не сила, а слабость и раны, незащищенность, страдание афганца вышли на первый план, и вот уже ваш земляк вооружает «р-революционную» перестройку лозунгом Милосердия, ставя тем самым под сомнение эту «революционность». Ибо какая же революция — под знаменем милосердия?

— Вот Крымская компания. Она осталась героической

войной. А почему мы так мало писали об афганской войне? Может быть, война на чужой территории для нас — ужасный грех? У каждой войны есть свои певцы, как и герои; но герои этой войны — изгнанники. Их изгнали туда безо всякой вины и безо всякого их согласия. И может быть, такое наше к ним отношение — а они сами так же к себе относятся — действительно сообщило мягкость общественному кризису. В 1917 году появился «человек с ружьем». А в 1985-м — с израненным сердцем. И в этом — во всякой беде есть что-то доброе! — заключено добро. Нас всех ранили, и мы поняли, что надо все менять.

— И наконец, Александр Михайлович, нам нельзя не поговорить о «втором крещении» Руси. Оно отличается от первого и по абсолютным цифрам обращенных, но это само собой, и добровольностью, и тем обстоятельством, что выбирает каждый, а не за всех — князь. И человек, идя, предположим, креститься в православную церковь, может остановиться у кришнаитской агитации или купить газету «Протестант», но продолжает свой путь! После векового соблазна подтверждается тысячелетний выбор. Мне кажется, это сулит нам в будущем такие дары, которые превосходят издержки моды, сопровождающие обращение...

— Думаю, что да. Мне уже приходилось об этом говорить... Я вообще считаю, что атеистов нет. То есть, может быть, и есть, но я такой белой вороны в жизни не встречал. Так или иначе, все люди верующие, кто во что. По крайней мере, все научные атеисты — самые верующие, и в самой извращенной форме. Почему, думаю я, когда есть возможность не только к кришнаитам, но и к летающим тарелкам прибиться — какого ведь вздора не говорят! — люди идут, у кого предки были православные — в православие, и так же в иудаизм, лютеране, католики... Эти вероисповедания доказали свою от-вечность. Скажем, к Перуну-то никто не пошел...

— Есть будто бы фракция в «Памяти», считающая христианство переизданием иудаизма, а потому — вперед, к Перуну, не то Велесу!

— Я об этом не слыхал, это, видимо, редкие жители. Что ж, Перун был убийца, требовал человеческой крови, ему приносили жертвы, так что не дай Бог, если они к Перуну возвращаются, лучше к Велесу...

Так вот, делается, конечно, великое дело. Хотя, может быть, моды тут больше, чем мы с вами думаем, ну и Бог с ней. мода бывает и хорошая.

Нас, знаете, будто покружило в лесу, и теперь мы пришли в какой-то пункт и видим: идти надо вот так. И мы знаем, что радостей впереди будет не много, но это единственная дорога. Жизнь всегда тяжела! Ошибка была — думать все эти десятилетия, что можно создать счастливую жизнь. Ее нельзя создать, это нелепо. Всегда будет болезнь, и изменять будет жена мужу, и муж жене, а уж смерть будет обязательно. Ведь смотрите, чего хотели фантасты-то наши, Ефремов, Беляев: профессор стопятидесятилетний, а у него только виски седые, впору жениться на шестнадцатилетней. Нет, не будет так! И не надо! Революция — это страшная боязнь смерти. Вы, может быть, этого не застали, но чего больше всего боялась любая редакция все последние десятилетия, пуще критики партийных вождей? Описаний смерти! Только так: он умер, но дело его живет. То есть упомянуть можно, но описывать смерть и смертные мучения, вообще много писать об этой старухе не надо. Состояние неоязычества! Вокруг язычника потому так много разных сил — в бане баннущка, в лесу леший, в доме домовый, — что он всего боится. И прежде всего смерти. Он не знает, что после смерти будет. А человек, которого, пуще того, научили, что после смерти ничего не будет, кроме тления, тот боится еще больше. Иное дело, если он научен верить в бессмертие души. Не говоря о том, что есть вещи похуже смерти.

— Бесчестие?!

— Вот о чести сейчас заговорили. Слово-то само было не в чести, его вообще не было в советском лексиконе. Какая там честь! Еще не скоро придет. При таких структурных перестройках честь приходит последней. Нам всд надо выскочить из положения, которое в известном смысле хуже, чем в 48—49-м годах. Тогдашние доносчики скрывали себя, еще в обществе были живы старые понятия, и родившимся вровень с веком было пятьдесят лет. Уж гимназию всяк успел пройти, не так ли? Закон Божий, в частности. А в более поздние времена? Да, я накатал на тебя телегу. Мне лично так говорили. «Вы писали это?» — «Да, писал(а)». Попробуйте-ка довести до их сведения! Время Петруши Гринева, так нужное нам, приходит, кажется, лет через семьдесят после такой ломки. Не дай Бог, если еще 70 лет ждуть!

Беседа вел Рустам РАХМАТУЛЛИН.

Альбом. Лист I.

ИСКУССТВО ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

Неправда, что наша нынешняя провинция небогата культурными ценностями. Неправда, что все разрушено, распродано и разграблено. Да и столица хранит под замком гораздо больше, чем открывается взглядам любознательных туристов. Территория нашей страны буквально усеяна сокровищами, закрытыми от глаз.

Марьино. Усадьба князей Барятинских. Курская область, 25 верст от города Рыльска.

Окрестные крестьяне, взяв в конце 1917 года усадьбу Марьино под охрану и добросовестно пересчитав все имущество, и не подозревали, для кого они ее сберегают. Имущество в конце концов разошлось по музеям — от Ленинграда до Ташкента, от Одессы до Харькова. Но цел-целехонек роскошный дворец XIX века, шумит листвою огромный парк. Тенистые аллеи, романтические колоннады, зеркальные пруды.

Но не спешите покупать билет до Рыльска. Вам нужен другой билет — партийный. В усадьбе Марьино — санаторий ЦК КПСС.

Москва. Кремль. Кремлевские дворцы XV—XIX веков.

«Осмотр Дворца возможен в присутственные дни с 10 до 3 часов дня, по билетам, выдаваемым бесплатно в Дворцовой конторе лишь в день осмотра. Вход через парадную лестницу дворца со стороны дворцовой площади; посетители сопровождают придворные лакеи».

Эти строки — из путеводителя времен зачатого царизма (1903 год). У нас уже вроде демократия, но кремлевские покои доступны лишь депутатам, вельможным чиновникам да иностранным гостям. Попробуйте сходите в «Дворцовую контору». Придворных лаксеев вы, пожалуй, найдете, вот только вас они не сопроводят, а в лучшем случае выпроводят.

Москва. Юсуповские палаты XVII—XIX веков. Большой Харитоньевский переулок, 21.

Говорят, что в главной комнате этих сказочных древнерусских теремов несколько лет назад можно было видеть забавную портретную галерею: русские цари и императоры по соседству с Лениным и Тимирязевым. Проверить трудно — бдительный вахтер надежно охраняет уникальный памятник гражданского зодчества Древней Руси.

Впрочем, мы точно знаем одного человека, который чувствовал себя хозяином в боярских хоромы. Это Трофим Денисович Лысенко, некогда президент ВАСХНИЛ, что до сих пор занимает палаты.

Москва. Особняк З. Г. Морозовой. Спиридоньевка (булица Алексея Толстого), 17. Конец XIX века.

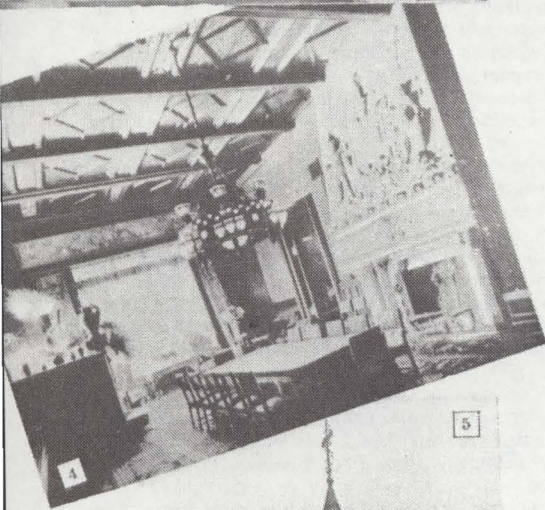
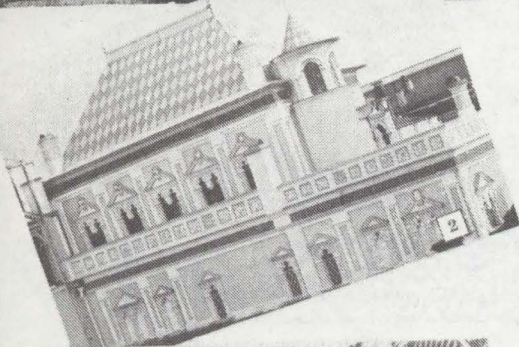
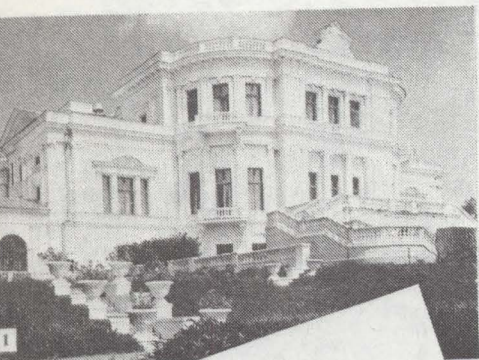
В этом особняке — одном из лучших произведений московского раннего модерна, с мавританскими башенками и стрельчатыми арками, с изысканным внутренним убранством — находится учреждение с гостеприимным названием — «Дом присмов». Но принимают здесь не нас с вами, а опять же иностранцев. Хозяин особняка — МИД СССР. Поклонники замечательного архитектора Федора Шехтеля принуждены знакомиться с его творением по старым книжкам.

Муром. Спасо-Преображенский монастырь XVI—XIX веков.

Место, с которого начинался город Муром, охраняется теперь более чем тщательно. Монастырь стоит на месте двора первого муромского князя Глеба, древнейшее упоминание об обители — 1096 год.

Все эти исторические воспоминания отлетают прочь при виде военного караула у монастырских ворот. Естественно, вход на «объект» — для избранных.

Константин МИХАЙЛОВ



Великий Князь АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ



Автор нашей публикации, его жена Великая Княгиня Ксения Александровна и Императрица

БЕГСТВО

1

Вернувшись из Ставки, я должен был подумать о моей семье, состоявшей в то время из Императрицы Марии Федоровны, моей жены Великой Княгини Ксении Александровны, моей невестки — Великой Княгини Ольги Александровны, моих шестерых сыновей и мужа Ольги Александровны, Куликовского. Моя дочь Ирина и ее муж — князь Юсупов, высланный в свое имение близ Курска за участие в убийстве Распутина, присоединились к нам в Крыму немного позднее.

Я лично хотел остаться в Киеве, чтобы быть поближе к фронту. В моей душе не было чувства горечи к русскому народу. Я любил родину, я рассчитывал принести ей пользу, будучи на фронте. Я пожертвовал десятью годами моей жизни для создания и развития нашей военной авиации, и мысль о прекращении привычной деятельности была для меня нестерпима.

Первые две недели все шло благополучно. Мы ходили по улицам, смешавшись с толпой, и наблюдали грандиозные демонстрации, которые устраивались по случаю полученной свободы!

Дни были заполнены бесконечными митингами, и многочисленные ораторы обещали мир, преуспеяние и свободу. Было трудно понять, как все это произойдет, пока была война, но, конечно, следовало считаться и с русской велемечью.

Вначале население относилось ко мне весьма дружелюбно. Меня останавливали на улице, пожимали руки и говорили, что мои либеральные взгляды хорошо известны. Офицеры и солдаты отдавали мне при встрече честь, хотя отдание чести и было отменено прословутым приказом № 1.

Все шло как будто прекрасно. В провинции и на окраинах революция проходила бескровно, но нужно было остерегаться планов немецкого командования. Немецкие стратеги не оправдали бы своей репутации, если бы упустили те возможности, которые открывались для них благодаря нашей революции. Она являлась для немецкого командования последним шансом, чтобы предотвратить готовившееся весной общее наступление. Никакое вмешательство в их пользу со стороны бесплотных сил не могло бы создать более благоприятной для них обстановки, чем наша революция.

К концу марта германские агенты всецело овладели положением как в столицах, так и в провинции. Совершенно безразлично, получили ли большевистские главари какие-либо денежные суммы от немецкого командования или же ограничились тем, что приняли предложение германского правительства проехать через Германию в запломбированном вагоне. Ведь говорил же Ленин: «Я бы взял на дело революции деньги от самого дьявола».

Странные сообщники — Ленин и Лудендорф — не обманывались относительно друг друга. Они были готовы пройти часть пути вместе к объединявшей их стремление цели — разрушения России. Генерал старался оставаться серьезным, думая о сумасбродстве этого «теоретика» Ленина. Двадцать месяцев спустя коммунисты здорово посмеялись над Лудендорфом, когда революционная чернь хотела его арестовать в Берлине, победителя при Танненберге.

На знаменах, которые несли полные революционного энтузиазма манифестанты в Киеве, четкими буквами были написаны новые политические лозунги:

«Мы требуем немедленного мира!»

«Мы требуем возвращения наших мужей и сыновей с фронта!»

«Долой правительство капиталистов!»

«Нам нужен мир, а не проливы!»

«Мы требуем самостоятельной Украины».

Последний лозунг — мастерский удар германской стратегии, нуждается в пояснении. Понятие «Украина» охватывало колоссальную территорию юго-запада России, граничившую на западе с Австрией, центральными губерниями Великой России на севере и Донецким бассейном на востоке. Столицей Украины должен был быть Киев, а Одесса — главным портом, который вывозил бы пшеницу и сахар [...].

Окончание. Начало см. в № 3, 1991 г.

Лидеры украинского сепаратистского движения были приглашены в немецкий генеральный штаб, где им обещали полную независимость Украины, если им удастся разложить русский фронт. И вот миллионы прокламаций наводнили Киев и другие крупные населенные пункты Малороссии. Их лейтмотивом было: полное отделение Украины от России. Русские должны оставить территорию Украины. Если они хотят продолжать войну, то пусть борются на собственной земле.

Делегация украинских самостийников отправилась в С.-Петербург и просила Временное правительство отдать распоряжение о создании украинской армии из всех уроженцев Украины, состоявших в рядах русской армии. Даже наиболее левые члены Временного правительства признали этот план изменническим, но украинцы нашли поддержку у большевиков. Домогательства украинцев были удовлетворены. Вслед за этим немецкий генеральный штаб стал снимать с восточного фронта целые дивизии и отправлять их на западный фронт. Русский «паровой каток» разлетелся на куски.

2

Воодушевленные своим первым успехом, банды немецких агентов, провокаторов и украинских сепаратистов удвоили свои усилия. Агитация против существующих учреждений подкреплялась призывами бороться с врагами революции. Наступил момент, когда разрушение царских памятников уже более не удовлетворяло толпу. В одну ночь киевская печать коренным образом изменила свое отношение к нашей семье.

«Всю династию надо утопить в грязи!» — восклицал один известный журналист на страницах распространенной киевской газеты, и началось забрасывание нас грязью. Уже более не говорилось о либерализме моего брата, Великого Князя Николая Михайловича, или же о доброте Великого Князя Михаила Александровича. Мы все вдруг превратились в «Романовых, врагов революции и русского народа».

Вдовствующая Императрица Мария Федоровна, страшно удрученная полной неизвестностью о судьбе Государя, не могла переносить клички, прибавленной к нашим прежним титулам. Напрасно я старался ей объяснить безжалостный ход всех вообще революций. Императрица, почти достигшая семидесяти лет, не могла постичь и не хотела верить, что династия, давшая России Петра Великого, Александра I, Александра II и, наконец, ее собственного мужа Александра III, которого она обожала, могла быть обвинена теперь во враждебности к русскому народу.

— Мой бедный Никки, может быть, и делал ошибки, но говорить, что он враг народа!.. никогда, никогда!..

Она вся дрожала от негодования. Она смотрела на меня глазами, которые, казалось, говорили: «Ты знаешь, что это неправда? Почему же ты ничего не сделаешь, чтобы прекратить этот ужас?»

Мое сердце обливалось кровью. Личное чувство унижения забывалось, когда я видел, какие страдания уготовила ей судьба. Пятьдесят лет тому назад обаятельная принцесса Дагмар пожертвовала своей молодостью, красотой и счастьем для блага чужой страны. Она присутствовала при мученической кончине своего добрейшего свекра Императора Александра II, которого привезли 1 марта 1881 г. во дворец, разорванного бомбой террориста. Она страдала и терпела, видя, как ее муж не щадил себя для России и губил свое железное здоровье. Теперь судьба забросила ее сюда, на расстояние сотни верст от ее сыновей... Она не верила, что сын ее перестал быть Императором. И разве в таком случае внук ее Алексей не должен был по закону наследовать отцу? Неужели же Никки отрекся и за него? Но что же тогда делает ее второй сын, Михаил, и почему новый Император не может взять родной матери к себе?

Мои бывшие подчиненные навещали меня каждое утро и просили уехать в наше крымское имение, пока еще можно было получить разрешение на это от Временного правительства. Приходили слухи, что Император Николай II и вся Царская семья будут высланы в Сибирь, хотя в марте ему и были даны гарантии, что ему будет предоставлен выбор между пребыванием в Англии или же в Крыму. Керенский, в то время единственный социалист в составе Временного правительства, сообщил своим близким, что Ллойд Джордж отказал бывшему Царю в разрешении на въезд в Англию. Великобританский посол сэр Джордж Бьюкенен это впоследствии отрицал, но время было упущено, и настоящие госпо-

да положения — члены Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов требовали высылки Царя в Сибирь.

Я просил Великую Княгиню Ольгу Александровну постараться убедить вдовствующую Императрицу переехать в Крым. Вначале я встретил решительный отказ: она не хотела уезжать от Никки еще дальше. Если это новое варварское правительство не позволит Никки приехать в Киев, заявила она после того, как нам удалось ей разъяснить настоящее положение Государя, то почему же она не могла сопровождать его в сибирскую ссылку? Его жена Аликс слишком молода, чтобы нести бремя страданий одной. Она чувствовала, что Никки очень нуждается в поддержке матери.

Это материнское чувство было, в своей искренности, так доблестно, что Ольга Александровна вынуждена была ей уступить. Она говорила, что нужно уважать волю Всевышнего. Как бы ни было тяжело, но лучше всего было всем быть вместе.

По всей вероятности, некоторым из наших добрых друзей, тронутых нашим положением, удалось повлиять на Временное правительство, и в один прекрасный день к нам явился комиссар и передал приказ отправиться немедленно в Крым. Местный Совет всецело одобрил этот план, так как считал, что «пребывание врагов народа так близко от фронта представляет собою большую опасность для революционной России».

Нам пришлось почти что нести Императрицу на вокзал. Она боролась до последней минуты, желая оставаться и заявляя, что предпочитает, чтобы ее арестовали и бросили в тюрьму.

3

Наше путешествие совершилось под конвоем матросов. По приезде в Ай-Тодор, мы получили длинный список того, что мы не должны были делать, от некоего господина, носившего громкий титул «Особого комиссара Временного правительства».

Мы состояли под домашним арестом и могли свободно передвигаться лишь в пределах Ай-Тодорского имения, на полутора десятинах между горами и берегом моря.

Комиссар являлся представителем Временного правительства, матросы же действовали по уполномочию местного Совета. Обе эти революционные власти находились в постоянной вражде. Матросы не доверяли комиссару, комиссар же с ужасом смотрел на ручные гранаты, заткнутые за пояс революционных матросов. Будучи членом Государственной Думы и происходя из богатой семьи, комиссар Временного правительства надеялся, что революционная буря скоро уляжется, страна заживет вновь нормальной жизнью и власть останется в руках его единомышленников. Как все безответственные представители либеральных партий того времени, он попал, так сказать, между двух огней, и его крайняя неискренность не могла ввести циничных матросов в заблуждение. Они не скрывали своего презрения по отношению к нему, не слушались его приказаний и даже отказывались вставать при его появлении.

У нашего комиссара было никогда не оставлявшее его испуганно-озлобленное выражение лица. Постоянно оглядываясь на своих, терроризировавших его, помощников, он в обращении с нами старательно подражал их революционной резкости. В апреле месяце он титуловал меня «бывшим Великим Князем Александром», в мае я превратился в «Адмирала Романова», к июню я уже стал просто «Гражданином Романовым». Всякий намек на протест с моей стороны сделал бы его счастливым. Но мое безразличие сводило все его замыслы к нулю. Он приходил прямо в отчаяние. Он с ненавистью смотрел на вдовствующую Императрицу, надеясь, что она хоть будет протестовать против его бестактностей. Сомневаюсь, замечала ли она его вообще. С утра до вечера она сидела на веранде, погруженная в чтение старой семейной Библии, которая сопровождала ее во всех ее путешествиях с того самого дня, как она покинула родную Данию в шестидесятих годах прошлого столетия.

Особый комиссар Временного правительства, которое обещало свободу, равенство и братство, решил, наконец, попытать свое счастье с моим младшим сыном Василием. Он, вероятно, слышал, что подобный метод применялся во Франции во время революции. Чтобы следовать примеру во всех подробностях, он обратился к мальчику на языке Робеспьера. Василий поправил его ошибки по французском языке, и этим дело и кончилось.



Моя жена смеялась, но я предчувствовал новую опасность. Тревожные вести приходили с севера, указывавшие на то, что скоро власть в Крыму перейдет в руки большевиков. Чтобы выслужиться пред Севастопольским совдепом, наш комиссар был, конечно, способен на все.

4

Я внезапно проснулся, так как почувствовал прикосновение чего-то холодного к моему лбу. Я поднял руку, но грубый голос произнес надо мною угрожающе:

— Не двигаться, а то пристрелю на месте!

Я открыл глаза и увидел двух людей, которые стояли над моей кроватью. Судя по серому свету, пробивавшемуся чрез окна, было, вероятно, около четырех часов утра.

— Что вам угодно? — спросила жена. — Если вам нужны мои драгоценности, вы найдете их на столике в углу.

— Мы и не думали о ваших драгоценностях, — ответил тот же голос. — Нам нужны вы, аристократы! Всякое сопротивление бесполезно. Дом окружен со всех сторон. Мы представители Севастопольского Совета и пришли вас всех обыскать. Потрудитесь слушаться моих приказаний.

Итак, наступило неизбежное. Стараясь сохранить самообладание, я сказал нашему почти невидимому собеседнику, что всецело готов подчиниться его приказам, но я прошу зажечь свет, чтобы убедиться в законности его «мандата».

— Эй, кто там? — закричал он кому-то в темноту. — Дайте огня! Гражданин Романов хочет видеть подпись победоносного пролетариата.

В ответ из темноты раздался смех, и в комнату из коридора вошло несколько человек.

Свет зажгли. Комната наполнилась толпой матросов, вооруженных до зубов. Мне предъявили приказ.

Согласно приказу, наряду матросов предписывалось произвести подробный обыск имения, называемого Ай-Тодор, в котором жили гражданин Александр Романов, его жена Ксения Романова и их дети.

— Уберите, пожалуйста, ваши винтовки и дайте нам возможность одеться, — предложил я, думая, что если моя просьба будет уважена, то это означало, что нас намеревались увезти в тюрьму.

Но предводитель матросов, по-видимому, угадал мои мысли и иронически улыбнулся.

— Не стоит одеваться, гражданин Романов. Мы вас еще не собираемся увезти. Потрудитесь встать и показать нам весь ваш дом.

Он сделал знак матросу, и тот отодвинул на два вершка дуло револьвера от моей головы.

Я засмеялся:

— Неужели вы так боитесь двух безоружных людей?

— С врагами народа мы должны быть осторожными. — серьезно заметил он. — Почему мы знаем, быть может, у вас имеется какая-нибудь скрытая сигнализация?

— Курить можно?

— Да. Только не заговаривайте мне зубы. Мы должны делать наше дело. Во-первых, нам надо осмотреть ваш большой письменный стол в библиотеке. Дайте ключи. Мы не собираемся ломать у вас мебели. Все это — народное добро. Я достал ключи из-под подушки.

— Вот ключи. Но где же комиссар Временного правительства?

— Он не нужен. Мы обойдемся и без него. Показывайте дорогу.

Окруженный матросами с револьверами, наведенными на меня, я повел моих гостей по коридору. В доме находилось не менее пятидесяти матросов. У каждой двери мы наткнулись на новую группу вооруженных.

— Однако! — не удержался я от замечания предводителю. — Даже на вдовствующую Императрицу и маленьких детей приходится по шести человек на каждого.

Он не обратил внимания на мою иронию и указал на окно: три громадных грузовика, наполненных солдатами, с пулеметами на особых платформах стояли на лужайке.

Я помог ему открыть стол. Он выбрал пачку писем с иностранными марками.

— Переписка с противником. Для начала недурно!

— К сожалению, я должен разочаровать вас. Все эти письма, написанные моими английскими родственниками...

— А это?

— Оно из Франции.

— Что Франция, что Германия — для нас все одно! Все это капиталистические враги рабочего класса.

После десятиминутных поисков ему, наконец, удалось найти ящик, в котором находились письма, написанные на языке, который он мог понять. Он медленно начал их перечитывать.

— Переписка с бывшим Царем, — сказал он авторитетно, — заговор против революции.

— Посмотрите на даты. Все эти письма были написаны еще до войны.

— Хорошо. Это решат товарищи в Севастополе.

— Вы собираетесь взять у меня мою личную корреспонденцию?

— Конечно. У нас по этой части имеются специалисты. Я, собственно говоря, пришел искать оружия. Где ваши пулеметы?

— Вы смеетесь?

— Я говорю совершенно серьезно. Обещаю вам в присутствии моих товарищей, что вам ничего не угрожает, если вы дадите ваши пулеметы без сопротивления. Рано или поздно мы их найдем, и тем хуже будет для вас и для вашей семьи.



Продолжать этот спор было бесполезно. Я закурил папиросу и уселся в кресло.

— Раз, два, три,— угрожающе поднялся он.— Что мы производим, обыск или же нет?

— Вам лучше знать.

— Хорошо. Товарищи, приступите к подробному обыску.

Лишь в шесть часов вечера они двинулись обратно в Севастополь, оставив дом в полнейшем беспорядке и захватив с собою мою личную корреспонденцию и Библию, принадлежавшую моей теще. Вдовствующая Императрица умоляла не лишать ее этой драгоценности и предлагала взамен все свои драгоценности.

— Мы не воры,— гордо заявил предводитель шайки, совершенно разочарованный неудачей своей миссии,— это контрреволюционная книга, и такая почтенная женщина, как вы, не должны отравлять себя подобной чепухой.

Через десять лет, будучи уже в Копенгагене, моя старая теща получила пакет, в котором находилась ее Библия. Один датский дипломат, находясь в Москве, купил эту Библию у букиниста, который торговал редкими книгами. Императрица Мария Федоровна умерла с этой книгой на руках.

5

К ранней осени процесс революционного разложения достиг своего апогея. Дивизии, бригады и полки перестали существовать, и толпы грабителей, убийц и дезертиров наводнили тыл.

Командующий Черноморским флотом адмирал Колчак поехал в С.-Петербург, чтобы исходатайствовать пред американским правительством о принятии его в военный флот С. Ш. добровольцем. Колчак старался до последней минуты поддерживать дисциплину во флоте, но посулы Совета казались его подчиненным более заманчивыми. Адмирал не мог дать более того, что обещали представители Севастопольского Совета: поделить между матросами все деньги, которые находились в крымских банках. Эффектным жестом сломал он свой золотой кортик, полученный им за храбрость, бросил его в волны моря на глазах эскадры и удалился.

Мы ожидали ежедневно падения Временного правительства и были в наших мыслях с нашими далекими родными. За исключением Царя и его семьи, которых перевезли в Тобольск, вся остальная наша семья находилась в С.-Петербурге. Если бы мои братья Николай, Сергей и Георгий своевременно прибыли бы к нам в Ай-Тодор, они были бы живы до сегодняшнего дня. Я не имел с октября 1917 года с севера никаких известий и о их трагической гибели узнал только в Париже в 1919 г.

Но наступил день, когда наш комиссар не явился. Это могло иметь только одно объяснение. Мы должны были готовиться к встрече с новыми правителями России. В пол-

день у ворот нашего имения остановился запыленный автомобиль, из которого вылез вооруженный до зубов гигант в форме матроса. После короткого разговора при входе он вошел ко мне без доклада.

— Я получил приказ Советского правительства,— заявил он,— взять в свои руки управление всем этим районом.

Я попросил его сесть.

— Я знаю вас,— продолжал он,— вы — бывший Великий Князь Александр Михайлович. Неужели вы не помните меня? Я служил в 1916 году в вашей авиационной школе.

Под моим начальством служило две тысячи авиаторов, и, конечно, я не мог вспомнить его лицо. Но это облегчало установление отношений с нашим новым тюремщиком.

Он объяснил, что «по стратегическим соображениям» мы должны будем переехать в соседнее имение Дюльбер, принадлежавшее моему двоюродному брату, Великому Князю Петру Николаевичу.

Я уже долго не слышал этого военного термина. Что общего имели «стратегические соображения» с содержанием моей семьи под стражей? Разве что можно было ожидать турецкого десанта?

Он усмехнулся.

— Нет, дело обстоит гораздо хуже, чем вы думаете. Ялтинские товарищи настаивают на нашем немедленном расстреле, но Севастопольский Совет велел мне защищать вас до получения особого приказа от товарища Ленина. Я не сомневаюсь, что Ялтинский Совет попытается захватить вас силой, и поэтому приходится ожидать нападения из Ялты. Дюльбер, с его стенами, легче защищать, чем Ай-Тодор. Здесь местность открыта со всех сторон.

Он достал план Дюльбера, на котором красными чернилами были отмечены крестиками места для расстановки пулеметов. Я никогда не думал о том, что прекрасная вилла Петра Николаевича имеет так много преимуществ с чисто военной точки зрения. Когда он начал ее строить, мы подсмеивались над чрезмерной высотой его толстых стен и высказывали предположение, что он, вероятно, собирается начать жизнь «Синей Бороды». Но наши насмешки не изменили решения Петра Николаевича. Он говорил, что никогда нельзя знать, что готовит нам отдаленное будущее. Благодаря его предусмотрительности Севастопольский Совет располагал в ноябре 1917 года хорошо защищенной крепостью.

На снимках: слева — Великий Князь Александр Михайлович с женой, тещей (вдовствующая Императрица — вторая слева) и четырьмя сыновьями; справа — жена, дочь — княгиня Ирина Юсупова — и внучка Александра Михайловича.

События последующих пяти месяцев подтвердили справедливость опасений новых тюремщиков. Через каждую неделю Ялтинский Совет посылал своих представителей в Дюльбер, чтобы вести переговоры с нашими неожиданными защитниками.

Тяжелые подводны, нагруженные солдатами и пулеметами, останавливались у стен Дюльбера. Прибывшие требовали, чтобы к ним вышел комиссар Севастопольского Совета товарищ Задорожный. Товарищ Задорожный, здоровенный парень двух метров росту, приближался к воротам и расспрашивал новоприбывших о целях их визита. Мы же, которым в таких случаях было предложено не выходить из дома, слышали через открытые окна обычно следующий диалог:

— Задорожный, довольно разговаривать! Надоело! Ялтинский Совет предъявляет свои права на Романовых, которых Севастопольский Совет держит за собою незаконно. Мы даем пять минут на размышление.

— Пошлите Ялтинский Совет к черту! Вы мне надоели. Убирайтесь, а не то я дам отвешать севастопольского свинцу!

— Они вам дорого заплатили, товарищ Задорожный?

— Достаточно, чтобы хватило на ваши похороны.

— Председатель Ялтинского Совета донесет о вашей контрреволюционной деятельности товарищу Ленину. Мы вам не советуем шутить с правительством рабочего класса.

— Покажите мне ордер товарища Ленина, и я выдам вам заключенных. И не говорите мне ничего о рабочем классе. Я старый большевик. Я принадлежал к партии еще в то время, когда вы сидели в тюрьме за кражу.

— Товарищ Задорожный, вы об этом пожелаете!

— Убирайтесь к черту!

Молодой человек в кожаной куртке и таких же галифе, бывший представителем Ялтинского совдепа, пытался нередко обратиться с речью к севастопольским пулеметчикам, которых хотя и не было видно, но чье присутствие где-то на вершине стен он чувствовал. Он говорил об исторической необходимости бороться против контрреволюции, призывал их к чувству «пролетарской справедливости» и упоминал о неизбежности виселицы для всех изменников. Те молчали. Иногда они бросали в него камушками или же даже окурками.

Ему возражал чрезвычайно красноречиво Задорожный, что каждому из его подчиненных было бы чрезвычайно лестно расстрелять Великого Князя, но не ранее, чем Севастопольский Совет отдаст об этом приказ. По его мнению, большевистское правительство осуществляло свою власть над Крымом через посредство Севастопольского Совета, в то время как Ялтинский Совет состоял из налетчиков, объявивших себя коммунистами.

Великий Князь Николай Николаевич не мог понять, почему я вступал с Задорожным в бесконечные разговоры.

— Ты, кажется,— говорил мне Николай Николаевич,— думаешь, что можешь переменить взгляды этого человека. Достаточно одного слова его начальства, чтобы он пристрелил тебя и нас всех с превеликим удовольствием.

Это я и сам прекрасно понимал, но должен был сознаться, что в грубости манер нашего тюремщика, в его фанатической вере в революцию было что-то притягательное. Во всяком случае, я предпочитал его грубую прямоту двуличию комиссара Временного правительства. Каждый вечер, перед тем, как идти ко сну, я полушутя задавал Задорожному один и тот же вопрос: «Ну что, пристрелите вы нас сегодня ночью?» Его обычное обещание не принимать никаких «решительных мер» до получения телеграммы с севера меня до известной степени успокаивало.

По-видимому, моя доверчивость ему нравилась, и он спрашивал у меня часто совета в самых секретных делах. В дополнение к возведенным укрытиям для пулеметов я помог ему возвести еще несколько укреплений вокруг нашего дома, помогал ему составлять рапорты Севастопольскому Совету о поведении бывших Великих Князей и их семейств и т. п.

Однажды он явился ко мне по очень деликатному вопросу.

— Послушайте,— неловко начал он,— товарищи в Севастополе боятся, что контрреволюционные генералы пошлют за вами подводную лодку.

— Что за глупости, Задорожный. Вы же служили во флоте и отлично понимаете, что подводная лодка здесь пристать не может. Обратите внимание на скалистый берег, на приливы и глубину бухты. Подводная лодка могла бы пристать в Ялте или в Севастополе, но не в Ай-Тодоре.

— Я им обо всем этом говорил, но что они понимают

в подводных лодках! Они посылают сегодня сюда два проектора, но вся беда заключается в том, что никто из здешних товарищей не умеет с ними обращаться. Не можете ли вы нам?

Я с готовностью согласился помогать им в борьбе с мифической подводной лодкой, которая должна была нас спасти. Моя семья терялась в догадках по поводу нашего мирного сотрудничества с Задорожным. Когда проекторы были установлены, мы пригласили всех полюбоваться их действием. Моя жена решила, что Задорожный, вероятно, потребует, чтобы я помог нашему караулу зарядить винтовки перед нашим расстрелом.

Главным лишением нашего заключения было полное отсутствие известий откуда бы то ни было. С недостатком жизненных припасов мы примирились. Мы подсмеивались над рецептами изготовления шницеля по-венски из морковного пюре и капусты, но для преодоления мрачного настроения, которое получалось от чтения советских газет, были бы бессильны юмористы всего мира. Длинные газетные столбцы, воспроизводившие иступленные речи Ленина или Троцкого, ни одним словом не упоминали о том, прекратились ли военные действия после подписания Брест-Литовского мира. Слухи же, поступающие к нам окольными путями с юго-запада России, заставляли предполагать, что большевики неожиданно натолкнулись в Киеве и в Одессе на какого-то таинственного врага. Задорожный уверял, что ему об этом ничего не известно, но частые телефонные разговоры, которые он вел с Севастополем, подтверждали, что что-то было неблагоприятно.

В своих постоянных сношениях с Москвою Ялтинский Совет нашел новый повод для нашего преследования. Нас обвинили в укрывательстве генерала Орлова, подавлявшего революционное движение в Эстонии в 1907 году. Из Москвы был получен приказ произвести у нас обыск под наблюдением нашего постоянного визитера, врага Задорожного.

В соседнем с нами имении действительно проживал бывший флигель-адъютант Государя князь Орлов, женатый на дочери Вел. Кн. Петра Николаевича, но он не имел ничего общего с генералом Орловым. Даже наш непримиримый ялтинский ненавистник согласился с тем, что князь Орлов по своему возрасту не мог быть генералом в 1907 году. Все же он решил арестовать князя, чтобы предъявить его эстонским товарищам.

— Ничего подобного,— возвысил голос Задорожный, который был крайне раздражен этим вмешательством,— в предисании из Москвы говорится о бывшем генерале Орлове, и это не дает нам никакого права арестовать бывшего князя Орлова. Со мной этот номер не пройдет. Я вас знаю. Вы его пристрелите за углом и потом будете уверять, что это был генерал Орлов, которого я укрывал. Лучше убирайтесь вон.

Молодой человек в кожаной куртке и галифе побледнел как полотно.

— Товарищ Задорожный, ради Бога,— стал он умолять дрожащим голосом,— дайте мне его, а то мне несдобровать. Моим товарищам эти вечные поездки в Дюльбер надоели. Если я вернусь в Ялту без арестованного, они придут в ярость, и я не знаю, что они со мною сделают.

— Это дело ваше,— ответил, насмешливо улыбаясь, Задорожный,— вы хотели подкопаться под меня и сами себе вырыли яму. Убирайтесь теперь вон.

Он открыл настежь ворота и почти выбросил своего врага за порог.

Около полуночи Задорожный постучал в двери нашей спальни и вызвал меня. Он говорил грубым шепотом:

— Мы в затруднительном положении. Давайте обсудим, что нам делать. Ялтинская банда его таки пристрелила...

— Кто? Орлова?

— Нет... Орлов спит в своей постели. С ним все обстоит благополучно. Они расстреляли того болтуна. Как он и говорил, они потеряли терпение, когда он явился с пустыми руками, и они его пристрелили по дороге в Ялту. Только что звонил по телефону Севастополь и велел готовиться к нападению. Они высылают к нам пять грузовиков с солдатами, но Ялта находится отсюда ближе, чем Севастополь. Пулеметов я не боюсь, но что мы будем делать, если ялтинцы пришлют артиллерию. Лучше не ложитесь и будьте ко всему готовы. Если нам придется туго, вы сможете по крайней мере хоть заряжать винтовки.

Я не мог сдержать улыбки. Моя жена оказалась права.

— Я понимаю, что все это выглядит довольно странно,— добавил Задорожный,— но я хотел бы, чтобы вы уцелели до утра. Если это удастся, вы будете спасены.

— Что вы хотите этим сказать? Разве правительство решило нас освободить?

— Не задавайте мне вопросов. Будьте готовы.

Он быстро удалился, оставив меня совершенно озадаченным.

Я сел на веранду. Была теплая апрельская ночь, и наш сад был полон запаха цветущей сирени. Я сознавал, что обстоятельства складываются против нас. Стены Дюльбера, конечно, не могли выдержать артиллерийской бомбардировки. В лучшем случае севастопольцы смогли бы добраться до Дюльбера в четыре часа утра, между тем как самый тихоходный грузовик проехал бы расстояние между Ялтой и Дюльбером немногим дольше, чем в один час. Моя жена появилась в дворян и спросила, в чем дело.

— Ничего особенного, Задорожный просил меня присмотреть только за прожекторами. Они опять испортились.

Я вскочил, так как мне показалось, что вдали послышался шум автомобиля.

— Скажи мне правду,— просила меня моя жена,— я вижу, что ты взволнован. В чем дело? Ты получил известия о Никки? Что-нибудь нехорошее?

Я ей передал в точности мой разговор с Задорожным. Она с облегчением вздохнула. Она не верила, что сегодня ночью с нами случится что-нибудь недоброе. Она, как женщина, предчувствовала приближение конца нашим страданиям. Я с ней не спорил. Я только восхищался ее верой и отвагой.

Между тем время шло. Часы в столовой пробили час. Задорожный прошел мимо веранды и сказал мне, что теперь их можно было ожидать с минуты на минуту.

— Жаль,— заметила моя жена,— что они захватили Библию мамы. Я бы наугад открыла ее, как это мы делали в детстве, и прочла, что готовит нам судьба.

Я направился в библиотеку и принес карманное издание Священного Писания, которого летом не заметили делавшие у нас обиск товарищи.

Она открыла ее, а я зажег спичку. Это был 28-й стих 2-й главы Книги Откровения Святого: «И дам ему звезду утреннюю».

— Вот видишь,— сказала жена,— все будет благополучно!

Ее вера передалась и мне. Я сел и заснул в кресле. Когда я вновь открыл глаза, я увидел Задорожного. Он стоял предо мной и тряс меня за плечо. Широкая улыбка играла на его лице.

— Какой сейчас час, Задорожный? Сколько минут я спал?

— Минут? — Он весело рассмеялся.— Вы хотите сказать, часов! Теперь четыре часа. Севастопольские грузовики только что въехали сюда с пулеметами и вооруженной охраной.

— Ничего не понимаю... Те, из Ялты, должны быть здесь уже давным-давно? Если...

— Если... что?

Он покачал головой и бросился к воротам.

В шесть часов утра зазвонил телефон. Я услышал громкий голос Задорожного, который взволнованно говорил: «Да, да... я сделаю, как вы прикажете...»

Он вышел снова на веранду. Впервые за эти пять месяцев я видел, что он растерялся.

— Ваше Императорское Высочество,— сказал он, опустив глаза,— немецкий генерал прибудет сюда через час.

— Немецкий генерал? Вы с ума сошли, Задорожный. Что случилось?

— Пока еще ничего,— медленно ответил он,— но я боюсь, что если вы не примете меня под свою защиту, то что-то случится со мною.

— Как могу я вас защищать? Я вами арестован.

— Вы свободны. Два часа тому назад немцы заняли Ялту. Они только что звонили сюда и грозили меня повесить, если с вами что-нибудь случится.

Моя жена впиалась в него глазами. Ей казалось, что Задорожный спятил с ума.

— Слушайте, Задорожный, не говорите глупостей! Немцы находятся еще в тысяче верст от Крыма.

— Мне удалось сохранить в тайне от вас передвижение немецких войск. Немцы захватили Киев еще в прошлом месяце и с тех пор делают ежедневно на восток от 20 до 30 верст. Но, ради Бога, Ваше Императорское Высочество, не забывайте того, что я не причинил вам никаких ненужных страданий! Я исполнял только приказы!

Было бесконечно трогательно видеть, как этот великан дрожал при приближении немцев и молил меня о защите.

— Не волнуйтесь, Задорожный,— сказал я, похлопывая его по плечу.— Вы очень хорошо относились ко мне. Я против вас ничего не имею.

— А их Высочества Великие Князья Николай и Петр Николаевич?

Мы оба рассмеялись, и затем моя жена успокоила Задорожного, обещав, что ни один из старших Великих Князей не будет на него жаловаться немцам.

Ровно в семь часов в Дюльбер прибыл немецкий генерал. Я никогда не забуду его изумления, когда я попросил его оставить весь отряд «революционных матросов» во главе с Задорожным для охраны Дюльбера и Ай-Тодора. Он, вероятно, решил, что я сошел с ума. «Но ведь это же совершенно невозможно!» — воскликнул он по-немецки, по-видимому, возмущенный этой нелогичностью. Неужели я не сознавал, что Император Вильгельм II и мой племянник-Кронпринц никогда не простят ему его разрешения оставить на свободе и около родственников Его Величества этих «ужасных убийц»?

Я должен был дать ему слово, что я специально напишу об этом его шефам и беру всецело на свою ответственность эту «безумную идею». И даже после этого генерал продолжал бормотать что-то об «этих русских фантастах»!

8

Согласно условиям перемирия, немцы должны были эвакуировать Крымский полуостров, а также все остальные части Российской Империи, занятые ими весной 1918 года.

В Севастополь прибыл британский военный флот, и его командующий адмирал Кэльторп сообщил нам о предложении Короля Английского дать в наше распоряжение пароход для отъезда в Англию. Вдовствующая Императрица поблагодарила своего царственного племянника за его внимание, но отказалась покинуть Крым, если ей не разрешат взять с собою всех ее друзей, которым угрожала месть большевиков. Король Георг изъявил и на это свое согласие, и мы все стали готовиться к путешествию.

Желая увидеть главы союзных правительств, собравшиеся тогда в Париже, чтобы представить им доклад о положении в России, я обратился к адмиралу Кэльторпу с письмом, в котором просил его оказать содействие к моему отъезду из Крыма до отъезда нашей семьи, которая должна была тронуться в путь в марте 1919 года. Адмирал послал за мною крейсер, чтобы доставить меня из Ялты в Севастополь, и мы условились с ним, что я покину Россию той же ночью на корабле Его Величества «Форсайт».

Странно было видеть Севастопольский рейд, пестревший американскими, английскими, французскими и итальянскими флагами. Я напрасно искал среди этой массы флагов русский флаг или же русское военное судно. Взглянув на ветки остролистника, украшавшие мою каюту, я вдруг вспомнил, что русское 11 декабря соответствовало западноевропейскому Сочельнику. Было бы неудобно нарушать веселое настроение моих хозяев своим горем, а потому я извинился, что не буду присутствовать на торжественном обеде в кают-компании, и поднялся на палубу.

«Форсайт» увеличивал скорость, и береговые огни малопомалу скрывались из вида. Когда я обернулся к открытому морю, то я увидел Ай-Тодорский маяк. Он был построен на земле, которую мои родители и я возделывали в течение последних сорока пяти лет. Мы выращивали на ней сады и трудились в ее виноградниках. Моя мать гордилась нашими цветами и фруктами. Мои мальчики должны были закрываться салфетками, чтобы не запачкать рубашки, кушая наши великолепные, сочные груши. Было странно, что, утратив так много лиц и событий, память моя сохранила воспоминание об аромате и вкусе груш из нашего имения в Ай-Тодоре. Но еще более странно было сознавать, что, мечтая 50 лет своей жизни об освобождении от стеснительных пут, которые на меня налагало звание Великого Князя, я получил, наконец, желанную свободу на английском корабле.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот уже тринадцать лет, как я веду жизнь эмигранта. Когда-нибудь я напишу другую книгу, которая будет повествовать о впечатлениях порой радостных, порой грустных,

которые ожидали меня на пути моих скитаний, уже не освещенных лучами Ай-Тодорского маяка.

Моя врожденная непоседливость, соединенная с неугасимым стремлением к духовному улучшению, удерживала меня вдали от Парижа, где царил атмосфера бесполезных сожалений и вечных вздохов. Когда я нахожусь в Европе, я всегда испытываю чувство, как будто гуляю по красивым аллеям кладбища, в котором каждый камень напоминает мне о том, что цивилизация покончила самоубийством 1 августа 1914 года.

В 1927 году я посетил Абиссинию. В декабре 1928 года я в третий раз поехал в Америку, чтобы начать новую жизнь. Моя теперешняя деятельность в Америке, мои первые десять лет службы во флоте и годы, проведенные с семьей,— единственные периоды жизни, которые мне кажутся светлыми. Все остальное принесло мне только горе и страдания. Если бы я мог начать жизнь снова, я начал бы с того, что отказался от моего великокняжеского титула и стал бы проповедовать необходимость духовной революции. Этого я бы не мог начать в России. В Российской Империи я подвергся бы преследованию «во имя Бога» со стороны служителей православной церкви. В советской России меня бы расстреляли «во имя Маркса» служители самой изуверской религии победоносного пролетариата.

Я ни о чем не жалею и не падаю духом. Мои внуки — у меня их четверо,— вероятно, достигнут чего-нибудь лучшего. Я не считаю современной эпохи ни цивилизованною, ни христианскою. Когда я читаю о миллионах людей, умирающих от голода в Европе, Америке и Азии в то время, как в складах гниет несметное количество хлеба, кофе и др. продуктов, я признаю необходимость радикальных изменений в условиях нашей жизни. Судьба трех монархий поколебала мою веру в незыблемость политических устоев. Тринадцать лет коммунистического опыта над несчастной Россией убили все мои иллюзии относительно человеческого идеализма. От людей, находящихся в духовном рабстве, и нельзя ожидать ничего иного.

Официальное христианство, обнаружившее свою несостоятельность в 1914 году, прилагает все усилия к тому, чтобы превратить нас в рабов Божьих, приводя нас таким образом к фатализму, который несет страшную ответственность за трагический конец России и ее династии. Религия любви, основанная на законе любви, должна заменить все вероисповедания и превратить сегодняшних «рабов Божьих» в его активных сотрудников. Если наши страдания нас ничему не научили, то тогда жертва Христа была бесполезна и тогда действительно прав тот, кто утверждает, что последний христианин был распят тысячу девятьсот лет тому назад.

Горько сознавать, что церковь сегодняшнего дня далеко отошла от Христа, но это так. Недостающего звена она создать не может, ибо закону любви она не следует; все налицо: догматы, таинства, обряды, тысячи молитв, за которыми скрывается ее духовное бессилие, но нет любви.

Кого и что мы должны любить?

Силу Высшую — Бога, не словами, не низкопоклонством и рабским пресмыканием, а мыслями и делами любви ко всему одинаково, и к близким, и к дальним, и к друзьям, и к врагам, и ко всем творениям. Любить мы должны весь мир, ибо мы составляем его нераздельную частицу, сознавая в то же время, что мы произошли от Высшей Силы и к ней вернемся тогда, когда мы станем самостоятельной, самосознательной, сильной духом личностью. Вне мыслей и дел любви не может существовать любви к Силе Высшей — Богу; этой Силе мы нужны постольку, поскольку мы, исполняя законы мировые, не тревожим гармонии мира.

Любить мы должны все чистое, красивое, природу и все проявления ее, любить мы должны жизнь земную, ибо она есть одна из ступеней жизни вечной, проведя которую в правде, чистоте и любви, мы получим возможность подняться на ступень выше. Я понимаю, что трудно любить жизнь тем, для которых она проходит в постоянной тяжелой работе, в постоянных заботах о прокормлении своих семей. Но ведь если сравнить нашу жизнь с жизнью наших сестер и братьев, оставшихся в России, то, право, лучше быть свободным бедняком, чем бедняком-рабом.

Кроме того, ведь не нам одним тяжело живется: все население земного шара, за исключением состоятельного меньшинства, живет в тех же условиях, что и мы.

Надо себе твердо уяснить, что возврата к прошлому нет; если мы вернемся на родину, то и там будем работать не покладая рук; нам самим придется строить свое благополу-

чие, помощи ждать будет не от кого. Кроме того, резкая перемена, которая произошла в нашей жизни, с точки зрения духовной, есть великое благо, и кто это понял, тот глубоко использовал это обстоятельство для своего восхождения по пути к совершенству. И вот с этой точки зрения мы должны любить жизнь.

Следует рассматривать свою жизнь не с точки зрения узкой земной, преходящей, а с точки зрения вечной, духовной. На себя надо смотреть не как на тело, в котором мы временно живем, а как на дух, которого наше «Я» есть выражение, который есть житель Мира, для которого нет ни времени, ни пространства, который живет, где хочет, который не подчинен ни законам природы, ни законам людским, которого права безграничны, ибо жизнь в нем самом, и который ответствен только перед Силой Высшею — Богом.

Ничто земное ни в чем и никогда не может тронуть нашего духа, он вне досягаемости земных, людских притязаний, но связь с духом Высшим всегда в его полной досягаемости. Сознавая великую истину только что сказанного и прочувствовав эту велико-радостную истину до конца, мы поймем, насколько все, что касается нашего тела, мелко, насколько все, на земле происходящее, не существенно.

Скажите себе: «Я дух вечный, свободный, от Бога исшедший и к Богу идущий: я имею в себе все для того, чтобы с Богом быть в вечном общении, и это все заключается в слове «любить» — слово, которое действительно выражает основной, положительный закон Мира.

Любить мы должны Россию и народ русский. Эта любовь наша должна выразиться в стремлении понять новое мировоззрение русских людей, которое явилось результатом безбожного и бездуховного воспитания, получаемого ныне миллионами русских детей.

Но мы должны найти в этом новом мирозерцании те стороны, которые и нами могут быть восприняты.

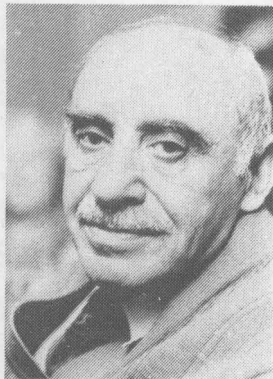
Принцип, проводимый в жизнь: «Работа каждого во имя блага государства», — вполне приемлем для каждого из нас; он послужит тем звеном, которое нас, представителей старой России, соединит с людьми России новой. Мы одухотворим этот принцип законом любви, мы будем ему следовать не только во имя блага государства, а главное, во имя исполнения воли Божьей, которая имеет свое выражение в этом законе.

Раз навсегда мы должны ясно понять, что новой России мы ничего не можем дать, кроме любви. И вот, готовясь к часу нашего возвращения на родину, мы должны в себе и в детях наших вытравить все чувства, идущие вразрез с законом любви. Только при этом условии народ русский нас примет и поймет.

Мы должны стать тем духовным основанием, на котором будет строиться Царство духа, которое замснит существующее Царство материи. К этому Царству народ русский уже близок: оно даст России духовную власть над всеми остальными народами — власть любви и мира, ту власть, которая всем людям завещана Христом.

Было бы бесцельно писать эту книгу, если она не будет иметь нравственного влияния хотя бы на некоторых из моих читателей. Для меня все пережитое — это урок, полный значения и богатый предостережениями. Снова и снова я думаю о друзьях моего детства, стараясь видеть их не такими, какими они были в последние годы трагедии, а какими я их знал в более счастливые дни нашей молодости. Я вижу часто во сне Никки, Жоржа, Сергея и самого себя, лежащими в густой траве Императорского парка в Нескучном под Москвою и оживленно беседующими о том таинственно-прекрасном будущем, огни которого мелькали на далеком горизонте.

Немного терпения — и мы все до него доживем.



Семен
ЛИПКИН

Майская прогулка

Золотится сурепкой овраг,
А за ним — деревушка Борисково,
Но от чувства избавлюсь ли пнзкого,
Что в эдем превратился барак
Песнотворчеством леса российского?

А на самом-то деле вокруг
Не печальники наши зеленые,
А одни провода оголенные,
Ворожбою диавольских слуг
Цветом, запахом трав наделенные.

Поднимается ль сказочный ствол,
Часослов ли кукушки читается,
Все мне кажется, будто пытаются
Притвориться прохладой фенол
Или запросто с ней сочетается.

Ты не только добро, но и зло
Из добра сотворив первозданного,
Дай мне атом безумья желанного,
Чтоб от сердца на миг отлегло,
Чтоб Твой мир мне увиделся заново.

Чернобыльник

Все избы превратились в дачи,
В которых молодежь семьи
Проводит летний день горячий,
А над рекою — мост висячий,
А за рекою — пост ГАИ.

Цветы — багряный, белый, синий —
Пленяют нежным естеством,
Но только нет моей полыни,
Той, что на юге, на равнине,
Мы чернобыльником зовем.

Ужасна весть: включен рубильник
Огнеметателей беды,
На небе весь в крови светильник,
Сверкнув, низверглись в чернобыльник
Два ангела. Иль две звезды?

Там язвами земное тело
Покрылось, стал заразой дым,
Как мертвое, живое тлело,
А мертвое, как жизнь, горело,
Но пепла не было под ним.

Но вот — не две звезды в полыни —
Четыре ангельских крыла,
А в них дыхание ранних скиний,
Любви, невиданной доньше,
Неисчислимого тепла.

В нищей хате

В нищей хате, в Назарете...
СОЛЛОГУБ

Женщины в синих рубашках стоят у колодца.
Светится скупо внизу Назарет.
Вечер сухою и колкой прохладой льется,
Но кое-где еще глиняный город нагрет.
Женщина с полным кувшином спускается к хате.
Плотник ячменные хлебы испек.

Уголь истлел в очаге, а над люлькой дитяти
Через открытые двери сгустился Восток.
Было б неплохо купить для светильника масло,—
Где там: гроша не найдут бедняки.
Но, чтоб младенец без страха заснул, чтоб не гасла
Нищая хата, слетелись в нее светляки.

Овраг

Все еще полно апрельской влаги,
И черемуха не расцвела,
Но пророчит соловей в овраге
О движении тепла.
Речка потекла кривой полоской,
На нее повалены стволы,
С мертвою целуется березкой,
А сама черней смолы.
В страхе иль в тоске вода бормочет
И мельчает на глазах ветвей,
Но пророчит, все-таки пророчит
Ранний соловей.

Воспоминание

Райский сад не вспоминает,
Просто дышит и поет,
Будущего он не знает,
Прошлого не сознает.

И лишь наша жизнь земная
Думает о неземном,
И, быть может, больше рая
Память смутная о нем.

В конце века

Облучены и овцы, и коровы,
Больны моря, и реки, и листва.
Рождается ребенок нездоровый,
И зараженные слова.
Гниет единственная радость — разум
В лабораториях и на холстах,
Воспринятое ухом или глазом
Смердит, как падал, на устах.
Но почему же так синее море,
Влекут стиха и скрипки голоса
И в августовском царствует уборе
Земли недужная краса?
С самим собой позорно лицемерить
И гибели не замечать примет,
Но человек задуман, чтобы верить,
А вера — чтобы видеть свет.

Свет

Не планеты над нами, а тысячи глаз,
И не видел я света добрей.
Эти звезды — глаза тех, кто жили до нас,
Пастухов, патриархов, царей.
То, что сказкой казалось нам, стало страной,
Ибо свет этих глаз не погиб,
Хоть камня летят над великой стеной
И по улице движется джип.
Тяжело доставалась ночей череда,
Тяжело было свет обрести,
Лишь тому он сияет, кто знает, куда
Он обязан, он избран идти.

Спокойный Приют

Полуночный пляж. Немного пловцов.
На торжище женское тело нагое.
Уехать скорей в обитель отцов,
Увидеть другое, увидеть другое:
Сады на холмах. Два камня седых.
Молчащая мельница Монтефиоре.
Внезапная заря, внезапна, как стих,
Родившийся с изменным разумом в споре.
Проснулся наш дом — Спокойный Приют,
И купол мечети блестит против окон.
Два облачка слились, свиваются в жгут,
Как будто хасида, курчавится локон.
Созрел виноград. Тучнеют поля.
Овечек стригут — осыпается волос.
Цветы на земле, ждет песни земля,
И вот уже слышится горлицы голос.

«ЕСЛИ КТО И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИЗ АДА...»

Из тетрадей последних лет



...В философии нет прогресса, но работа философа порождает понятия и смыслы, способные вызвать к жизни в том числе и прогрессистскую идеологию. Это кажется сегодня очевидным. Особенно на фоне трагических социальных экспериментов XX века.

И все же философия тут ни при чем, решит Мераб Константинович Мамардашвили (1930 — 1990), начиная свой путь в философии. Маркс и Ницше не повинны в том, что произошло в Германии и России, и уж тем более не виноваты в случившемся Платон и Декарт, что бы ни думали по этому поводу те, кто готов поверить, что они жертва исторического обмана. Сцепления и механизмы трагедии в нас самих, в нашей личной неопытности работы с сознанием, в нежелании и неумении мыслить точно, скажет молодой философ.

В тот начальный постсталинский период такое пришло в голову не многим. Привычнее было видеть себя именно в качестве жертвы: враждебных сил или злых духов истории, татарского ига, революции и, наконец, культа личности.

Мераб Мамардашвили предпринял с самого начала иную, противоположную всей этой традиции «жертвенности» попытку самоопределения в отечественной культуре. Он рассуждал примерно так: мы живем в мире, в котором все, казалось бы, уже известно, определено — на языке физики, биологии, социологии, математики и т. д. Но разве этим снимается задача понимания нами собственного положения в мире? Нашей ответственности? Разумеется, нет. Однако именно это, по его мнению, и является самым трудным. Поскольку в момент устремленности к такому пониманию мы едва ли можем довериться хотя бы одному из своих органов чувств, а понятия, которые мы при этом используем, отягощены грузом предшествующего развития языка и культуры. Или проще сказать: были придуманы не нами. Так как же быть? Можем ли мы вообразить себя в качестве индивида?

И философ отвечал: не можем — до того, как наша душа займет (а может и не займет) свое место в мире. А это имеет прямое отношение к свободе, как основной цели человеческих стремлений.

Следовательно, в человеке как бы изначально заложено движение к тому, чего нельзя знать в принципе. Не в смысле непонимания, а с той точки зрения, что каждый из нас может что-то увидеть и, значит, понять, только придя в определенного рода движение. В одной из своих поздних дневниковых записей (часть из которых печатается ниже) М. К. пишет по этому поводу следующее:

«Философствуют только исторические существа. И философия имеет прямое отношение к тому, есть ли такое существо или нет. Ибо знание свободы, опыт сознания как такового («чистого») конституирует человека: без такого знания и знания о таких вещах нет собственно человека как человека».

Для меня очевидно, что лишь на путях свободного философствования, постоянно, подобно М. К., задаваясь вопросом — как нам исполниться, пребыть, войти в историческое бытие, мы действительно вернемся из того «ада», в котором жили по своему недомыслию.

Юрий СЕНОКОСОВ

Такое ощущение, будто каждый раз оказываешься в самой середине чужого бреда, будто просыпаешься в чужом бреду.

Философии никуда не деться от «физики», от «тела», лишь в терминах к-рого она могла бы прояснять какой бы то ни было опыт, как поэзии — от родного языка.

Традиционность соц.-полит. мышления никак не умрет: что только ни называют «фашизмом» — все, что в действительности является крайним национализмом или расизмом, привычный и давно уже бывший, косный, так сказать, реакционизм и т. п., до бесконечности. Тогда как в действительности фашизм есть отрицание гражданского общества и (нетрадиционный) способ власти, на этом отрицании основанный. Отсюда и его «неожиданная» сродственность всякому «научному социализму». Его стержневой мотив «чистоты» или «алхимического очищения» (в любого рода «живящем море», лишь бы оно не имело мембран и подвешивающей формальности *civitas*) может безразлично выражаться и разыгрываться в гамме расовой, социальной и еще любой, воображимой, или и той, и другой, и третьей, прототипично в любую переключаясь и переливаясь.

Целая страна без «середины». Что могут помнить населяющие ее люди? Происходит ли вообще в середине какое-либо трансцендентальное событие? Только настоящее, никакого прошлого.

Господи, какие же идиоты и слепцы, какое неискоренимое невежество человеческого сердца! — такая фраза может быть и словами человеческой раздраженности ума, обаятого гордыней, и пронзительно ясным чувством сострадания все-му живому.

У одних полный бардак в голове потому, что чего-то не было раньше, у других — потому, что думают, как если бы ничего не было раньше.

Классика — это чувство пребывания бесконечного именно в конечном и сила (предполагающая сильную душу, неуклонный ее формализм) непрерывного держания первого во втором. В этом смысле она противоположна не романтизму, а нигилизму. И есть, конечно, мужество невозможного.

Хоть что-то вынести из этой беды.

То, что необъяснимо (т. е. без причин) болит, и есть «душа», по определению. И человек испытующий есть человек в поисках своей души.

Видение анатомии общества в разрезе «производства материальных благ» есть, на деле, средство контроля, а не понимания. И не является вовсе естественно-историческим взглядом («материалистическим»). Понять-то должны были само это производство в зависимости от и в контексте других вещей, которые действительно «вещны».

Частный интерес не есть подвид всеобщего рода. Общественный интерес, т. е. интерес любой конкретной совокуп-

ности людей, как бы она ни была велика, есть такой же частный, а не более общий. И от него так же нельзя прийти («обобщением») к общечеловеческому. Ибо последний — просто в другом разрезе. Под ним, на деле, имеется в виду... бескорыстное, т. е. никакой не интерес. Здесь *ipso facto** нет соподчинения вида и рода. Неискоренимое гегельянство в Марксе.

Не сеют и жнут, а миф инсценируют и разыгрывают. Элементы, взятые из действительности, не должны иметь к ней никакого отношения. Они перенесены в их алхимическое означение и изживание и служат коллективным прислониением для всех умственных и характерных недоносков.

Извечное рабство не дает расти. Рабы остаются детьми, не вырастают. И глобальное, итоговое их сообщество, страна — инфантильное чудовище.

В современной философии часто можно видеть мучительные открывания того, что было известно старым философам и сделано ими, или сложные, похожие на хватание правого уха левой рукой, движения к уже проработанным точкам. И это естественно. Ибо почему философия (что относится и к науке) должна отличаться от судеб любого человеческого предприятия?! «Труд мысли» стоит на кону и хронически на него снова ставится. С выигрышами и проигрышами. И с отыгрышами. Не понимать этого — продукт примитивного менталистского представления о рациональности, неполной рациональности.

Истина ни на чем не держится, зато держит все остальное.

Какова бы ни была редуцированность выживания, вернее, его формы как «формы жизни» (живем, как *можем* жить!), человек все равно живет не как животное, а как *неудачный человек*.

Слушал сегодня классическое рассуждение о том, что человек, знающий, что он умрет, из страха перед смертью и породил идею Бога и бессмертия. И мне хотелось спросить, а что же рождается из страха перед своим бессмертием (в частности, — у говорившего это человека)? Не само ли это *рассуждение* из него рождается и его компенсирует? Вообще — что рождается из страха перед смыслом, к-рый — никакой! — не воплотим во времени и пространстве?*** Понятно, конечно, что страшно перед *установившимися* отношениями бесконечности (заданной, бесконечной задачей) при том, что я конечный (в смысле: не всецело сущий), очень хрупок как часть этого установления... Поди, вбери в себя пространство и время, чтобы не кончаться! Это на абсолютном пределе доступного человеку *напряжения* всех своих сил. Мы разными путями можем узнать об этом. Но самый краткий — символ смерти. Так что страх здесь совершенно особый.

Сколько стоит продукт, к-рого нет? Напр., мясо стоит 2 р. 50 к. Его нет (или только кости и нет выбора). Сколько оно стоит?

Или: отнимаемый продукт дороже (и его меньше), чем покупаемый у свободного и независимого производителя. А отнимают, чтобы дешевле! Фантазмагория абсурда, бедлам нелюдей. Давилка какая-то. И еще взять мысленные представления и характеры (этические, идеальные и т. п.) в этой самой дороговизней и самой нищей экономике!

Кончаем тем, что питаемся знаками питания.

Кафка — невозможность трагедии.

Общество чистых привилегий, не затемняемых вопросом о собственности.

Как и в каком смысле можно причинить урон системе, где ничто не ценно и ничто ничего не значит?

Черная дыра-то есть, есть родимая, и она может все засосать (особенно, если лишить ее водки).

«Идейное» поколение, т. е. неистовые ревнители-первопроходцы дубового языка идейности, в принципе собачьего,

часто жалуются, что их вытеснили безыдейные и безграмотные, многие из к-рых были как раз теми, к-рых они били и «не добились». Но на деле усатый дядька, Сталин, один бабача их на ускоряющихся витках услужения, где они друг друга вытесняли и расталкивали, просто наглядно и доказательно демонстрировал им, что подлостям, мыслям, равным краже со взломом, нет предела и окончательного слова или типа идейности, и нечего останавливаться, да и на заслуги кивать. Работаешь языком, как собачьим хвостом перед хозяином? А почему не мяукать? Или почему не по-ослиному? Чего теперь жаловаться и ностальгически лелеять свою былую «чистоту» и «качество теории»? И на проходимцев жаловаться?!

Каков бы ни был деспотизм, для философа, принимающего (по определению, иначе не бывает) обычаи, законы и нравы своей страны (как необходимому бытовую маску и джентльменское соглашение или <...> допуск взаимного гражданского мира), есть тем не менее минимальное условие *sine qua pop**: существование республики *de lettres*, публичного мышления, мышления вслух о *мышлении* подлежащем, не подвергаемого правительственному или государственному гонению и запрету. Если и этого нет, то контракт разорван. Если нет и права быть услышанным.

Снова эти бесконечные полицейские окрики-лай и хватание всех и вся на дорогах и площадях.

Это языческая, Богом не тронутая душа. И как бы заново, на свой поэтический страх и риск, открывающая евангелические истины, — за исключением одной, ядерной. И в других, напр., в Декарте, их не видит — ибо даже представить себе не может, как тверд был в нем (в Декарте) красугольный камень греко-евангелического единобожия, вообще не-обходимого *в себе* и в окружающем мире. Я говорю о Хайдеггере. У него далтонизм на феномен личности. А без последнего разговор о свободе берет фальшивую ноту.

Замечательный образ привел мне сегодня Р. Габриадзе: можно подумать, что мы получили в руки страну-машину, поставленную на автопилот (сатаной, очевидно), — и ни тпру, ни ну.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что событие имеет структуру откровения.

Самоназначенные братья всего человечества, Лебядкины-душелюбы.

Что, мол, Ленин сказал бы о бесконечных, отовсюду человека обступающих лозунгах и портретах (в т. ч. его самого)? Но ответ на этот риторический вопрос известен: сказал бы нечто такое, что тут же необходимо было бы изображено лозунгом.

Можно ли называть «убеждениями» или «идеями» нечто, не находящееся в какой-то связи с личной совестью? Групповая дисциплина и идеологически определяемая целесообразность — вместо глаз и способности суждения, раз уж перерезана всякая связь с органом, органом «шестого чувства», чувства, единственно вечного и идеогенного.

Размах маятника русской духовности: между «лишними людьми» и «новыми людьми».

Вместо культуры — своего рода художественный, или вообще изобразительный, культуризм, превращение всего окружающего, всего, что стоит, ползает, бежит, летит, всего, на что может упасть взгляд и эстетический аппетит, — в собственное украшение, дутые (прямо, как хлестаковский «арбуз в 700 рублей») и полные эстетические мускулы, к-рыми сладострастно и кокетливо поводят и, как пава, выступают. Ну, раз уж захотели и дорвались до «брачных и законных наслаждений» á la Лебядкин... Но где-то в глубине тонкая, щемящая башмачкинская нота «лирической шинели». Действительно, какое искусство было бы у зомби, у чистых человекоподобных фантомов несуществования, какая лирика, какие собственные лирические истории? Душевные идиоты возвышенного? Иллюзии Юпитера в «стакане мухоедства», в слепой кишке эволюции? <...> Здесь интересно, как из-под глыбы неудачного человека, какой-то

* В силу самого факта (лат.). — Ред.

** Ср. ницшевский ужас вечного возвращения того же.

* Зд. «непрерывное» (лат.). — Ред.

призрачной и нелепой блочной застылости несуществования рвутся моление и священнодействие. Ведь гоголевский лирик шинели с самого начала молился на букву и священнодействовал перед ликом ее, из нее рождался для него целый трепещущий, многоголосый и лирический мир, в к-ром, как в каком-то целом антимире, разыгрывается своя лирическая история! Перевернутая, на голове ходящая лирика антимира. В воспаленной полости души и головной полости (полого) человека.

Свобода — это тогда, когда свобода одного упирается в свободу другого и имеет последнюю своим условием.

Набоков — первый русский писатель, который озадачился вопросом иллюзий и несуществований, «высоко» заболел им. Не социальные, нравственные и т. п. беды почувствовал, а рану в бытии. Отсюда сквозная и абсцессивная тема потустороннего, призрачного. Но насколько более тонкий, культурно «взрослый» аппарат, чем у Достоевского, для этого! Действительно, хорошая литература (в отличие от хорошей плохой у Достоевского). Но все время чего-то как будто не хватает. Крови в ране, что ли?..

Платонову попал в глаз языковый осколок зеркала гармонии. Дефект, как зрение у Сезанна. И «сразу мир предстанет странным, окутанным в цветной туман...»

Игра французских футболистов с советскими: как бы быть красивым перед инфузурией. Серия невезений, тогда как те играют в другую игру, и т. д. Но один крепостной мастер был действительно талантлив — голкипер и играл один и за всех.

Но чем мохнатая чашка сюрреалистов абсурднее кальсон с принудительной добавкой... женских серег (покупка в тбилисском магазине)?

Не было культур-регии (этой зарождающей клеточки европейского развитого гражданского общества). А если тоталитарное варварство могло случиться даже с народом, у которого она была, — с немцами, то что же должно было случиться с тем, у кого ее не было?!

Человек — это существо, нуждающееся в тайне (т. е. с жалом бесконечности в душе) и знающее себя смертным.

Одни изобретают машины теплоты, другие — готовы вечное пробавляться взаимообогащением человеческих тел, сбившихся в ком, и в принцип это возводят.

Животное — это игра природы.

Весьма основательное количество чугуна пришлось на душу российского населения. Сколько его теперь лежит на наших душах!

Из героя гоголевской «Шинели» вышла не только русская литература (как *литература*), но и русские революционеры, высокие (лирические, романтические и т. д.) состояния потусторонне странных и неопишемых людей. Все они из одной туманности, одного туманного ядра. Просто разные комбинации возможностей.

Особое племя детей, акселератов и переростков — русская интеллигенция, радикальная русская общественность.

Если существует такая вещь, как «валюта», то ее никогда и нигде нет.

Жизнь — это гениальная частность.

Из Черной... были: 1) никто не должен и не имеет права прикасаться к тому, что мы, правительство, делаем с атомом и как распоряжаемся его силой, 2) люди, их количества не имеют значения, особенно, если они жертвы — их можно скрывать, рассеять, распылить, как если бы ничего не было и ничего не случилось. Эти две вещи вместе дают картину сути дела, к-рую нужно учитывать и к-рая бросает страшный свет на весь контекст разговоров о гласности, независимых общественных инстанциях и контроле, на то, что вообще может быть с атомной проблемой, когда к ней примешан «Чингис-хан с телеграфом». Это действительно черная быль о советской власти.

...И горькая, как полынь...

Инстинктивно устроили на какое-то мгновение атомный Гулаг. И по этой инстинктивности нужно судить о сути происшедшего. Она его лицо.

Короленко и другие говорили последними, задышающими-ся словами.

Все реальное — смертно (лишь мертвое не может умереть). Поэтому ирреальная империя, империя-мертвяк, империя-призрак, упыреобразная потусторонность, питающаяся живой кровью, может быть вечной.

Не столько контроль, не столько исполнение, сколько свидетельский знак контроля, сколько рапорт-свидетельство об исполнении — вот что рвут миллионы цепных псов.

Сатирическая философия. Сатира — это жанр со своими законами, а не ненависть к людям и издевательство над ними. Это именно способ, т. е., следуя законам жанра, слова, она хочет прийти к прояснению определенных состояний, а не судить людей, у к-рых бывают эти состояния.

Представить себе, кто может это мыслить, — так же, как представить себе, кто действительно свободен, чист.

В общественном сознании с Чавчавадзе случилось в Грузии то же, что и с мыслью «Вех» в России, — поздно и мимо. К несчастью.

<...> Она (свобода. — Ред.) производит лишь себя, т. е. еще свободу, большую свободу, и так определяется (на стороне человека, а у Бога она вся). Так же, как знание, мысль есть возможность большей мысли, сознание есть возможность большего сознания и т. д. Это и есть самоприращивающее «зерно», «семя», к-рое отличает жизнь от машины и к-рого нет у самой умной машины. Машина одухотворена, но семя не в ней.

Жизнь, удушенная ею же производимой энтропией, инерцией (в том числе успешным культурным производством).

Все эти крики — «никогда не забыть и не простить» — говорят, к сожалению, также и о том, что пока не простишь, многого не поймешь в себе, да и не вспомнишь.

Блок — последние, уже задышающиеся слова классических гармоний. Гул стихий к горлу певца подступал. И работа соблазн раствориться в их варварских нотах.

Это социальное угнетение и насилие над всяким проявлением свободной воли и порождают национальную рознь. Ибо они всегда конкретны, чьими-то руками. Над Карабахом властвуют через Баку, т. е. азербайджанцами, а над Баку — Москвой, т. е. русскими. Эта игра различиями воспроизводит общее структурное определение этой империи: это империя русского народа, а империя посредством русского народа. Т. е. он сам здесь вещь, а не лицо, и вещь весьма жалкая.

Партия возникла как «конспиративная» организация и т. д. (со всеми известными определениями) на теле, нечавевское тело с дополнительным проектом поселения на другом, социально-массовом теле — «мы ваш авангард», «мы — ваши представители», откуда, с одной стороны, разница между внутренней, своеприродной жизнью партии и ее внешней жизнью, а с др. стороны — выедание при возможности всякого независимого социального и культурно-жизненного элемента из тела, на к-ром поселились (напр., советов, профсоюзов и кооперации). В легальных условиях своей собственной в государственных масштабах власти она осталась таковой, соответственно сохранив и различие внутренней и внешней жизни. А наускиваемая, манипулируемая и обесструктуренная масса сама выковывала орудия собственного порабощения (как, напр., из законоуложений о саботаже и практики взятия заложниками социально «чужих» выросла вся система принудительного труда и всеобщего заложничества без индивидуальной вины и проступка), в том числе отчуждила от себя в качестве предмета классовой ненависти всякое проявление мысли и человеческого достоинства. Образовалась вырожденная масса в смысле ее культурно-производительной силы. В свое время (в 1851 г.) Герцен писал: «Еще один век такого деспотизма, как теперь, и все хорошие качества русского народа исчезнут. Сомни-

тельно, чтобы без активного личного начала народ сохранил свою национальность, а цивилизованные классы — свое про-свещение».

Лысенко — чисто литературное явление. Какая генетика могла бы быть у персонажей Платонова? Ср. Мичурин.

Как сравнить? Один: неприлично показывать голую женщину на экране. Другой: как можно выпускать голую бабу на экран накануне 8 Марта?! Это уже обезьянье *изображение* консерватора и ханжи. Лицемерие? Ханжество? Нет.

Кто открыл для себя механизм этой власти и вкусил ее в exercise*, открыл секрет вечной жизни.

Способность быть учеником выше и достойнее, чем способность быть учителем.

Когда мы делаем выбор, решаем, мы целый мир, мировую цель кристаллизуем позади себя.

В каком-то смысле Книга Бытия есть книга сознания, его «бестиарий», событийный иероглифический шифр его возможностей.

То, чего не добрали государственной барщиной и давящей фиска, доберут теперь хозрасчетом.

Небо на Землю в мышлении приведено Декартом. Высокая болезнь — бесконечность («страх Божий — начало познания», как говорил Д.). Нашла себе вещественные крылья, «мускулы».

Беспамятство природы для нас невозможно, в него нельзя власть. Память (время) «не природного» элемента (свободы). Ибо мысль необратима. Она — поступок, и мир в ней решен.

Далась им эта «перемена всей точки зрения на социализм»! Какого же рожна нужно было брать власть и притом *этого* рода власть, если ничего не понимали ни в социализме (монументальная глупость и пошлость «монополистической и прямой разверстки всей суммы деятельности и продуктов»), ни в российской действительности? Ибо ведь тогда «перемена всей точки зрения на социализм» означает (должна означать!) и перемену всей точки зрения на власть, т. е. практически дележ ее с собственными силами российской действительности, независимыми от «передовой идеи» и ею непредвиденными, неучтенными. Но власть продолжалась невозмутимо в прежнем тотально-едином виде, и никто не ставил о ней вопроса... И весь социально-культурный организм ввинтился в чудовищный штопор самопожирания.

Я бы сказал, что сегодня мы имеем «плачущий марксизм». Но проблема мысли в том, чтобы не смеяться, не плакать, но — понимать. Проснулись в слезах. Горячо, горячо, близко, близко... Но еще не мысль. Пока лишь ближайшее к ней —

**«и не может в бреду забыться,
и не может очнуться от сна».**

<...> Кто-то хорошо сострил: стиль вампир.

Чехов: доброта, чувство сложности человеческой природы, защита высокой ценности самой жизни как таковой, ценности, большей, чем любой ее идеологический проект или изображение — вот что за ноту он внес в литературу в противовес господствующему идеологическому неистовству и остатанию, нетерпимости. Не говоря уже о том, что он внес в нее мысль личности о себе, о своей совести вне рамок оппозиции «интеллигенция — народ» и в противовес «проповеди» совести, претензии быть «совестью народа». Для Чехова интеллигент — такая же часть трудящегося народа, как и любая другая. *Должна* быть таковой. Если плохо одет и безграмотен, то — народ, а если прилично одет и просвещен, то что, не народ? Чехов никак не мог этого понять, принять. И молодец.

«Лампочки Ильича» светились сверлящим и сатанинским светом ламп на ночных допросах-пытках по всей России.

«За что кровь проливали?!» — Пропливали-то чужую.

* Зд. «опыт» (англ.) — Ред.

Происходящее просто наглядная картина того, что власть не может отменить саму себя.

Вариант переживания матерью разлуки с сыном: Х. Волович приводит слова соллагерницы, старой партийки: «Если бы партия приказала мне ехать сюда добровольно, разве я бы не поехала? Только сына взяла бы с собой». (!!!)

Ильичевская жалоба на поэтов во время знаменитых «встреч»: «Ни тебе классов, ни тебе борьбы...»

Независимость нам нужна и для того, чтобы себя увидеть.

Надеялись — после ритуального «классового» убийства всего старого, печатью «эксплуатации» (буржуазности) по-меченного, — получить чистую человечность, экстракт человечности, к-рой будут послушны и все силы природы (т. е. стихийные, слепые, неумышленные, «докоммунистические», фактически тоже «буржуазные», глупо-крестьянские).

Говорят о свободах западного образца. Но нет никаких таких свобод. Просто есть свободы или их нет.

Только и слышно теперь о терпимости, и все это похоже скорее на нечто, что должно служить очередным лозунгом, вроде: «Превратим наш бордель в дом терпимости!» Европейский дом-то уже у них в голове.

С истиной ничего не происходит. Это наша психика на разрыв, это у возможностей психики есть пределы.

Если кто и возвращается из ада, то только с пустыми руками. Никто никогда с полными не возвращался из него.

Строй контролируемых людей и неконтролируемых процессов. И удивительное мышление: абсолютно отсутствует культурная даль, все мгновенные картинки («изъять», «распределить», «организовать», «реквизиции», «поставки по твердым ценам» и т. д. и т. п.). В дали только «злые духи», «враги», «демоны».

Справки и документы в СССР — это мобилизационные повестки гражданской войны. Сгоняют людей на пыточный двор, где повязкой их друг на друга топчут их гражданские права, унижают и мучают. Какое тут уж делопроизводство, какая тут уж бюрократия! Речь идет о внегражданском состоянии произвола. Оно самовоспроизводится. Зло рождается как бы само собой. Никто не ставит его себе сознательной целью.

История стольшинских реформ, мне кажется, ясно показывает, насколько трудно, если не просто невозможно *вне и помимо* религиозного смысла (и массового движения) создать средний класс («срединную культуру») на основе экономического здравого смысла и рациональных мер.

Там, где *есть* рабочий класс, там чисто «рабочая» демагогия и идеология не проходят — ибо он вовсе не самый подвижный элемент. В России — всякая лишняя, безродная, «сквозная» шваль, в Германии — мелкий и средний маргинальный люд (ищущий «полноты жизни» и т. п.).

В Чернобыле громадный плакат: «Чернобыль — место подвига», а попка, выведенная телекамерой интервьюера из толпы «организованного счастья», вещает: «Мы здесь построим пирамиду выше египетской пирамиды Солнца» (т. е. пирамиды Хеопса).

В книге Бердяева «Самопознание» полностью отсутствует какое бы то ни было самопознание, а есть самохарактеристика, блестящая, критическая, что угодно, но не самопознание.

Страна-подросток, страна-литература, страна-привидение...

Публикация И. К. МАМАРДАШВИЛИ

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

Часть первая РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк



Предлагаем вниманию наших читателей фрагменты из книги Виктора Перельмана «Театр абсурда», вышедшей в 1984 году в Нью-Йорке. Автор книги — журналист и писатель, выехал из Москвы в 1973 году в Израиль, где основал один из интереснейших журналов Русского зарубежья, «Время и мы». В настоящее время Виктор Перельман проживает в Нью-Йорке, куда вместе с ним переехала и редакция популярного русскоязычного журнала.

«Театр абсурда» — комедиюно-философское повествование о скитаниях третьей волны эмиграции, имеющее под собой реальную основу — личную судьбу автора.

Ах, как мало в нашей жизни значат цель и преднамеренность! Все определяет случай.

Так и с этой моей книгой, для которой у меня уже давно было заготовлено начало и которое я раз десять выверил в своей голове, — все получалось логичным, основательным и соответствующим теме. И я уже готов был сесть за машинку, как вдруг вмешалось совершенно комичное обстоятельство — я получил от своего старого московского знакомого курьезнейшее и неизвестно как прорвавшееся сквозь железный занавес письмо: как они там, в Москве, сидя в пивном баре Дома журналиста, рисуют мою жизнь в Нью-Йорке.

Когда-то, эдак лет двадцать пять назад, мы служили вместе с ним в многотиражной газете «За отличный рейс». И всякий раз, пока в типографии «Московской правды» печаталась наша газета, мы шли с этим моим приятелем в «поплавок» и, заказав по сто пятьдесят грамм и кружке пива, предавались мечтам, как будем прорываться в большую прессу. И с чего бы ни начинали, рано или поздно наш разговор обращался к хрущевскому зятю и фавориту Алексею Ивановичу Аджубею. При имени Аджубея глаза у Миши Блоха — так звали моего приятеля — загорались нездоровым и даже каким-то плотоядным блеском.

Позже, когда наши дороги разошлись — я ушел в «Литературку», а Миша — неизвестно куда (злые языки говорили, что он пристроился в журнале «Служба быта») и мы почти не встречались, — так вот, позже, когда я подал заявление в Израиль, Миша, как мне рассказывали, страшно упился в баре ДЖ, стал мне прочить великое будущее, но позвонить и попрощаться так и не решился.

И вот, скажите, кто бы мог предвидеть, что спустя столько лет он решится написать мне письмо — и куда? — прямо в Нью-Йорк, на Пятую авеню, в редакцию журнала, само название которого, я думаю, он никогда не произносил вслух.

Из вежливости, в начале письма он спросил, помню ли я его, и безо всякой связи с предыдущим стал расписывать слухи, которые ходят про меня в Московском Доме журналиста.

Во-первых, сразу же по приезде из Израйля в Америку я был приглашен в Вашингтон, где меня назначили советником по русским делам. В связи с этим у меня и появился собственный дом в штате Нью-Джерси. О таком офисе, как у меня, разумеется, не мог мечтать никакой Аджубей: в центре Нью-Йорка, на сто пятом этаже, в одном из тех нью-йоркских небоскребов, где, согласно газете «Правда», обдeldывают свои дела самые крупные воротилы Уолл-стрита. Впрочем, в этом офисе я почти не бываю, поскольку все мое время отнимает Вашингтон. А в редакции все за меня делают «негры», одним из которых и мечтал стать друг моей юности. Овеянный подобной «славой», я чувствую себя просто не вправе скрыть от историков будущего, как и в каких условиях, расположившись в Нью-Йорке, в центре мира, жил и издавался один из популярных журналов Русского зарубежья.

Итак, по порядку, вначале об офисе, который расположен в самом центре Нью-Йорка, на Пятой авеню.

Если по Сорок второй вы дойдете до Пятой авеню и, пересекши ее, свернете направо, то упретесь в знаменитый «Колумбия билдинг». Миновав мраморный вход и очутившись в отделанном бронзой мраморном лобби, вы должны будете подняться на лифте на пятый этаж (сто пятый этаж был некоторым преувеличением), затем свернуть налево и еще раз налево — и тогда вы окажетесь перед дверью, на которой вы увидите наклеенную мощную золотую цифру: 511-A, а под ней такими же золотыми буквами выведено: «ГИЛДЕСМАН ИНКОРПОРЕЙТЕД» и «АМЛЕВ ИНТЕРНЕТНЛ».

Открыв дверь, вы попадете в темный предбанник, а свернув из него направо, окажетесь в редакции международного журнала литературы и общественных проблем «Время и мы». Поскольку в Америке все измеряется на футах, я вечно путаю, сколько в нашем офисе метров и сколько футов, но боюсь, что по площади он явно уступает редакции газеты «За отличный рейс».

В редакции нашего международного журнала есть место

максимум для двух столов: один мой, то есть редактора, другой — моей правой руки и зама, она же — литсекретарь, худред, корректор, зав. отделом писем и машинистка. Чтобы уже закончить с офисом, надо еще упомянуть о пяти громадных, поставленных друг на друга ящиках для рукописей графоманов.

В моем письменном столе также несколько ящиков, в которых для рукописей нет места. Мой стол — моя крепость, крепость против всех, кому я должен, а должен я всему миру: читателям, которые разочаровались в последних номерах, подписчикам, которые вовремя не получили журнал, авторам, которые требуют гонорара, нью-йоркской телефонной компании, фирме Ай-би-эм, Сити-банку и, конечно же, хозяину офиса мистеру Гилдесману.

Переступая порог редакции, я бросаю ястребинный взгляд на стол: сколько пришло сегодня... Нет, не рукописей, уважаемый читатель, о рукописях несколькими строками ниже — а сколько пришло чеков от новых подписчиков.

Все мои друзья уже давно жаждут подписаться, но в последний момент каждому что-то мешает: один — вот напасть! — только что потерял работу, другой, напротив, только что купил за сто пятьдесят тысяч дом, третий именно вчера решил завязать и читать только по-английски, четвертый... ах, Боже, — что же случилось с четвертым? — у четвертого журнал, как назло, не влезает в почтовый ящик.

И если чеков становится все меньше, то с рукописями как раз наоборот: пяти ящиков уже не хватает, и на днях ставим в коридор шестой. Рукописи присылаются разные и большинству из них предпосланы похожие, как близнецы, авторские послания. «Дорогая, многоуважаемая редакция! Впервые я увидел ваш журнал еще в Риме и с тех пор загорелся мечтой при первой же возможности...» Нет, не подписаться на журнал загорелся наш страстный автор. О подписке уже было несколькими строками выше — а решил прислать нам свое нетленное творение, которое там, естественно, не смогли оценить и которое, как он смеет надеяться, оценят здесь, в его любимом издании.

Моя правая рука и зам, она же в прошлом ученый секретарь Комиссии по содружеству наук и тайнам творчества при Академии наук СССР, сидит от меня слева, за столом, стоящим перпендикулярно к моему. На ее столе размещено наше главное орудие производства, наша альма-матер, которую я вывез из Израиля, — электронный композер, на котором набирается наш журнал. Альма-матер — это большая пишущая машинка. Моя правая рука, естественно, ненавидит нашу альма-матер всеми фибрами своей души. «Скажите, что вам нужна обычная машинистка, — говорит она всякий раз, когда я начинаю поторавливать с набором. — Вы просто воспользовались невинностью малютки!» К моему заму я еще вернусь, а пока о прочих фирмах, по соседству с которыми размещается наш журнал.

Первая из них находится в той же комнате, что и редакция, примерно в полутора метрах от моего стола, точнее, между столом и входной дверью. Название фирмы ее президент москвич Нолик Вольман пока что держит в секрете, но даже его недоброжелатели признают, что в его руках самый сногшибательный бизнес в Нью-Йорке. Нолик решил сделать деньги на тибетской медицине и продает своим клиентам целебное мумие (за что недоброжелатели прозвали его фирму «Мумие инкорпорейтед» и, будучи неспособными к полету фантазии, пустили слух, что мумие — это просто мышиный помет). В том, что он сделает на мумие миллион, у Нолика нет никаких сомнений, но пока из-за отсутствия стола сам президент в фирме почти не бывает.

По всем вопросам бизнеса редакцию консультирует президент фирмы «Амлев интернешнл» Илюша Берков (если помнит читатель, ее название золотыми буквами украшает вход в отсек 511-А). Именно ему я обязан тем, что вместе с журналом оказался в одном из самых роскошных зданий Нью-Йорка под одной крышей с воротилами Уолл-стрит. И именно он, преисполненный заботами о журнале, представил меня хозяину нашего отсека 511-А и президенту фирмы «Гилдесман инкорпорейтед» Майклу Гилдесману, уже всколыхнув упомянутому мной среди моих кредиторов.

По словам Илюши, который выглядит стопроцентным американцем, большого нуля в американском бизнесе, чем я, ему встречать не приходилось. Мы оба с ним гуманитарии — но в отличие от меня, окончив

Колумбийский университет и расставшись с политологией, он и в бизнесе уже успел съесть собаку.

Какими делами занята фирма «Амлев интернешнл», я представляю довольно смутно. Но от моего взгляда не ускользнуло, однако, что, сопровождая меня на встречу к Майклу Гилдесману, Илюша вошел в наше мраморное лобби походкой начинающего воротилы Уолл-стрит.

Но вот наступило время представить главное лицо нашего отсека, равно как и главное действующее лицо первой сцены моего повествования, президента фирмы «Гилдесман инкорпорейтед» Майкла Гилдесмана.

Как же злобно клеветают на Америку те, кто утверждает, что здесь не в моде русский язык! «Вы знаете что — первое, что я услышал от Майкла Гилдесмана, — можете называть меня Матвеем Абрамовичем». Я понял, что в свои восемьдесят восемь лет Матвей Абрамович запоминал некоторые буквы русского алфавита. Но это ничуть не повлияло на его колоритную личность. И хотя его походка не наводит на мысль о мощи мирового капитала, по-моему, он единственный из нас, чей облик несет на себе черты воротилы Уолл-стрит.

Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать, как два раза в неделю он появляется в своем офисе. Никогда в жизни без сопровождения (как и полагается акуле с Уолл-стрит), и всегда в сопровождении одного и того же лица — высокого черного официанта (нашего единственного безгонорарного негра!) с подносом на элегантно вытянутой руке. Один мерно плывет за другим. Впереди Матвей Абрамович, вслед за ним поднос со множеством тарелочек, наполненных зеленью, за ним безгонорарный негр, и завершает шествие старый еврей в ермолке со счетной машинкой в руках — бухгалтер компании «Гилдесман инкорпорейтед». Матвей Абрамович шумно жует салат, бухгалтер считает на счетной машинке. Что он все время считает? Ах, не задавайте мне вопросов, на которые никто в мире, кроме Матвея Абрамовича и его бухгалтера, не сможет ответить.

Великодушно разрешив называть себя Матвеем Абрамовичем, он оглядел меня добрым стариковским взглядом и сказал: «Вы, наверное, уже слысали от моего друга Беркова, какое у меня доброе сердце». И попросил за мой будущий офис 550 долларов. Я сказал: 350. Матвей Абрамович — 450. Я сказал: 400. Матвей Абрамович — 420. И попросил первую плату внести сейчас же. А в дальнейшем — 1-го числа каждого месяца.

«Знаете, я такой человек, что всегда помогаю людям», — заключил он и стал подозрительно рассматривать мой чек. Затем он спрятал его в карман и сказал, что с этой минуты я, как и Илья Берков, становлюсь его лучшим другом. Если швейцар спросит, куда я иду, я должен послать его к цорту и сказать, что иду к своему большому другу мистеру Гилдесману. «А как же журнал «Время и мы»?» — «Посылайте всех к цорту. Вы мой друг — и кончено. Так же, как мой друг Илья Берков». — «А как же мой зам и правая рука?» — «Эта та барышня в оцках? Тоже мой друг. Нет, она лучше ваш друг, секретарша моего большого друга!» — «А молодой человек?» — вспомнил я про Нолика. «Это который сариками торгует? Это тоже мой друг. Цорт возьми, почему я не имею права иметь много друзей? Вы знаете, сколько я нахожусь в этом билдинге? Сорок три года. И все знают, что я всю жизнь помогаю людям».

Между нами не принято говорить о презренном металле, а говорим мы исключительно о дружбе и первого числа каждого месяца передаем друг другу привет: Нолик — мне, я — Матвей Абрамовичу, Илья — ему же.

Вот в этот дивный уголок, в это царство добра и справедливости я и приглашаю своих многочисленных доброжелателей.

Джентльмены! Занавес поднят. Только три ступеньки вперед. Ну, что же вы стоите? Ах да! Я, кажется, понял: вас не устраивает клоунада. Вы хотите, чтобы все было серьезно и все по порядку. Я готов. Я уже начинаю...

Израиль

13 января 1973 года, примерно в девять вечера, приземлившись в тель-авивском аэропорту Луд, я совершил алию в Израиль и воссоединился со своим народом.

Взору моему открылась беспорядочная масса огней, вырвавшихся из тьмы. В ушах гремели восторженные крики моих национальных братьев, а в душе творилось нечто такое, чему я никак не мог найти объяснений. Я совершал если

даже не самый благородный, то уж во всяком случае самый логичный шаг в своей жизни, ибо все написанное и сказанное мной в последние месяцы сводилось к одной, пусть тавтологической, но от этого ничуть не менее разумной мысли: «Я еврей и потому должен жить со своим еврейским народом». И вот теперь, когда эта прекрасная в своей логической гармонии идея должна была осуществиться, я вдруг задумался над ее смыслом: а что это, собственно, значит — жить со своим народом?

О том, что я прибываю в Израиль, каждый час, ссылаясь на сообщения агентства Рейтер, передавали западные радиостанции. А фамилия моя неизменно сопровождалась словами как о моем прошлом (редактор «Литературной газеты»), так и о моем настоящем («известный борец за еврейскую эмиграцию»). Мне нравилось именоваться борцом. Во всяком случае куда больше, чем редактором «Литературной газеты», звание которого, пока я летел, мне присвоили корреспонденты Рейтер.

Я писал одно за другим письма, в которых требовал отпустить народ мой в Израиль. Моя статья «Размышления перед аукционом» появилась даже в «Нью-Йорк таймс». Я мечтал создать в Израиле новую еврейскую газету и не чувствовал лишь одного: что вместе с этими бесконечными письмами и статьями, сделавшими меня «известным борцом за алию», я все более отрываюсь от реальной жизни и начинаю жить в мире текстов. Тексты не могли стать реальностью, но реальность исчезла, а тексты оставались и уже сами начинали казаться реальностью.

И вдруг при виде огней Тель-Авива я почувствовал, что эта происшедшая во мне метаморфоза каким-то фантастическим образом начинает давать обратный ход: тексты переставали чего-то стоить, а реальность меня все меньше прельщала. В Луде не было ни цветов, ни грома фанфар, ни торжественных слов приветствия, а была лишь пахнущая в лицо духота и выплеснутая «Боингом» на летное поле толпа — с чемоданами, мешками, кошелками и Бог знает с чем, — растянувшаяся от трапа «Боинга» до входа в небольшое деревянное строение, где шел прием новоприбывших в Израиль. Толпу встречали какие-то суетящиеся на летном поле люди, и на ходу что-то выясняли, и пытались навести хоть какой-то порядок в этом вывалившемся из самолета людском балагане. «Товарищи, граждане, евреи из СССР! Не устраивайте толкучки. Это же вам не Советский Союз!».

Но все это был еще не театр, а только фойе. В фойе, у столов с жиденькими цветочками, каждому выдается сто лир и каждый подписывает вексель. Что эти сто лир выдают в долг — о чем написано на иврите, — никто, разумеется, не имеет понятия. Подписывают, потому что так полагается, а именно, что с этой минуты имярек должен государству Израиль столько-то за билет, столько-то — за багаж, столько-то — за его страховку, столько-то — за это, столько-то — за то...

Из фойе — единственный выход в театр. А театр — это вовсе и не театр, а дощатая кабинка, где решалась судьба новых жителей Израйля. В кабине командовал человек с прибалтийским акцентом, лица которого я не видел. «Я ж сказал, что нет Тель-Авива. Подпишешь или нет? Не желаешь Кирьят Шмоне — сиди до утра! Следующий! Хайфа, говоришь? Мама себя плохо чувствует? Ну, знаешь, друг, здесь все евреи! Может, все хотят в Хайфу. А вот нет Хайфы, а есть Афула! Не хочешь Афулу — сиди до утра!..»

Я дал интервью корреспонденту «Голоса Израйля» и вошел в театр-кабинку последним. Передо мной сидел рыжий с бычьей шеей лысеющий человек. Я хотел бы, читатель, чтобы вы запомнили эту фамилию (которую, впрочем, я и сам узнал много позже), так вот — Моше Гоц. Вы, конечно, слышали — Бен-Гурион, Голда Меир, Моше Шарет, Хаим Вейцман, Даян, Бегин, Сапир... Так вот, все они были никто рядом с рыжим рижским евреем Гоцем, подле которого висела огромная карта Израйля с горящими лампочками — центрами абсорбции, куда направлялись новые олим. «Оле» — происходит от слова «алия». «Алия» — это восхождение наверх, в Израиль, в Иерусалим, это подвиг возвращения, и, следовательно, новый оле — это подвижник. По этому поводу за столом с цветочками ему выдано даже специальное удостоверение «Теудат оле» — удостоверение подвижника, вернувшегося в Израиль. Гоц явно устал и рвется упростить процедуру.

— Куда хотели бы поехать? — спросил он. «Опять в Тель-Авив?» — прочитал я в его сардонической улыбке. «А вот нет Тель-Авива, а есть Афула!»

— А мне, собственно, все равно, посылайте туда, куда требуют интересы Израйля, — сказал я.

— Интересы кого? — медленно соображал Гоц, оглядывая меня подозрительным взглядом. «Это еще что за хом?» — читал я в его глазах.

— Интересы Израйля, — ответил я.

— Вы кто — журналист? — переспросил меня Гоц. — Тогда пошлем в Ашкелон.

— А где это, Ашкелон? — теперь уже спросил я.

— А вот тут, — ткнул Гоц в карту, — морской курорт, пятнадцать минут езды от Тель-Авива...

Не знал рыжий Гоц, что спустя многие годы — уже кончилась алия, и евреи уже давно ехали в Америку — придет он на прием к моей жене в поликлинику Нева Шарет — старый толстый еврей, в котором жена вначале не узнает и вовсе всевластного наместника Сохнута в Луде. Она попросит толстяка раздеться и увидит его тело, дряблое, болезненное тело диабетика, исколотое инсулином и обсыпанное множеством фурункулов. Она откроет карточку больного и прочтет фамилию «Гоц», и не выдержит, напомним ему, как он мучил новых граждан страны...

Гоц страшно смутится и скажет, что на свете нет тяжелее работы, чем с новыми олим, и лично для него не было страшнее времени, чем то, когда он сидел в Луде, что там-то он и заболел диабетом и вот теперь уходит на пенсию. Кто знает, может, и была своя правда в его, Гоца, словах, — но еврейский Бог не простил ему зла, нанесенного евреям, хотя и отправлял он их в центры абсорбции для «академиков».

Бейт-Бродецкий

А в Луд все прибывали и прибывали — казалось, над страной нависла опасность нашествия русских, в планах которых было вначале овладение центрами абсорбции в Тель-Авиве и Иерусалиме, а затем уже, согласно Ленину, почтой, телеграфом и телефоном. Но пока вернемся в Тель-Авив, куда, спустя две недели, я все-таки вырвался из Ашкелона с женой и дочерью, папой и мамой и куда всеми правдами и неправдами съезжались с периферии нахлынувшие в страну реформаторы из СССР.

Съезжались все в северный район Тель-Авива — Рамат-Авив, в гостиницу для новоприбывших Бейт-Бродецкий, набитую до отказа не помышлявшими ни о какой революции американскими евреями, евреями из Аргентины, Бразилии и прочих стран мира, ну и, конечно, некоторыми выходцами из Советского Союза. (Теми, что не имели за душой ни одной реформаторской идеи, но имели нечто другое, куда более важное, и что не раз выручало их еще там, на доисторической родине.)

О, Бейт-Бродецкий! Кого здесь только не было в ту счастливую пору эмиграции! Какие только языки и наречия не слышны были в его гудящем, как пчелиный улей, лобби! Каких только не было лиц! Каких только разрезоз глаз! Каких только оттенков кожи! И какую надо было иметь фантазию, чтобы поверить, что все это были евреи!

У входа меня встречает мой старый знакомый еще по встречам у синагоги, бывший сотрудник «Голубого огонька» Марат Шатров. Он уехал на два месяца раньше меня и теперь уже выглядит настоящим саброй — не в туфлях, а в сандалиях, не в костюме (из валютного магазина), а в шортах, в одной батистовой и на волосатой его груди распахнутой рубашке.

Кто сказал, что мы эмиграция посредственностей, без собственного лица и собственных судеб? Я говорю не о диссидентах и подписантах (и уж, конечно, не о реформаторах!), а о молчаливом большинстве, и начинаю с Марата Шатрова.

За неделю до отъезда он пригласил меня к себе на важный разговор и сказал, что везет в Израиль атомную бомбу. Достал из подкладки костюма несколько мелко исписанных листков и, взяв с меня слово, что я умру вместе с прочитанным, вручил мне его для ознакомления. Бомбой оказалось открытое письмо сотрудника «Голубого огонька» Марата Шатрова председателю Центрального комитета радио и телевидения гражданину Лапину. Большая его часть была посвящена расправе, учиненной партийным черносотенцем Лапиным над журналистом Шатровым за его скромное желание уехать на историческую родину и воссоединиться со своим народом.

Автор не стеснялся в выражениях и в конце письма называл гражданина Лапина жидоедом и лизоблюдом, которого он глубоко презирает. Слава Богу, ничто его не связывает с погромщиком Лапиным — по приезде на историче-

скую родину он начинает новую жизнь, у него будет новый язык, язык его предков, на котором он всю жизнь мечтал писать и говорить.

Как только я закончил чтение, он препроводил бомбу туда, откуда она появилась, и тихо проговорил: «Я им, бле, покажу, кто такой Марат Шатров!».

Увидев меня вылезавшего из кабинки, он бросился меня обнимать, затем обнял мою жену и дочь, затем — папу и маму и тотчас перешел к делу, то есть к освещению своей жизни в Израиле. Начал, естественно, с бомбы, которую понес в «Маарив» (в «Маариве» сидел крестин Диссенчик, ничего не смыслящий в журналистике), затем — в «Едиот Ахронот» (в «Едиоте» сидел еще больший крестин, который вообще не знал ни слова по-русски!), затем — в «Джерузалем пост» (где материал просто затеряли).

«Местечко и сесть местечко,— язвительно улыбнулся Шатров,— но бомба взорвалась, и знаешь, где? В газете «Трибуна-на!» На первой полосе! Они у меня, бле, попляшут, плохо знаете, господа офицеры, Марата Шатрова!»

Уже выпив, Марат сказал, что на иврите пусть говорит эта сука Лапин, а он обойдется русским и уже даже нашел одну журналистскую фирму.

К Шатрову мы еще вернемся. А пока окинем еще раз взором Бейт-Бродецкий тех незабываемых дисей.

Кто были его обитатели? Кто возьмется их описать? И хоть примерно очертить их круг, тем более их характеры, тем более борение страстей? Я вам, читатель, предоставляю судить, что происходило в их горячечных душах в те первые дни их жизни на своей исторической родине.

...Вот выходим мы из Бейт-Бродецкого с художником Барским, про которого говорят, что он был сыном академика Збарского, некогда заблудившегося Владимира Ильича Ленина, о чем, кстати, сам Лева Барский меньше всего любил распространяться.

...Ну так вот, выходим мы из Бродецкого с художником Барским. На нем европейского покроя исключительно изящный бархатный пиджак, купленный по дороге в Израиль в Париже, на Елисейских полях. Ко мне он всегда обращается своим прокуренным и простуженным голосом с одним и тем же: «Пойдем, Перельман, напротив, посидим, кофейку выпьем». К Израилю отношение у Барского двойственное. Иногда (как правило, по утрам): «Ох хорошо! Ох тепло! Солнышко светит!» А иногда (чаще по вечерам): «Ну и идиот, нашел куда присхать и, главное,— уже был в Париже, и вот, пожалуйста, прибыл, чудак, на родину предков».

Я бы уже перешел к другим обитателям Бродецкого, если бы не угрожало мне стать его гарантом в сохнутовеком банке «Идут», и потому время от времени меня вызывали в суд. И тогда я ехал на улицу Анны Франк и барабанил изо всех сил в двери Барского — разбудить Барского до двенадцати дня было делом абсолютно безнадежным, но я все-таки добуживался, и отправлялись мы вместе к нашему единственному на весь Сохнут ангелу-хранителю Алснбойгену и плакались ему в жилетку. Алснбойген звонил в банк «Идут», и дело из суда изымали под честное слово Барского уплатить до последнего агорота.

Барский был рыцарем и человеком слова, но он начисто утрачивал эти благородные качества, как только заходила речь о долгах Сохнуту. И дело снова шло в суд, и снова я ехал на улицу Анны Франк, и снова мы шли к Алснбойгену, пока все это не надосело Барскому, и не уехал он в Нью-Йорк, и не поселился в Сохо. Что он делает? Готовится к выставке и гуляет со своими любимыми двумя собаками и наслаждается жизнью в Сохо, впрочем, кто его знает, что он делает.

Заранее предвижу ваш упрек, что пропускаю я добродетели и их носителей мимо внимания (пусть себе ходят в ульпан, учат иврит, морочат голову сохнутовским чиновникам) и задерживаюсь на всякого рода странных лицах, которых иной добропорядочный автор не удостоил бы внимания. Но, поверьте, я это делаю не из желания оригинальничать, а из желания следовать правде, ибо эти лица и нарушали весь плавный ход эмиграции и вообще плавный ход жизни. А главное, они отравляли существование тем бескорыстным идеалистам, которые решили отдать себя без остатка делу еврейской эмиграции. Об этих идеалистах у нас опять-таки речь еще впереди, а пока — о горячечных душах Бейт-Бродецкого.

Начну с того, что душной июльской ночью в Бейт-Бродецкий ворвался наряд полиции и сразу же поднялся в номер к знаменитой пианистке Софе Лазебниковой. И тотчас выяснилось, что Лазебникова в этом номере уже давно не жила,

а проживает здесь некий стареющий блондин с чисто славянской наружностью, по имени Коля Рогожников. Его поведение и послужило поводом для прихода полиции в этот интеллигентнейший из отелей Тель-Авива. Как выяснилось, из номера Рогожников почти никогда не выходил. Единственным, с кем он поддерживал контакт, был уже упомянутый Марат Шатров. И, кроме него, никто не знал романтического прошлого Рогожникова, что был он танцором Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова и по какой-то малопонятной причине был вывезен пианисткой Лазебниковой на ее историческую родину, где и оказался предоставлен сам себе. Ну а дальше вы, читатель, и сами, верно, догадываетесь, каким способом утотлял свою истомленную душу бывший танцор Краснознаменного ансамбля песни и пляски Коля Рогожников, оказавшись на исторической родине своей жены Софы Лазебниковой.

Самое страшное произошло в предрассветный час, когда к Бейт-Бродецкому подкатил старший гигантский «бьюик» и из него вылезли странного вида евреи и пытались по канату взобраться в номер к Лазебниковой. Все тут было окутано мраком, за исключением того, что в предрассветный час танцору ансамбля имени Александрова оказалось нечем уплатить честно отработавшей свое девушке. И последней не оставалось ничего другого, как вызвать на помощь своих товарищей с тель-авивского Плаца-Пигалья — улицы Аякон.

Скажите, что бы сделали с танцором Рогожниковым в любом цивилизованном государстве — об СССР я не говорю, — ну, скажем, в Нью-Йорке: если бы это произошло даже в каком-нибудь третьестепенном Грейстон-отеле? Наверное, его как минимум оштрафовали бы или выселили бы из гостиницы, а то бы и депортировали как не имеющего никаких документов.

В Бейт-Бродецком Рогожникова вызвали на беседу к доктор-Клингер. И далее я не могу просто продолжать, не сказав хоть несколько слов о доктор-Клингер. Выше я упомянул о добровольцах-идеалистах, так вот, в Бейт-Бродецком они были представлены доктор-Клингер. Сказать про доктор-Клингер, что была она блондинка низенького роста, в очках, делающих ее похожей на классную даму, — значит ничего не сказать. Ибо к тому же она была полковником в отставке Британской армии и ходила такой властной походкой, что можно было принять ее и за генерала в отставке. Особенно когда утром подъезжала в своем «пежо» к Бродецкому и, сопровождаемая своим бессловесным мужем, направлялась в кабинет к его директору — добряку и симпатяге Мотке.

Если Мотке был администратором, хозяйственником Бейт-Бродецкого, то доктор-Клингер была его идеологом и комиссаром. И если к этому добавить, что всю свою комиссарскую деятельность она осуществляла исключительно на волонтерских началах и, следовательно, не боялась никого на свете, то можно представить, в сколь нештучном положении оказывалась любая, за кого принималась доктор-Клингер, к тому же еще и говорившая по-русски.

Одним из первых, кто попал в поле ее зрения, был Марат Шатров. Оказавшись в «Трибуне», он обрушил всю силу своего темперамента против правящей Рабочей партии, членом которой (или, может быть, она ей явно сочувствовала) была доктор-Клингер.

В «Трибуне», как некогда в нашей многотиражке «За отличный рейс», всегда ощущался дефицит с материалами, и Марат, ее единственный литсотрудник и политический обозреватель, мог себе позволить не особенно стесняться в выражениях.

— Господин Перельман, — встречала меня по утрам доктор-Клингер, — вы мне можете объяснить, что представляет собой этот Шатров? Он вообще еврей? Вы читали, как он ужасно выражается в этой своей газетенке? Как вам нравиться его вчерашняя статья «Рука руку моет»? Объясните мне, что это значит — «рука руку моет»? Это так говорят в теперешней России? Я первый раз слышу! А вы читали его статью «Партийный жучок»? Это он так пишет о Бен-Меире — одним из первых людей партии. У всех у него «рыло в пушку», все какие-то бандиты и жулики. Его послушать — так неизвестно, как мы выиграли три войны. Вы, кстати, не знаете, где он раньше служил? Говорят, на телевидении. Можно себе представить, что это за телевидение, если там работают такие, как Шатров!

Но особенно доктор-Клингер была возмущена скандалом с Рогожниковым, который не заплатил проститутке с улицы Аякон. «Нет, как вам все это нравится, господин Перельман?! Мало у нас в Бейт-Бродецком своих цоресов, нам еще

не хватало проституток с Аяркона. Это же надо додуматься — привести среди ночи в отель для новых олим! Между нами говоря, только гой себе мог это позволить. Вы, кстати, не знаете, кто он был там, этот Рогожников? Говорят, какой-то артист, танцор — я очень знаю, чем они там все занимались...»

Впрочем, после личной беседы с Рогожниковым доктор-Клингер несколько смягчилась и даже пошла хлопотать к Мотке, чтобы его не выселяли.

— Вы знаете, господин Пэрэلمان, он у меня был сегодня, этот ваш танцор. Он, оказывается, пьет водку! Говорят, они выпивают с этим Шатровым. Вы что-нибудь слышали об этом? Я его спросила: «Как же это все получилось у вас, господин Рогожников, с этими женщинами легкого поведения?» А он: «бе-е, ме-е, сам не знаю». Тогда я ему сказала: «Знаете что, господин Рогожников, мы с вами не в детском саду — так это, кажется, у вас называется — или будем говорить откровенно, или не будем говорить вообще». Так вы знаете, что он мне рассказал? Что он вообще не хотел никуда уезжать! Но, оказывается, у него от первой жены трое детей, и она его так преследовала с алиментами, что он решил жениться на этой Лазебниковой и уехать в Израиль. Ну, как вам это нравится? У нас мало своих цоресов! Я его спросила: «А что вы, господин Рогожников, собираетесь в Израиле делать?» И что же он мне ответил? Вы не знаете, что он мне ответил. Он сказал, что хочет создать национальный израильский балет! Нет, как вам нравится этот хохом! Я сказала: «Послушайте, господин Рогожников, но ведь на что он мне отвечает». Так он мне отвечает: «А Сохнут на что, доктор-Клингер?» Вы знаете, что я решила? Позвонить Нехемии: пусть они что-нибудь с ним решают...

Бедная, наивная доктор-Клингер — хоть и служившая в некие романтические времена полковником Британской армии, — что она могла знать о происходящем в горячечных душах новых олим из СССР! Вот это ее незнание, ее наивность и романтичность устремлений и были оплачены черной неблагодарностью некоторых новожителей Бейт-Бродецкого.

Она переживала о заблудшей душе бывшего танцора ансамбля песни и пляски Рогожникова, ей не давало покоя поведение бывшего сотрудника «Голубого огонька» Марата Шатрова.

Но не от них получила доктор-Клингер удар, после которого она — бывший полковник Британской армии — слегла на несколько дней, а от нового оле из Одессы, бывшего чемпиона по вольной борьбе УССР Петра Мосолова, эпопею которого, взявшись за описание нашей эмигрантской одиссеи, я просто не вправе опустить.

Среди всех постояльцев Бродецкого, точнее, среди всех посидельцев расположенного возле его крыльца скверика, это была, может быть, самая тучная и самая трагическая фигура. С утра до вечера он забывал на скамеечке козла с такими же, как он, постояльцами, отчаявшимися постигнуть язык предков и потому не ходившими в ульпан. И однажды заговорил со мной и Барским, когда мы спустились с крыльца Бродецкого отпить в кафетерии Рабиновича напротив по чашечке кофе.

Он тоже спулся с крыльца в это знойное тель-авивское утро. Было в нем, наверное, килограммов сто веса. Возраст неопределенный, лет пятидесяти, может, пятидесяти пяти, лицо красное — то ли алкоголика, то ли сердечника, — и вот, поравнявшись с нами, он, язвительно улыбаясь, спросил: «Ну, как, мужики, родина предков?» Барский, тотчас уловив язвительность, ответил: «А что — прекрасно! Солнышко! Хорошо!» — «Да, солнышко, ядрена вошь, — улыбнулся странной улыбкой толстяк, — а то у меня там не было солнышка. Вы откуда сами-то будете? Из Москвы? Ну, может, у вас в Москве и хреновато было, а чего, скажите, мне, старому, не хватало? Вам, думаю, и не снилась такая жизнь, какая у меня была в Одессе. Перед каждым матчем лично зампредисполкома Скобликов Иван Иванович звонил: «Петь, а Петь, может, тебе чего нужно, ты только скажи, Петь, все достанем...» А Петя под старость выдал им такого куража с корицей — на историческую родину отвалил. Иван Иванович лично перед отъездом вызывал — я уж никто был, тренер в школе, а все равно — сколько вместе выпито, сколько баб совместно катапультировано! Вот он и говорит: «Петь, а Петь, ну какой ты сионист, взгляни на себя в зеркало!» А я, старый чудак, свое: «Хочу воссоединиться со своей тетей в Тель-Авиве». Во, мужики, в какие дела влопался!»

С этого монолога и началось наше знакомство. Ну, а что Пиня говорил доктор-Клингер, этого никто не знал. Известно только, что что-то в ней дрогнуло, растаяло, когда она узнала про судьбу чемпиона по вольной борьбе Мосолова. Однажды, встретив меня, она, совершенно расстроенная, сказала: «Вы слышали, господин Пэрэلمان, какое несчастье с нашим боксером: инфаркт! Увезли вчера ночью в больницу Хадаса». Доктор-Клингер знала, что приложит все силы для того, чтобы пристроить нового оле из Одессы куда-нибудь физруком в кибуц: «Не думайте, господин Пэрэلمان, что там так уж его ждут. Подумаешь, чемпион! Когда он был чемпионом! А сейчас старый больной еврей, да еще с гипертонией. Но я все это объяснила Нехемии, что, если б он был молодой, как этот дебошир Шатров, так я бы не стукнула и палец о палец. Но старый больной еврей с гипертонией и инфарктом — да мы просто обязаны ему помочь!»

Бедная, наивная идеалистка доктор-Клингер! Откуда было ей знать, что еще до злополучного своего инфаркта Пиня просиживал ночами в своем номере и строчил длинные простыни, которые отправлял с ближайшей почты в СССР заказными с уведомлением о вручении.

Первыми же обо всем узнали мы с женой, когда однажды, выходя из Бейт-Бродецкого, встретили исхудавшего после инфаркта и на десять лет помолодевшего от разрывавшей его радости Пиню.

«Какая у меня, мужики, весть, какая весть!» — причитал он, даже не обратив внимания, что мужик среди нас с женой был только один. «Что, работу нашли? — воскликнула жена. — Где, в каком кибуце?» — «Работу? — странно усмехнулся Пиня. — Нужна мне эта ихняя работа, на ихнем сраном солнышке...» И, набрав в легкие побольше воздуха, он сообщил, что решением Президиума Верховного Совета ему разрешено вернуться в СССР.

Рувен Веритас и другие

В 73-м году я считал себя еврейским активистом — я голдал на телеграфе и рвался в Израиль, чтобы вместе с такими же, как я, перестраивать страну. В 83-м я этому улыбаюсь, как улыбаются взрослые люди при воспоминании о своих детских забавах.

Я живу в стране высшей цивилизации и выпускаю популярный на Западе русский журнал. Но отчего же так тянет меня в это мое давно покинутое детство? Именно по этой причине я делаю сейчас отступление и, погрузив свои манатки в пятисотместный «Боинг» израильской фирмы «Эл-Ал», совершенно натурально, со скоростью восьмьсот миль в час лечу назад в 1973 год. И снова, как когда-то, вырываются из тьмы огни Тель-Авива, и снова рисую я первые минуты встречи, и рвутся из души полувнятные, восторженные слова...

Естественно, первое место, где я появился, был Бейт-Соколов.

Бейт-Соколов — это израильский Дом журналиста. Здесь самое знаменитое в Тель-Авиве кафе, но это еще не главное. Бейт-Соколов — это место встреч министров, газетчиков, бизнесменов, генералов, чиновников, влюбленных, любовников... В Бейт-Соколов состоялась моя первая встреча и первое знакомство с человеком из легенды Рувеном Веритасом.

Читатель, естественно, спросит, кто же такой Рувен Веритас. В прошлом боец литовской дивизии, а ныне майор израильских вооруженных сил.

Если можно себе представить теневой кабинет при министерстве абсорбции, то его как раз и возглавлял Рувен Веритас. От всех теневых кабинетов мира он отличался тем, что хотя и находился в тени, но не имел никакой абсолютно власти, кроме прав названивать Шлеме Розе и требовать от него помощи еврейским знаменитостям из СССР.

По субботам Веритас появлялся у меня в гостях в Бейт-Бродецком. Почему-то всегда без своей жены Рути, но всегда нагруженный яствами: фисташками, бананами, шоколадом.

Однажды Веритас привез с собой в Бродецкий самого Шлему Розе, который оказался пресимпатичным старичком с большой седой шевелюрой и тяжело передвигающимися ногами. К его приезду наш номер был набит до отказа — пришли дочери Михоэлса — Тала и Нина — и его внучка Виктоша, и писатель Иза Ионас, и Шатров... На председательском месте, подобно старенькому китайскому божку, восседал Шлема Розе и, накладывая себе всякой снеди, не

прекращал пить за успехи новой алии. По правую руку от него сидел писатель Изя Ионас, а по левую — Лева Барский. Он говорил все обратное тому, что пытался утверждать Ионас, и всячески защищал Шлема Розе от его нападок.

Впрочем, Шлема не только ел и пил, он еще извлекал из своего бокового кармана записную бумажную книжечку и что-то в ней помечал.

Первой взялась за замминистра Тала Михоэлс, которая без всяких обиняков стала у него допытываться на идише: «Послушайте, Шлема, можно, я задам вопрос? Только прошу не обижаться. Мы сегодня выпили, и я по-простому. А вопрос у меня такой: почему ваши подчиненные все время врют новым олимпиадам? Зицер врет, Шварцман врет — все врют!»

Шлема начал беспомощно озираясь, явно не ожидая такого напора. Он снова записал что-то в свой кондуит. Затем припал к уху Веритаса, и тот перевел: «Господин Розе сказал, что мы пришли сюда не ругаться, а искать пути для сотрудничества, и потому он предлагает тост за присутствующих здесь новых олим из Советского Союза». — «Правильно!» — гаркнул из самого дальнего угла Шатров, а Шлема, придвинув к себе тарелку с фаршированной рыбой, вскинул стопку, которая, пока он ее вскидывал, наполовину разлилась, но вторую половину он все-таки допил, а допив, сказал, что он не хочет больше сегодня заниматься делами, а хочет праздновать и веселиться с такими хорошими людьми, которые оказались в этой комнате.

— Лейхам! — уже с трудом поднял руку Шлема Розе и что-то шепнул Веритасу, который сразу же перевел:

— Господин замминистра хочет сказать тост.

Шлема медленно поднялся и заговорил, а Рувен продолжал переводить: «Господин Розе сказал, что он прежде всего протестует против того, чтобы его называли господином, и просит называть его товарищем, поскольку он принадлежит к лево-социалистической рабочей партии МАПАМ. Ему также было бы приятно, чтобы и все присутствующие называли друг друга товарищами, и он думает, что это не составит им большого труда, поскольку все они выросли в стране социализма, и хотя он, Шлема Розе, против такого социализма, но он, как kibbutznik, никак не против слова «товарищ», а, наоборот, считает, что все, кто здесь собрался, и есть настоящие товарищи».

— Ну уж это дудочки, — снова отозвался Шатров. — Гусь свинье не товарищ!

— Что он сказал? — спросил Розе у Рувена вдруг на идише.

— Что он сказал! Тебе, Шлема, это очень важно знать! Шмок! — сверкнул Веритас в сторону Шатрова.

И Шлема, добродушно улыбаясь, снова попросил его переводить. «Товарищ Розе хотел бы воспользоваться случаем, чтобы пригласить всех присутствующих на вечер в клуб партии МАПАМ «Цафта». На повестке дня — будущее израильского социализма, а затем концерт израильских артистов».

— Bravo! — закричал Шатров. — Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

— Что он сказал? — снова почему-то на идише обратился Розе к Веритасу.

— Он сказал: пролетарии всех стран, соединяйтесь! — засмеялся Веритас. — Послушай, Виктор, откуда этот шмок? — обратился ко мне Рувен и, не дождавшись ответа, выкрикнул: — Друзья, я предлагаю тост за нашего дорогого гостя, товарища Шлема Розе!

Свободный мир

Всякий раз, когда я возвращаюсь из Израиля в Нью-Йорк, мне кажется, что в мое отсутствие повернулся мир. Но, переступив порог редакции, я тотчас устанавливаю, что никаких судьбоносных изменений не произошло. Так было и на этот раз. Встретившая меня солнечной улыбкой моя правая рука и зам не замедлила сообщить, что Гилдесман уже три раза передавал мне привст. А накануне не без волнения в голосе даже поинтересовался, не случилось ли чего-нибудь в Израиле с его другом господином Виктором.

На своем письменном столе я обнаружил толстую рукопись. Открыв папку и увидев вложенные в нее 250 австрийских шиллингов, я сразу понял, кто ее автор.

Австрийские шиллинги для оплаты ответов высылаю только один наш корреспондент, чье первое произведение я получил лет двадцать пять назад, когда работал в журнале «Советские профсоюзы». Это были «Заметки новатора»,

которые прислал ударник Харьковского тракторного завода Николай Борисов. Я хотел от его шедевра отбиться, но он обратился к председателю ВЦСПС Виктору Васильевичу Гришину, и из канцелярии Гришина пришла резолюция: «С каких это пор в нашем профсоюзном журнале не может напечататься рабочий человек?»

Перейдя из «Советских профсоюзов» в «Литературную газету», я, разумеется, забыл о существовании Николая Борисова и столкнулся с ним, точнее, с одним из его произведений, уже в Израиле, будучи редактором журнала «Время и мы».

Однажды, просматривая утреннюю почту, я обнаружил в ней нечто такое, до чего не могла бы додуматься никакая фантазия. Да, это был он, наш бронебойный автор Николай Борисов: «Дорогой Виктор Борисович! Наконец-то я вас разыскал. Пишу вам из Вены...»

Нет, джентльмены, я не случайно назвал эту вещь «Театром абсурда». Ибо скажите положу руку на сердце, в каком еще театре вы могли бы увидеть, что прославленный ударник, на которого равнялись восемьсот тысяч читателей «Советских профсоюзов», в прошлом окажется — кем бы вы думали? — Наумом Лифшицом. Борисовым же он стал после отсидки, дабы ударным трудом искупить прошлое. Но при первой возможности наш рабкор эмигрировал. И из Вены вместо скромных «Записок новатора» прислал килограмма на два «Записок бывшего троцкиста».

Далее началось примерно то же самое, что в Москве. Правда, на этот раз с обратным результатом. Из редакции в Вену последовал отказ. Из Вены в редакцию — новый вариант. Из редакции в Вену — новый отказ. Но пробиться в журнал без помощи профсоюзной общественности нашему автору так и не удалось.

— Да что же это такое, чтобы на Западе негде было напечататься рабочему человеку! — возмутился он в конце концов.

По наивности я думал, что это его последнее письмо. Я плохо знал неукротимый дух этого человека.

Как ни в чем не бывало он писал мне теперь в Нью-Йорк: «Дорогой Виктор Борисович! Ах, как я рад, что мне снова удалось вас разыскать! Я даже не знал, что вы переехали в Америку, о чем мне любезно сообщили товарищи из «Русской мысли».

Далее он писал, что лишь на Западе понял, что литературой нельзя заниматься между прочим. И только сейчас, выйдя на пенсию, сможет наконец всецело отдать себя делу всей своей жизни — воспоминаниям бывшего троцкиста. И, как старого товарища, он меня просит ознакомиться с новым вариантом, который хочет напечатать только в журнале «Время и мы». «Вы же знаете, как я люблю ваш журнал, просто сердце болит, когда видишь, что люди не хотят подписываться».

После двенадцатичасового перелета из Израиля в Америку я не имел понятия, что написать нашему старому рабкору, в котором ключом бьет энергия и который так много лет связан с журналом.

И вдруг меня осенила идея — предложить ему статью уполномоченным по подписке на «Время и мы». Неясно было только, что делать с четвертым вариантом «Записок бывшего троцкиста».

— Вы что же, не хотите это даже прочесть? — воскликнула моя правая рука и зам. — Ах, какое неуважение к труду автора!

Спорить не было сил. И тут возникла еще одна гениальная идея — поручить моему заму вступить с новым уполномоченным в личную переписку и совместными силами дотянуть «Записки бывшего троцкиста».

— Но это уже слишком! — возразила она. — Что, у меня другой работы нет?

— Нет, не слишком, — теперь уже стоял на своем я. — В конце концов это действительно безобразие, чтобы на Западе негде было напечататься рабочему человеку!

(Окончание следует.)



Расул
ГАМЗАТОВ

Кто виноват во всем?

Кто виноват? На ком лежит вина?
Виной всему — былые времена...
Вчерашний день, истощенный до дна...
На тех вина — чье дело сторона...
Кто виноват? На ком лежит вина?
На песнях, где воспета старина,
На снеге, что слежался дочерна,
Чью белизну обуглила весна.
Кто виноват? На ком лежит вина?
Виновна разведенная жена,
Чьих недостатков и не перечесть...
Начальник бывший, позабывший честь...
Кто из людей виновен больше всех?
Друзья, чьи жены в ссоре, как на грех,
Два чудака, кого чужой успех
Терзает и порой лишает сна,
Особенно профессии одной:
Будь стихотворец или кто иной...
Кто виноват? На ком лежит вина?
На госте, что стемна и дотемна
Гостил, но все же отбыл, наконец...
Кто виноват?.. В недобрый час гонец...
Кто виноват? Порою — все кругом:
И бывший друг, что сделался врагом,
И твой сосед, что строит новый дом.
Кто ж без греха? Отвечу я с трудом:
Безгрешен я... Безгрешен ты... Других,
Пожалуй, больше не встречал таких,
Не видел ни во сне, ни наяву,
И потому других не назову...
Сегодняшняя боль сойдет на нет,
Сегодняшних не станет завтра бед,
Болезней после смерти сгинет след...
Вчерашний день всегда всему виной!
Возможно ли найти ответ иной?..

☆☆☆

Волнуется море. Оно, как время, в смятенье:
Волнуется море, полно и света и тени...
На море смотрю — и троих художников вижу...
Хотел бы узнать я — из них который мне ближе?
Вот первый ныряет во тьму пучины кипящей:
Одно лишь желанно ему — успех предстоящий!..
Другой же заплыву не рад, в решение поспешном
Плывет, задыхаясь, назад к утесам прибрежным —
К знакомой, привычной земле из дали безвестной...
А третий — стоит на скале над черною бездной.
Мечтает, задумчив и тих, до сути добраться...
Но кто я из этих троих — пора разобраться...

☆☆☆

На протяжении долгих-долгих лет
Изобразить хотел я эти скалы...
Но, видимо, мне красок не хватало —
Я так и не напал на верный след
Великой тайны, что зовут искусством...
Но все же по уменью своему
Я разделить пытался свет и тьму,
Охваченный необоримым чувством.

И три наброска оставляю я:
Вот первый — красоты изображение...
Я верю, есть в нем сила притяженья:
Мой Дагестан родной, любовь моя.
Второй набросок: мужество, отвага,
А имя то же: гордый Дагестан.
Ночная мгла, предутренний туман,
На скалах шрамы, и без них — ин шага.
Печаль моя — вот третий мой набросок:
Еще бандиты не перевелись
У нас в горах — твою терзают высь,
Мой Дагестан, утесы в горьких росах.
Хоть тайны мастерства не разрешу,
Всю жизнь я Дагестан изображаю,
Свою работу все не завершаю
И знаю, что ее не завершу.

☆☆☆

Снег, как бы слезы твои ни текли,
Не убеждай, что весна наступила:
Щебета тысячи птиц не хватило,
Чтоб перечислить болезни земли...
Как бы рогами ни рыли быки
Черную землю, но только нимало
Не убедят, что зима миновала
Всем календарным делам вопреки.
Как рассказать о недугах любви? —
Жизни на это порой не хватает...
Но все равно: снег темнеет и тает...
Птицы, молчите! Весна, не зови!..

☆☆☆

Сам себе не верю... И усталость
Навалилась, захватив в тиски...
Скрылись звезды... Только ты осталась,
Чтобы я не умер от тоски.
Голуби не кружат стаей нежной —
Вместо них чернеет воронье.
И осталось светлою надеждой
Только — «Утро доброе!» — твое.

Перевела с аварского
Е. НИКОЛАЕВСКАЯ.



Светлана
ЗАГОТОВА

Дебют в
«Юности»

☆☆☆

Знакомая приятелей моих — алкоголичка.
Сама невеличка.
А дел у нее? Верней на нее. Ого-ого-го!
Слепа, глуха, как самка горностая,
что на десятый день после рожденья
к зачатию способна. Так все просто.
Вот у нее десятый день похмелье.
Вот у нее десятый год похмелье.
В зрачках берёста.
Похмелье, похмелье,
опять на мели.
Опять на мели, опять замели.
Милиция мила. Все формы соблюла:

и била, и любила, чуть было не убила.
Устала — прогнала.
...Она детей закапывает в землю.
Рождает и закапывает в землю.
Не дура. Она знает — мир дурёй.
И видит — расплзается зараза.
В земле их прячет от дурного глаза.

P. S. Это дети не моего папы,
не моего мужа, не моего брата.
Так отчего ж оплакиваю их?
Когда-то я на красном транспаранте
нечаянно прочла: «Все люди — братья!» —
наверно, оттого.

Полудialog с мужем

— Я не сделала тебе ничего плохого.
— И хорошего.
— Но ведь и плохого.
— Но ведь и хорошего.
Роскошью слова,
золотою россыпью,
розами по роже.
Ни добра, ни зла, словно не жила,
мужа нежила, сына нажила.
Это ж надо быть такою плоской —
уместиться меж добром и злом!

☆☆☆

Кто-то выходит раньше. Кто-то едет до конца.
Кого-то выталкивают.
Маленький переполненный автобус —
маленький переполненный мир.
Планета пеньков,
крепко уцепившихся за место,
изваяний с отбитыми ушами,
не слышащих голоса матери,
висящей на подножке
и умоляющей подвинуться
хотя бы на одного ребенка.

г. Донецк

Судья стоял, как черный Том,
И обреченно ждал расправы.
Но футболисты вокруг судьи
Сомкнулись стенкою живою,
Отважно преградив пути
Всеоглушающему вою.
И хлопцы выиграли бой,
Хоть их нещадно молотили,—
Они в тот миг народом были
Перед ослепшею толпой.

☆☆☆

О чем не молвлено? Что прячут
Слова, и звук, и цвет от нас?
Порой мазок, намек богаче
Картин законченных и фраз.
Незавершенность, недомолвка,
В пробежках кисти полотно
Надежды в нас питают долго —
Пускай им сбыться не дано.
Теперь у правды выход гласный
На лист, экран и полотно —
И, может, в исповеди страстной
Намеку сгинуть суждено?
А может быть, мы станем снова
Безмолвствовать о чем-нибудь —
И жизнь нам предоставит повод
Опять на что-то намекнуть?

☆☆☆

Воспитали крылатое племя,
Кто сегодня Дедал, кто Икар.
И парят, небосвод не жалея,
Превратив его в шумный базар,
Небожителей сон беспокоя,
Путь для света закрыв и тепла,
Позабыв, что ведь есть и другое
Назначение у крыла,
Что своих горделивцев крылатых
Мать-земля с укоризною ждет:
Сколько надобно сирых и слабых
Заслонить от обид и невзгод!

г. Смоленск



**Юрий
ПАШКОВ**

Случай на стадионе

От гнева темного слепа
(там промах, что ли, был судейский),
Как черный оползень, толпа
Заслон подмяла милицейский,
Втекла на игровой лужок,
Неся бутылки, что гранаты.
Хоть гнев меня и не зажег —
Поволокла толпа куда-то.
Толпа, толпа. Боюсь толпы —
Опасно ей давать свободу —
Она сыграет роль судьбы,
Карая от лица народа.
А там судья стоял с мячом,
Сжимал свисток рукою правой.



**Марина
КУДИМОВА**

☆☆☆

Обнажаются ближние рощи,
И у дальних редуны края,
Чтобы храмов нетленные мощи
Нам являлись в чаду забытья.
И в эпоху тотальной пластмассы
Столько золота — ну посмотри,—
Будто содраны иконостасы
И разбиты в куски алтари.
Не осилим и этих вериг мы...
Ладно, горшей беды не наклнчь!
...А рябин киноварные стигмы
Проступают сквозь битый кирпич.

- Неужели вы это едите?
- С пребольшим аппетитом едим!
- Так бегите! Чего ж вы сидите?
- Да куда? Хорошо же сидим!
- Неужели вы носите это?
- Неужели нам это нейдет?
- Но должна быть какая-то мета...
- В смысле: цель?
- Так — вперед и вперед!
- Ну а как же углы, боковины?
- Там одия только рухлядь и грязь...
- А отмаяли хоть половину?
- С ветерком — будь на то наша власть...

— За «полтавскую» не выбивать! —
Сгоряча ропотнули в середине.
(От хвоста к голове надавать —
Полосой, как при чистке селедки.)
— Кто последний? —
— Конечно же, я!
(Нож идет поперечником резце,
Слюдяная летит чешуя
Или шкура копченая блещет.)
— Вы слышали?
— За мной не вставать!
— За «эстонскую» не выбивать!
На дистанции «хвост — голова»
Тело Божье — собрание народа —
Забывает простые слова.
Тетя Мотя кричит:
— Тодо модо!
Узаконен ее выходной,
По ногам ее торба стебает.
Тодо модо люблю ценю
Отовариться ей подобает.
Пропущу, научу уповать
На удачу, на глупость людскую...
За «московскую» не выбивать,
За «тамбовскую», за «костромскую»...
Тетя Мотя, какой разговор!
(Не вычеркивайте плеоназмы!)
...А у Гегеля вечный запор.
...А у Канта хронический насморк.
И не вздумайте нас прерывать —
Неподсудны такие реченья...
— За «останкинскую» выбивать! —
По чешуйкам — волна облегченья.
Ведь и надобны пара чулок,
Да исподницы смена в комод,
Да еще пустяковый предлог
Для отлучки — и все, тетя Мотя!
И под стрекот цикад, а не касс,
У лотка дефицитного рая
Нам дадут тороватый заказ...
Там мы первыми будем, родная!

Поближе положишь — подальше найдешь.
Вот так обозначится где-нибудь в Дании,
В Канаде то самое светлое здание,
Которое наша снесла молодежь.
Своими руками мы жар оттребли —
Пусть в этом жару погудят, покошмарятся
Другие, а мы у них выкупим «шмайсеры»
За неконвертируемые рубли.
И очередями пространство прошьем,
И — очень надменные, очень бесслезные —
«Родная сторона, сторона колхозная» —
В промерзлых степях у весь дух запоем.

И в кадке потопим прозревших котят...
А им хоть бы хны — и в Канаде, и в Дании:
Они так устроились в нашем здании,
Что вряд ли по-доброму освободят.
И будем лягушек пускать из ртов...
О язва моя, моровая, ключимая!
Со страху на полную мощность включи меня
И сразу же выключи вон из рядов!

**Фотограф ловит ракурс за воротами,
Следит, как форвард ринется, оря,
Через «запретку», но, принудработами
Обременен, пробьет во вратаря.**

Фотограф глаз вперил в глазочек сводчатый
И в камеру уперся головой.
А поле в кадре сетчато, решетчато,
И молчалив вратарь, как часовой.

И гола нет, и пленки все засвечены,
И мяч судья уносит под полой,
И жизни безвозвратца отмечена
Лишь полою водой да убылой.

Никого человеческой тебя, человек,
Не встречала под небом целинным.
Так в глазах и стоит жизнерадостный грек
С эротическим апельсином.
Тучный римлянин, к юноше тянущий длань,
Ражий скиф, скотоложец и пахарь,
Мещанин, на окошке растящий герань,
Половчанин, въезжающий в Тмутаракань,
Честный немец, тачающий прахорь.
То в погоне за славой, то за строкой,
Восклицая: — О Матерь-природа! —
То с дорожной клюкой, то с железной киркой
Так и вижу тебя, сумасброда.
Приручаешь особенно крупных зверей,
Копишишься в Божественном лоне...
Никого — симпатичней тебя и мудрей,
Безответней и одушевленней!
И кому ты на свете понятен, как мне?
И кому ты такой еще нужен?
В самодельной могиле, в бумажной тюрьме
Я люблю тебя! Будь моим мужем!



Эта осина, что быстро трепещет,
эта в цветах голубая земля...
эти разбитые окна... иль блещет
мир паутины?.. и говор шмеля...
Что же я раньше-то видел и слышал?
Вместо любви — свет гранений штыка,
вместо зари — красный лозунг на крыше,
вместо синицы — в ДК дворака...

☆☆☆

На плечах у деревьев деревья лежат,
на вершинах трепещет солома.
Вот такая вода две недели назад
здесь прошла — и теперь она дома.

На высоком зеленом стою берегу
и гляжу на ручей каменистый.
И признать эту силу никак не могу,
потому что мы все коммунисты...

☆☆☆

Мало ли какие есть желанья!..
Может, я мечтал бы стать царем,
но плутаю по ночам в тумане,
греюсь, если пустят, над костром.

Я таскаю тяжкие камни,
белый грунт лопатой долблю...
Мало ли какие есть сомненья
и кого я про себя люблю?

Суждена мне хмурая рабыня.
Вместо звезд — в решетках фонари.
И вот это — Родина, святиня...
И всё верно, что ни говори.

г. Красноярск



Наталья
ХАТКИНА

☆☆☆

Когда двухтысячного года
дождешься ты в своей общаге,
в вагоне, в бочке Диогена,
в тюрьме, в психушке, под мостом,
когда получишь ты квартиру —
тогда достань себе буфет.
Буфет резной, буфет старинный,
могучий, цвета шоколада —
как будто жил ты в самом деле,
как будто прошлое имел.
Как будто приезжали гости,
как будто в шахматы играли,
как будто пили чай с вареньем,
а кот по скатерти гулял.
А не ночевки в подворотне,
а не окурки у пивнушки,
а не забойный запах хлорки,
а не чердак, а не подвал.

☆☆☆

Ленинград, у меня еще есть адреса,
по которым найду голоса.

О. МАНДЕЛЬШТАМ — А. ПУГАЧЕВА

Растворил репродуктор серебряный зев
и орет во весь рот для потехи раззяв
над угарной, базарной, кошмарной толпой
то один, то другой шлягерок площадной.
Вот незримый затейник заводит опять:

«Ленинград!» — («Петербург!») — «Не хочу умирать!»
Будто музыку эту безумный фантаст
продает на развес, да никак не продаст.
Что ты рожу воротишь, приятель-эстет?
Ты пойми, ничего в этом страшного нет.
Ведь по тем же законам, что крутят сейчас
эту смертную муку для всех и для нас,
ведь по той же кривой выводил он свой стих,
где ирония, смерть и шипенье шутих,
ведь по той же извилистой жизни пролегла,
просвистела, провыла, сгорела дотла.

Над вокзалом рыдает толпа аонид,
над базаром бессмертная мука гремит.

И застыла гримаса на чьем-то лице...
Тяжелый камень в начале и кукиш — в конце.

☆☆☆

За полночь — трезвонит. Истерикой дышат звонки.
Не зря же все утро в окошко стучалась голубка.
Не спрашивай: кто? Это лучшие годы мои
на автовокзале молчат в телефонную трубку.
За полночь — вломился. Чего ему? — снова любви?
Опять объяснять: не хочу, не могу, не умею?
Неужто и впрямь — это лучшие годы мои,
вот этот вот рыжий — с дороги, с устатку, с похмелья?
За полночь. Как цапля, босая, стою у двери.
И все объясняю упрямо рычащей собаке,
что это свои, это лучшие годы мои
отбились от рук, одичали, пропали во мраке.

☆☆☆

Ватный заяц бьет в барабан.
Дочке год и четыре недели.
Сей младенческой колыбели
и любовь чужда, и обман.

Ей неведомы приступы страха,
устремленья ее невинны.
Но меня создавали из праха,
но меня лепили из глины!

В старой книжке спит Буратино.
Золотой он сжимает ключик.
Дочь свою я слепила из лучших
лет своих — из праха, из глины.

Тот же ужас крадется к ней,
те же тени — неужто? — выются.
Шестикрылая грозная юность,
пощади ее, пожалей!

Аптека

В аптеке толчея. Люминесцентный свет
по кафелю плывет в размытой луже.
Гриппозный пар октябрьской ранней стужи
колеблется в дверях
и оседает, сед, на мокрые пальто.
Ментол, горчица, йод — в ознобном сквознячке.
И — точно краской мечен —
здесь мальчик топчется, подбрасывая мелочь.
То к кассе подойдет, то, вспыхнув, отойдет.
Видать, зашел купить презерватив.
И в первый раз. Стесняется и мнется,
сглотнет слюну, уйдет, опять вернется.
А девочка-то ждет, колени обхватив.
Аптека пахнет, точно мокрый пес.
Они решили всё — нельзя им друг без друга.
Должны родители приехать завтра с юга.
И мальчик дернулся — и слово произнес.

г. Донецк

ЗАРУ-
БЕЖНЫЙ
**БЕСТ
СЕЛЛЕР**



Энтони БЕРДЖЕС

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН

Повесть

Что же теперь со мной будет? Неужели все?

Здесь, други мои, начинается самая печальная часть моей истории. Я оказался в Стане 84F (Государственной тюрьме) и из Алекса превратился в номер 6655321. Не стану докучать вам жалостливым рассказом о том, каким ударом оказались мой арест и осуждение для моих бедных предков, особенно для мамы, чей единственный сын, улада души, так подвел всех и вся.

Старый веник судья в Суде низшей инстанции произносил гневные речи. Ему вторили П. Р. Дельтува и кошполы, выступавшие в качестве свидетелей. И не было никого, кто бы заступился за меня. Я встал костью в горле нашему истэблишменту, и они очень оперативно унаковали меня с глаз долой, из сердца вон. Через пару недель, пока шло скорое предварительное следствие, мое дело было представлено в Суд высшей инстанции, который, не рассусоливая, вынес свой вердикт: четырнадцать лет тюрьмы.

С того времени прошло два года день в день, и вот я опять перед вами, одетый по последней тюремной моде, то есть в поносившего цвета робу с нашитым на груди и спине номером 6655321.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о том, как я жил два года в зоопарке человеческих отбросов, которыми, как и подобает отбросам, наше больное сосаиство пыталось удобрить хилое деревце общественной нравственности и морали.

В грязной вонючей камере меня встретили с распростертыми объятиями.

Днем мы горбатились на спичечной фабрике, потом наматывали круги по тюремному двору, а по вечерам какой-то ученый рсх засорял нам мозги лекциями о жизни жуков, Млечном Пути или Путешествиях Снежинки. Глядя на него, я почему-то всегда вспоминал другого, похожего на него, нудака, с книжками под мышкой, возвращавшегося из публичной библиотеки зимней ночью... В те славные денечки я чувствовал себя свободным и почти счастливым, и рядом были друзья, а не подлые предатели. Один из них, как я узнал от посетивших меня мазера и фазера, а именно Джоша, был уже мертв. Да, мои хайли респектид бразерс, мертв, как кусок собачьего дерьма на дороге. Это произошло приблизительно через год после того, как меня засунули в клетку и потеряли от нее ключи. После этого известия мое мнение о старом фразере Боге несколько повысилось.

Но все же, что будет со мной?

Воскресное утро. Вся наша братия собралась в тюремной часовне послушать слово Божье. Проникшийся ко мне симпатией капеллан всенил мне в обязанность ставить по его знаку пластинки с торжественной церковной музыкой на старенький стереопроектор. Все заключенные сидят на каменном полу, внимая проповеди. От них исходит неистребимый вонизм, источником которого являются даже не немые тела — столь безнадежно могут смердеть только растленные души. Наверное, так же вонюю и я, хотя в отличие от остальных в моей вонии должна быть примесь надежды. Ведь я самый молодой из всех. Мои мысли вертятся вокруг одного: как бы поскорее выбраться из этого зверинца. Выбраться любой ценой до того, как тюремная вонь поглотит меня без остатка.

— И какой из всего этого выход? — громко вопрошает капеллан. — Неужели вас устраивает порочный круг: погулял — сел, погулял — сел?.. Или, может

быть, лучше внять Божьей заповеди и избежать кар, которые ожидают нераскаявшихся грешников как на том свете, так и на этом? Поверьте мне, братья во Христе, что в посещающих меня видениях мне открылось место пострашнее любой тюрьмы, где на адском огне горят души грешников, подобных вам. И не скальтесь, подонки. Прекратите смех! Там, в аду, такие же выродки корчатся, кричат и стеноют в невыносимой агонии. Им прижигают ноздри раскаленными щипцами, поджаривают на медленном огне, сажая на него с полными ртами воды и не снимают до тех пор, пока она не выкипит. И черта с два проглотишь, поскольку огонь полыхает и в их животах. Они плавают в дерьме, хотя этим вас не запугаешь. Все это я видел собственными глазами... Теперь, грязные свиньи, послушаем слово Божье.

Капеллан взял толстенный бук и, мусоля грязный жирный палец во рту, принялся листать ее, отыскивая нужное место. Наш духовный отец был огромным толстым бастардом с грубым, постоянно красным лицом. Я догадывался, что в этом отнюдь не было повинно высокое давление, но прощал ему этот смолл син¹. Он любил меня и покровительствовал мне, поощряя страсть к чтению Священного писания. Он даже разрешил мне включать церковную музыку, когда я читал. И это было чудесно. Он запирали меня в часовне, и я часами слушал прекрасные творения И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. Я с упоением читал еврейские выдумки, погружаясь в сказочный мир и чувствуя себя его действующим лицом. Вместе с ними пил старое иудейское вино, ложился в кровать с их целомудренными женами... Так мне хоть на время удавалось убежать от моего скотского бытия. Читая Новый завет, я не очень вдавался в его премудрости, поскольку здесь вместо сражений и любви косяком шли нудные проповеди. Но однажды капеллан положил мне на плечо толстомясую длань и сказал: «А, это ты, 6655321. Думай о покаянии. Очищение придет к тебе через страдание».

От него сильно разило старым «скотчем» и исходила особая вонь, отличная от вонючей зэков. Не говоря больше ни слова, он повернулся и побрел к своей конторе на дозаправку. Я же углубился в чтение душеспитательных описаний самобичеваний, терновых венцов, распятий на кресте и прочих испражнений, и чем больше я вчитывался, тем больше приходил к заключению, что в этом что-то есть. Подхваченный божественной мелодией Баха, я уносился в выдуманный иудеями мир и чувствовал себя одним из римлян, одетым в красную тогу. Как и они, я подталкивал измученного Христа копьём в спину и с наслаждением вколачивал гвозди в его священную плоть...

Пребывание в Стае 84F я обратил себе на пользу, и даже сам Губернатор был приятно удивлен, когда ему доложили, что я проникся религиозным рвением. Именно с этим были связаны мои надежды на досрочное освобождение.

Тем воскресным утром капеллан читал нам из Библии о чудаках, построивших дом на песке, и как Бог наказал этих слепцов, ниспослав на землю сильный дождь, мгновенно разрушивший их ветхое строение. Я подумал, что только глупцам, у которых вместо головы — задница, может прийти в голову идея строить дом на песке. Прервав мои размышления, капеллан громко объявил:

— В заключение, сукины сыны мои, прочитаем псалом 435.

Я быстро установил диск на старенькую вертушку, и раздалась мощная органная музыка. Вокализ был

просто великолепен, но его заглушил дикий разбойный рев заключенных:

«Мы — свежесваренный чай,

Что слаб, пока его хорошенько не размешаешь.

Едим не ангельскую пищу

Срок искупления наших грехов долг...»

Они самозабвенно вопили, визжали и рыдали на разные лады, а капеллан подстегивал их словами: «Громче вы, добыча чертей. Петь всем, не филозить!»

Наконец пение гимна было закончено. Разноголосый хор затих, и капеллан произнес заключительную фразу:

— Да сохранит вас и покровительствует вам святая троица. Аминь!

Я поставил диск по своему выбору — Вторую симфонию Эдриана Швейгцербера. Заключенные окружили стерео кольцом и слушали, затаив дыхание и пуская слюни. Некоторые выли, как загнанные волки. Другие тыкали мне пальцами под ребра, хлопали по шоулдеру, выражая одобрение и симпатию. Дольше всех у проигрывателя стоял один питекантроп с руками ниже колен. Надзиратель ласково напомнил ему, что пора выметаться, несильно вмазав дубинкой по плоскому затылку. Я вырубил стерео, и ко мне подошел наш капеллан в белых церковных одеждах, больше приличествующих женщине, а не такому коню с яйцами. Попыхтев некоторое время и повыпуская сигарный дым изо всех возможных отверстий, он дружелюбно сказал:

— Спасибо, малыш 6655321. Ну, какие у тебя для меня сегодня новости?

Дело в том, что наш «конь» метил на очень высокий пост в тюремно-церковной иерархии, и для того, чтобы занять его, необходима была лестная характеристика Губернатора. Поэтому он часто посещал его и выкладывал все, что ему удавалось узнать на исповеди о готовящихся бунтах, побегах и настроениях. Часть подобной информации поставлял ему я. Конечно, в большинстве случаев это были только слухи и досужие вымыслы, но мне нужно было набирать очки, как и самому капеллану. Изредка мы давали и правдивые сведения, как, например, о готовящемся побеге верзилы Гарримана, о котором я узнал по «чугунной связи» — перестукиванию через батареи центрального отопления.

На этот раз у меня не было ничего существенного, и я придумал следующее:

— Я всегда готов помочь вам, сэр,— сказал я.— По чугунному радио до меня дошли слухи о том, что с воли передали большую партию кокаина. Центр по его распределению будет в одной из камер пятой секции.

Капеллан проглотил эту туфту и сказал с благодарностью:

— Прекрасно, мой мальчик. Я немедленно передам эту информацию Самому.— Так он почтительно называл начальника тюрьмы — Губернатора.

После таких слов я оборзел и решил развить успех.

— Сэр, я очень стараюсь, не правда ли? — ележным голоском начал я.— И при этом сильно рискую.

— Сушью правду ты говоришь, 6655321. Ты вносишь большой вклад в дело перевоспитания преступников, и я давно замечаю в тебе признаки искреннего раскаяния и исправления. Если будешь продолжать в том же духе, то заслужишь отпущение грехов...

— Но, сэр, это же как в африканском банке — долго ждать и фиг получишь. На днях я слышал разговор о новом методе перевоспитания. Говорят, что после такого курса тебя немедленно освобождают с гарантией того, что ты никогда не попадешь сюда обратно?

¹ См. словарь на стр. 83.

— А, вот ты о чем... — протянул он потухшим голосом. — Где ты это слышал? Кто распространяет эти сказки?

— Ну, об этом ходят упорные слухи... Охранники говорят между собой. Не станешь же затыкать уши, тем более что вы сами велели держать их востро. Потом, в мастерские попала газета, в которой это описывается подробно. Не могли бы вы посодействовать мне, сэр? Не сочтите за наглость, но мне так хочется поскорее исправиться...

Капеллан глубоко задумался, сосредоточенно попыхивая сигарой. Видно, прикидывал, в какой степени посвятить меня в то, что он сам знал. Решившись, он без особого энтузиазма произнес:

— Наверное, ты имеешь в виду методику Лудовико¹?

— Не знаю точно, как это называется, сэр, да это и не важно. Главное, это позволяет быстро выйти из тюрьмы и больше никогда сюда не возвращаться.

— Да, ты прав, 6655321. Но должен предупредить тебя, что пока все на стадии эксперимента. Техника очень проста, но вызывает коренные изменения...

Он явно чего-то не договаривал.

— Но она же применяется здесь, сэр? — настаивал я. — Именно поэтому строятся белые корпуса у южной стены, где мы занимаемся физическими упражнениями, ведь правда же?

— Пока что такая методика не использовалась, по крайней мере в нашей тюрьме. Даже у Самого на этот счет большие сомнения. Должен признаться, что я разделяю его опасения. Еще неизвестно, действительно ли человек становится добрым после такой ломки. Доброта — категория, определяемая душой человека, 6655321, его добровольным выбором. Лиши его такого выбора, и он перестанет быть человеком...

Он хотел еще что-то добавить, но тут раздался топот других заключенных, которых вели за их пайкой религии. Потому он поспешно свернул нашу беседу:

— Мы с тобой еще потолкуем по этому поводу как-нибудь в другой раз. А пока настрой аппаратуру.

Потом один из надзирателей отвел меня в камеру шестой секции, ставшую МОИМ ДОМОМ. Охранник, сопровождавший меня, был не из самых плохих. Он даже не дал мне пинка, когда открыл дверь камеры, а просто сказал:

— Давай, санны, забирайся в свой гадюшник.

Мои соседи по камере представляли самое изысканное общество, не обойденное вниманием разделов криминальной хроники газет и журналов.

Вообще-то эта камера рассчитана на троих. Нас же сюда захихнули вдвое больше. Такова повсеместная практика. Все роптали, но как-то устраивались, лежа чуть ли не друг на друге. Но в то воскресенье, хотите верьте, хотите нет, в нашу камеру захихнули еще одного заключенного. В это время мы как раз давились тюремной баландой, а трое уже потягивали травку на своих койках, когда нас вдруг осчастливили новым соседом. Прямо с порога этот визгливый, дерганый старичок лет под пятьдесят принялся причитать и жаловаться, сотрясая толстые прутья нашей клетки: «Я требую соблюдения моих гражданских прав! Эта камера переполнена! Это неслыханно!» И так далее в том же роде, духе и тоне. Сопровождавший этого громкоголосого брехуна (которого мы тут же окрестили Лаудспикером) надзиратель строго сказал, поигрывая дубинкой:

— Попроси, чтобы кто-нибудь подвинулся, а не то будешь спать на полу. Вас, подонков, все больше,

а тюремных мест все меньше и меньше. Я бы стрелял таких выродков. Хотя бы на удобрение сгодились.

Он в сердцах плюнул и вышел, захлопнув решетчатую дверь.

2

Именно появление в нашей камере этого нового шизика стало началом моего вызволения из Стаи. Лаудспикер оказался не только базарным, но и до предела гадким, подлым и развращенным типом. Неприятности с ним начались в тот же самый день. Ко всему прочему он был страшный хвастун и начал доставать нас всех по очереди. Он боустид, что является самым заслуженным преступником во всем нашем зверинце. Он и то, он и се, он одним махом пришил десяток забрал, и так далее и тому подобное. Всех просто тошнило от его рассказов. Потом он подступился ко мне, как самому молодому в камере. Нагло потребовал, чтобы я уступил ему свою койку, а сам спал на полу. Но все остальные были на моей стороне и строго предупредили его: «Кончай пристебываться к парню! Тысяча чертей в твою луженую глотку!» Он на время отвял и завел старую песню о том, что его никто не любит и не уважает. Однако ночью я почувствовал, как кто-то залез на мою и без того узкую койку и принялся меня гладить, гладить, гладить... Я хрюнул непрошеного любовника по роже и, хотя не мог рассмотреть его лица в темноте, понял, что это Лаудспикер.

С трудом вырвался я из его грязных лап, прыгнул вниз и включил свет. И точно, на моей койке сидела эта противная рожа, которую я раскровянил в ожесточенной схватке.

Мои соседи возмутились такой развращенностью. Большой Жид рассудительно сказал:

— Не дадим музыканта в обиду. Это нечестно.

— А ты заткнись, жидовская морда, — взвизгнул Лаудспикер.

Это было серьезным оскорблением. Большой Жид медленно встал и сделал шаг к обидчику. Но тут вмешался Доктор:

— Завязывайте, мужики. Вы что, хотите, чтобы копполы опять пустили в ход свои дубинки?

Конечно, этого всем хотелось меньше всего. Лаудспикер, ободренный неожиданной поддержкой, вконец обнаглел, заявив, что все кругом «шестерки», а он — босс. Видите ли, он делает нам одолжение, находясь с нами в одной камере.

— Видал наглецов, но таких... — не выдержал Джон. — Знаете что, други. Все равно нам теперь долго не уснуть. Не будем терять времени и преподадим этому вонючему ублюдку урок тюремной этики. Он сам напрашивается на то, чтобы мы поучили его хорошим манерам.

Большой Жид схватил нахала за руки и крепко прижал к прутьям решетки в том месте, где они освещались слабым красным светом. Лаудспикер хотел включиться на полную громкость, но точным ударом Уолл вогнал ему зубы в глотку. Его били жесточно и сосредоточенно, переговариваясь вполголоса, чтобы, не дай Бог, не услышали соседи и охранники. Брызгавшая во все стороны кровь разбудила во мне звериный инстинкт истребления. Растолкав сокамерников, я подступил к обидчику и сказал:

— Оставьте его мне, мужики. Я хочу с ним рассчитаться.

— Ну что ж, вполне справедливое желание.

Все отошли в сторону, а я принялся молотить поникшего нахала почти в крошечной темноте, получая от этого истинное наслаждение. Отработав кулаками, я свалил его на пол и нанес несколько ударов

¹ От английского *ludo* — настольная игра с бросанием костей. Здесь автор намекает на антигуманную игру судьбами людей. (Прим. пер.)

тяжелыми бутсами по голове. Он захрипел, как во сне, а Доктор сказал, оттаскивая меня:

— Ну ладно. Хватит. Это послужит для него хорошим уроком. Будет знать, как вести себя в приличном обществе.

Усталые, но довольные, мы залезли в свои койки и мигом заснули...

В коридоре, возвещая побудку, резко зазвенел звонок. Я с трудом продрал глаза и прикрыл их ладонью, пока не привык к яркому свету. Посмотрел вниз и увидел на полу нашу вчерашнюю подсадку, скорчившуюся в неестественной позе. Вокруг его головы запеклась лужа крови. Вспомнив, что произошло ночью, я спрыгнул с нар и пошевелил ногой окоченевшее тело. Порядком струхнув, я принялся тормошить Доктора, который очень тяжело просыпался по утрам. На этот раз он подскочил удивительно быстро. За ним проснулись и остальные.

— Какая жалость, — произнес Доктор, нащупав пульс покойного. — Должно быть, сердечный приступ. — Он осмотрел сокамерников и укоризненно добавил: — Тебе было вовсе не обязательно молотить его ногами по хэду.

— О чем ты болтаешь? — вступился Джожон. — Ты и сам не отставал, метеля его.

Большой Жид тяжело посмотрел на меня и сказал: — Сдается мне, что он отбросил копыта от твоих ударов, Алекс.

Такая постановка вопроса мне очень не понравилась, и я сердито сказал:

— Только не пытайтесь слить на меня воду. Кто все это начал? Я, что ли? Я присоединился к вам в самый последний момент...

— И выдал заключительный аккорд, — ехидно вставил Джожон.

— На твоём месте я бы помолчал, — огрызнулся я. — Чья была идея преподать ему урок? Моя, что ли?

Один Уолл продолжал храпеть, отвернувшись к стене.

— Да разбудите вы эту музыкальную шкатулку, — сказал я со злостью. — Ведь это он вколотил ему зубы в глотку, когда Большой Жид прижал его к решетке.

— Никто не отрицает, что все мы слегка подкинули ему, чтобы впредь он вел себя подобающим образом, — менторским тоном произнес Доктор. — Однако мы не собирались его убивать, и именно ты с присутствующим юности безмозглым азартом нанес смертельный удар. Очень сожалею, малыш, но отвечать придется тебе.

— Предатели! — взвился я. — Все вы подлые предатели и лживые вонючие хорьки!

Я понял, что повторяется история двухлетней давности, когда меня подставили, предали и передали в лапы копов мои друзья. Нет, в этом мире никому нельзя верить! Джожон разбудил Уолла, и тот, смекнув что к чему, с готовностью подтвердил, что Лауд-спикер сдох именно от моих ударов.

Один за другим в камере начали появляться надзиратели, потом старший надзиратель, потом сам Губернатор — начальник тюрьмы. Мои соучастники наперебой расписывали, как я убивал этого извращенца-испражненца, который теперь падлом лежал на полу.

На следующий день, часов в одиннадцать, испуганную тишину тюрьмы нарушили возбужденные голоса старшего надзирателя, Губернатора и еще одного очень важного с виду Чифа. Они несколько раз прошлись по коридору из конца в конец, продолжая начатую в кабинете начальника дискуссию. При этом наш всемогущий Губернатор почтительно повторял:

«Но, сэр... Извините, но... О'кей! Но что нам прикажете делать?».

Наконец, вся эта компания остановилась перед нашей камерой, и старший надзиратель открыл ее. Нетрудно было угадать, кто среди них главный. Это был высокий подтянутый мэн, возвышавшийся над толстеньким кругленьким Губернатором на целую голову. У него были пронзительные серо-голубые безжалостные глаза и такого же цвета великолепно сшитый сьют. В его манерах сквозила властность и уверенность в себе. Глядя как бы сквозь нас, он произнес хорошо поставленным войсом:

— Правительство более не намерено мириться с устаревшими мерами наказания. Собери преступников в общий загон и получишь общественную преступность. А концентрированная преступность неизбежно ведет к преступлениям в ходе исправления. Образец этого перед вами.

Чиф многозначительно посмотрел в мою сторону и продолжал:

— Но мы вырвем их из этого порочного круга. Тюрьмы нам еще понадобятся для политических противников. Обычных же нарушителей закона нужно лечить на чисто медицинской основе, убивая в них сам рефлекс убийства. Полное исправление в течение года. Вы видите, что они не страшатся ни наказания, ни кары господней. Поэтому каждый имеет по нескольку сроков. Им нравятся их наказания, и они начинают убивать друг друга.

Что-то мне в его словах здорово не понравилось, а поскольку он меня в упор не видел, я смело возразил:

— Позвольте, сэр, с вами не согласиться. К примеру, я не обычный преступник, так сказать, не профессиональный, и попал сюда по чистому недоразумению. Я бы сказал, несчастному случаю и неблагоприятному стечению обстоятельств.

Главный надзиратель покраснел как рак и угрожающе рявкнул:

— Закрой варежку, остолоп. Ты разве не видишь, с кем говоришь?

— Ничего, ничего, — снисходительно сказал Чиф, а потом добавил, повернувшись к Губернатору: — Вот его можно использовать как первопроходца. Он молод, нагл, бесшабашен, злобен. Завтра им займется Бродский, а вы станете свидетелем революционного эксперимента. Не беспокойтесь, все пройдет как нельзя лучше. Молодой негодяй изменится до неузнаваемости.

Эти решительные слова стали первым шагом к моему освобождению.

3

В тот же вечер я был нежно, пинками и подзатыльниками, препровожден в святая святых Стаи — офис самого Губернатора. Когда меня втокнули внутрь, Губернатор оторвался от лежавших перед ним на столе бумаг и долго смотрел на вашего покорного слугу печальными глазами больного спаниеля.

— Ты не догадываешься, что произошло сегодня утром, не так ли, 6655321? — спросил он грустно и, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Тот стальной рейнджер, который посетил нас сегодня, был не кто иной, как новый министр внутренних дел. Наобещав избирателям с три короба, он рьяно взялся за искоренение преступности. Новая метла по-новому метет. Так вот, это не метла, а стальной скребок. Он намерен повсеместно внедрить всякие новомодные штучки, последние научные достижения в области регуляции психики и модификации поведения. Лично я это крайне не одобряю, но приказ есть приказ. Буду с тобой предельно откровенен. Если тебя кто-нибудь

ударит, ты же дашь сдачи, не так ли? Почему же тогда государство, законы которого вы, преступники, постоянно нарушаете, не может ударить по вам в ответ? Конечно, я выражаюсь фигурально, имея в виду, что за каждым преступлением должно неотвратимо следовать наказание. Так было во все времена, у всех народов... А теперь мне говорят: «Нет! По новой концепции необходимо злого превратить в доброго, кроважного волка — в смиренного ягненка». Разве это возможно? Справедливо?

Решив, что вопрос адресован мне и Губернатор хочет знать мое мнение, я прокашлялся и начал светским тоном:

— Сэр, если вы хотите...

— Захлопни пасть, молокосос! — рявкнул стоявший рядом с Губернатором старший надзиратель. — Опять начинаешь хамничать и грубничать?

Я клацнул зубами и безразлично пожал плечами.

— Ничего, ничего, Борман, — успокоил его Губернатор и устало обратился ко мне: — Ты, 6655321, пойдешь на перековку. Завтра тебя передадут доктору Бродскому. После двухнедельной обработки по новой методе тебя выпустят на свободу. Ты перестанешь быть номером и пойдешь в огромный мир Алексом. Вот только каким?.. Ну как? Такая перспектива тебя устраивает?

На этот раз я предусмотрительно промолчал, но взбеленный старший надзиратель опять заорал:

— Отвечай, грязный поросенок, когда тебя спрашивает сам Губернатор.

Я опять пожал плечами и послушно ответил:

— Да, конечно, сэр. Большое спасибо, сэр. Видит Бог, я старался вести себя здесь примерно. Я очень благодарен всем, кто занимался моим перевоспитанием.

Я взял ручку и поспешно подписал свой приговор, боясь, как бы он не передумал.

— Ну что ж, парень. Ты сам выбрал свою судьбу, — задумчиво произнес Губернатор.

— С ним хотел переговорить тюремный капеллан, сэр, — сказал старший надзиратель.

— Валайте, — сделал умывающий руки жест Губернатор.

Наш капеллан сидел в своем офисе за конторкой. Приблизившись к нему, я обонял исходящую от него приятную вонь дорогого виски и злупухи. Увидев меня, он встрепенулся:

— А, это ты, маленький 6655321! Проходи, садись.

Он задумчиво посмотрел на меня. Я ответил выжидательным взглядом. Потом он заговорил очень искренне и чистосердечно:

— Прежде всего я хотел тебе сказать, что не имею к этому никакого отношения. Если бы я мог протестовать, то обязательно бы протестовал против того, что с тобой хотят сотворить. Но что мой слабый голос по сравнению с хором власть предержащих?! И потом, это означало бы конец моей карьеры. Надеюсь, ты меня понимаешь?

Я кивнул, хотя не очень-то понимал, к чему он клонит.

— Здесь затронуты очень серьезные этические проблемы, — продолжал священник. — С одной стороны, тебя трансформируют в очень порядочного покладистого парня. После лечения у тебя никогда в жизни не возникнет желания совершить насилие или нарушить общественное спокойствие каким-либо иным способом. Тебе все понятно?

— Конечно, сэр. Будет просто здорово снова стать добродетельным...

Я произносил эти слова, а самого внутри раздирали смех.

Но тут капеллан стал говорить очень странные вещи.

— Иной раз доброта — хуже воровства. Бывают ситуации, когда доброта, непротивление злу превращают тебя в преступника или в лучшем случае — в соучастника преступления. Наверное, это звучит парадоксально, особенно из уст служителя Бога. Мне еще предстоит провести много бессонных ночей. Что в конце концов нужно Богу? Доброты как таковой или же права выбора и добровольного перехода на сторону добрых сил? Человек, выбравший Зло, в определенной степени лучше того, кого принудили к Добру. Это глубокие философские и этические категории, маленький 6655321. Еще далеко не изученные. Я не смогу их сейчас тебе объяснить, потому что сам не разобрался в них до конца. Единственно прошу запомнить, Алекс-бой. Если когда-нибудь в будущем ты оглянешься назад на этот период твоей жизни и вспомнишь меня — слабого человека и покорнейшего из слуг господних, — не подумай, что в моем сердце была хоть капля зла и я приложил руку к бесчеловечному эксперименту... Тебя лишат основной движущей жизненной силы, позволяющей чувствовать то, что ты еще жив, — извечной борьбы заложенных в тебе доброго и злого начал. Ты станешь одномерным механизмом. И никакие мои молитвы не помогут тебе, так как ты будешь вне досягаемости моих молитв. Это страшная вещь, если вдуматься. И все-таки, согласившись на то, чтобы тебя лишили этического выбора, ты подсознательно стремишься на сторону светлых сил. Мне бы хотелось верить в это, как и в то, что Господь Бог поможет нам...

Кончив свою не очень-то понятную мне проповедь, капеллан заплакал, в то время как меня разбирал безудержный смех, и я с трудом сдерживался, чтобы не захохотать ему в лицо. Неожиданные слезы этого дурня я приписал действию «Белой лошади» и, наверное, был недалеко от истины. Не стеснялся меня, он вытирал из конторки ополовиненную бутылку с гривастой лошадиной головой на этикетке и налил на три пальца в грязный стакан. Засадив вискарь одним глотком, он произнес, как бы разговаривая сам с собой:

— А может быть, все обойдется и я зря беспокоюсь? Пути Господни неисповедимы...

На следующее утро я распрощался со старой Стаей и сделал это с печалью, ибо грустно расставаться с местом, к которому привык, даже с таким пакостным. Но далеко я не ушел, други мои. Меня препроводили в белые корпуса здесь же, на территории тюрьмы, неподалеку от спортивной площадки. Здания были совершенно новые, со специфическим холодным запахом, заставившим меня невольно поежиться. Как потерянный, стоял я в неудобном огромном зале без окон, без дверей, дегустируя чуждые запахи — стерильную смесь больницы, новостройки и неизведанности. Откуда-то из потайной боковой двери вышел человек в белом халате и молча расписался в квитанции, будто за посылку. Доставивший меня охранник предупредил, кивнув в мою сторону:

— С этим типчиком будьте поосторожнее, док. Он как был, так и остался насильником и убийцей, несмотря на то, что сумел подхвять к нашему капеллану и усердно мусолил Библию.

У доктора были веселые, насмешливые голубые айзы. Когда он говорил, его тонкогубый рот растягивался в смайл, который невозможно было истолковать. Так вот, он сказал:

— О, мы не будем больше безобразничать, правда, Алекс? Мы будем друзьями.

Его лицо озарилось такой белозубой, доброй, открытой улыбкой, что я сразу проникся к нему симпатией. Охранник ушел, и мой новый френд передал меня какому-то менее важному человеку в халате, а тот отвел в очень хорошую, чистую, светлую спальню со шторами на окнах и настольной лампой

на прикроватной тумбочке. Оставшись один, я радостно рассмеялся, подпрыгивая на новом пружинистом матрасе. Какой же ты все-таки счастливчик, Алекс!

С меня сняли ужасную арестантскую одежду и выдали красивую шелковую пижаму в цвет постельному белью. Поверх пижамы я надел теплый шерстяной халат и войлочные тапочки прямо на босу ногу, не переставая удивляться, какое счастье мне подвалило. Пока что мне все здесь нравилось. Впервые за многие месяцы симпатичный санитар с фигурой культуриста принес большущую чашку ароматного дымящегося кофе и свежие газеты. Я с жадностью набросился на них и не заметил, как в комнату вошел тот, первый улыбчивый мэн, расписавшийся в моем получении.

— Ага, вот ты где! — с наигранной веселостью воскликнул он, будто только сейчас нашел меня. — Меня зовут доктор Брэном. Я помощник профессора Бродского. С твоего позволения я проведу обычный медицинский осмотр. — Он вытащил блестящий стетоскоп из нагрудного кармана. — Надо убедиться в том, что ты абсолютно здоров... физически. Согласен?

Еще бы я не был согласен! Я с готовностью скинул верх пижамы и проделал все, что мне приказывал, нет, скорее просил, любезный док. Наконец, любопытство взяло верх, и я поинтересовался:

— Что вы собираетесь со мной делать, сэр?

— О, ничего особенного, — легко ответил док, шаря стетоскопом по моей голой спине, словно минер миноискателем. — Наша методика очень проста, как все гениальное. Мы просто будем показывать тебе фильмы.

— Фильмы? — искренне удивился я. — Вы хотите сказать, что мы с вами будем смотреть обычное кино?

— Не совсем, — спокойно ответил Брэном. — Это очень специфические фильмы. После обеда первый сеанс. — Он ободряюще похлопал меня по плечу. — Ты вполне здоровый молодой человек. Только немного отощал на тюремной пище, если ее можно так называть. Ну, ничего, мы тебя подкормим. Можешь надевать пижаму. — Он присел на край кровати. — После каждой еды мы будем делать тебе укол, способствующий восстановлению сил.

Меня захлестнула теплая волна благодарности этому человеку, приятно во всех отношениях. Я понимающе улыбнулся и спросил:

— Наверное, какие-то витамины, сэр?

— Н-да... Что-то в этом роде. Один укольчик в руку после завтрака, обеда и ужина.

Доктор вышел, а я улегся на прохладные хрустящие простыни, ощущая себя на седьмом небе, и принялся листать «Уорлдспорт», «Синни» (журнал о новостях кино) и «Гоал» («Цель»). Просмотрев журналы, я блаженно закрыл глаза и погрузился в мечты о том, как будет здорово, когда я выйду на волю. Найду какую-нибудь непыльную дневную работенку, так как мое образование можно считать законченным. Сколочу новую банду и перво-наперво достану этих подонков — Кира и Пита, если их уже не заграбастали копполы. На этот раз буду более осторожным, чтобы меня опять не упаковали. Добрые люди дают мне шанс, несмотря на совершенное убийство и все прочее. Будет просто глупо, если меня опять отловят после лечения всеми этими кинофильмами, с помощью которых я стану опять хорошим мальчиком. В душе я потешался над наивностью всех этих доброжелателей и не смог скрыть улыбки от уха до уха, когда тот же самый «культурист» принес на подносе завтрак для Его Величества Александра Великого.

Санитар изучающе посмотрел на меня и сказал:

— Приятно видеть счастливого человека.

Он поставил поднос и молча удалился. После арестантской жратвы передо мной стояла пища богов: три добрых ломтя ростбифа с пылу-жару, картофельное пюре с овощами, фруктовое мороженое и огромная чашка крепкого дымящегося чая. На подносе даже лежали дорогая злопахоль и коробок спичек с одной спичкой. Вот это жизнь! Вот это я понимаю!

Примерно через полчаса, когда я расслабленно лежал на кровати, с упоением ковыряя спичкой в зубах, в комнату вошла симпатная молоденькая цыпочка. На ней был белый халатик, перетянутый в тонкой талии пояском. А какие у нее были груди! Я ни разу не видел таких за два года пребывания в тюрьме. В руках у нее был блестящий поднос, на котором лежал наполненный шприц.

— А вот и витаминчики! Может быть, ты сделаешь мне укольчик в попку, крошка?

Она никак не отреагировала. Бесстрастно засадила мне иглу в левую руку и направилась к двери, дразня меня точеными ножками. Едва она вышла, как появился мой медбратишка с носилками-тележкой. Это меня удивило, и я спросил:

— Послушай, дружище. Зачем же инвалидная коляска? Я прекрасно могу передвигаться на своих двоих.

— Нет, уж лучше тебе лечь сюда, парень, — возразил медбрат.

И действительно, когда я встал с кровати, то почувствовал странную слабость и головокружение. «Проклятые рудники», — подумал я, с трудом укладываясь на тележку, — подточили силы железного Алекса. Ну, ничего! Витаминами быстро помогут мне обрести былую форму. А теперь посмотрим киношку».

4

Меня откатали в самый необычный кинозал, который я когда-либо видел. Правда, одна стена представляла собой большой шелковый экран, а в противоположной стенке черными ртами зияли две квадратные амбразуры, из которых торчали дула проекционных аппаратов. Повсюду были понатыканы стереодинамики, как у меня дома. Но на этом сходство с обычным кинозалом кончалось. Так, на правой стене располагалась панель со множеством разных сенсоров, датчиков и индикаторов, от которых к центру комнаты тянулась паутина всевозможных проводов. Посередине зала, напротив экрана, одиноко стояло кресло, похожее на кресло дантиста. Не без помощи медбрата я слез с коляски и уселся в это страшное кресло. Беспокойно завертев головой по сторонам, я заметил под амбразурами небольшие оконца с морозчатыми стеклами, за которыми кто-то осторожно покашливал: «Кашль-кашль-кашль...». «Что же со мной происходит? — пронеслось в голове. — Наверное, так называется переход на обильную пищу и витаминь».

— Я тебя на время покину, — сказал медбрат. — Сиди спокойно. Сеанс начнется через несколько минут, сразу же как придет доктор Бродский. — Он как-то странно усмехнулся. — Надеюсь, кино тебе понравится.

Сказать по правде, други мои, мне уже было не до кино. Единственное, что я хотел, так это подавить подушку минут эдак шестьсот. Мне очень не нравилось мое полувзвешенное, полубормочное состояние. Откуда-то из темноты материализовался незнакомый человек в белом халате, сингинг какой-то пошленький шлягер. Он бесцеремонно притянул мою хэд ремнями к подголовнику так, что я не мог ее повернуть и сидел, уставившись в экран, как баран на новые ворота.

— А это еще для чего?! — запротестовал я.

Медмэн¹ на минуту перестал мурлыкать свой глупый сонг и терпеливо объяснил, что это сделано для того, чтобы я не отворачивал свой фейс от экрана.

— Но с какой стати я буду его отворачивать? — искренне удивился я. — Ведь я же сам, добровольно, согласился смотреть кино. Я его очень люблю...

Тут другой медмэн (а всего их было трое, включая девицу, манипулировавшую ручками на приборной панели) издал неприятный смешок и двусмысленно произнес:

— Смотря какое кино. — Потом, спохватившись, добавил: — Не волнуйся, парень. Так надо.

И тут они ловко притянули ремнями мои руки и ноги к подлокотникам и ножкам кресла. Потом установили его под углом в сорок пять градусов к экрану. Все это было любопытно и очень странно. Ну, да Бог с ними! Пусть делают, что хотят. Лишь бы выпустили через пару недель, как обещали.

Однако больше всего мне не понравилось, когда они принялись подсоединять ко мне какие-то датчики, а потом с помощью сильных зажимов притянули кожу со лба к затылку, мои веки полезли на лоб, а глаза выпучились, будто у мороженого судака.

Теперь я не мог закрыть глаза, как бы ни старался. Я вымученно рассмеялся и заметил:

— Наверное, это какой-то очень клевый фильм, если вы так беспокоитесь о том, чтобы я его посмотрел.

— Ты прав, парень, — рассмеялся в ответ один из медмэнов. — Отличный фильм ужасов. Надеюсь, он тебе понравится.

Тут они надели мне на голову стальную каску со множеством проводов, а на животе установили присоску с метрономом и толстым кабелем, чей конец терялся где-то на панели.

Наконец все приготовления закончились, и в зал вошел какой-то важный чиф. Я понял это по разом смолкнувшему голосам медмэнов. И тут я впервые увидел доктора Бродского. Это был толстяк маленького роста, но с огромной полуголой-полукучерявой головой. На лице большие очки в роговой оправе, оседлавшие темно-бордовый, как у индюка, нос. На докторе был прекрасный сыют, скрадывавший все дробэкс его фигуры, и исходил очень специфический запах парикмахерской и операционной. Вошедший вместе с ним д-р Брэном ободряюще мне улыбнулся.

— Все готово? — начальственным тоном спросил доктор Бродский.

Отовсюду раздались утвердительные ответы, и тут же послышалось слабое жужжание многочисленных приборов. Свет в зале погас совсем, и ваш покорный рассказчик оцепенело уставился на высветленный экран, не в силах пошевелиться или оторвать от него взгляд. И тут, друзья мои и братья, началась демонстрация кинофильма, сопровождавшаяся оглушительной какофонией диссонирующей музыки, лавиной обрушившейся на меня из всех лаудспикеров. Перед моими глазами замелькали кадры без названий и титров.

Ночь. Пустынная улица, какую можно найти в любом городе. Ярко горят оборванцы-фонари. Зловещая музыка нагнетает атмосферу безотчетного страха, сменяющегося звериным ужасом. По улице бредет старый согбенный человек, и вдруг, откуда ни возьмись, на него набрасываются два парня и принимают методично его избивать. Крупным планом его обезумевшее от боли и страха лицо, по которому струится ярко-красная кровь. Все выглядит очень натурально, как бы снятое скрытой камерой.

Вырывающиеся из лаудспикеров стоны, вопли избиваемого и ожесточенное сопение хулиганов еще более усиливают эффект. Развлекающиеся бойзы, в которых мне чудятся Кир и Джоша, на глазах превращают бедного старикана в сплошное кровавое месиво, довершая свое грязное дело ударами кованых буют по безжизненному телу. Леденящий душу хруст костей. Убийцы бросают труп (в том, что он — труп, у меня нет никакого сомнения) в придорожную канаву и скоренько сматываются. Заключительный кадр этого эпизода выхватывает обезображенное лицо трупа.

С первых кадров этого, с позволения сказать, фильма где-то в глубине моего существа зарождается и медленно нарастает омерзительное ощущение — как будто я проглотил скользкую холодную жабу и она плавает у меня в желудке. Появление этого странного чувства я приписал долгому недоеданию и неспособности моего желудка к жирной обильной пище и к введенным накануне витаминам. Я попытался подавить новое ощущение и переключил внимание на второй эпизод, следовавший сразу же за первым. Теперь те же мальчики отловили где-то молоденькую девчонку и, сорвав с нее одежду, по очереди делили с ней знакомое «туда-сюда-туда-сюда». Откуда-то подгребали все новые и новые парни, и она все шла и шла по кругу, рыдая и вызывая о помощи. Но френды только весело смеялись, наслаждаясь ее страданиями. Нечеловеческие вопли бедной герлы, казалось, вливались прямо мне в душу. Им вторила полная трагизма симфомузыка. Все выглядело очень натурально, я невольно подумал, что это, должно быть, документальные кадры или же мастерски сделанный монтаж. Во всяком случае, никто из актеров не согласился бы сыграть такое. В тот момент, когда к герле приступил шестой или седьмой озверевший бой и из лаудспикеров снова раздалась ее душераздирающие крики, я почувствовал себя по-настоящему больным. Накапливавшаяся внутри боль взорвалась и заполнила каждую клеточку моего организма. Я рванул, но ремни держали крепко. Хотел выблевать их паскудный завтрак — и не мог. После этого эпизода раздался резкий, неприятный голос доктора Бродского, бесстрастно констатирующий: «Коэффициент реагирования выше двенадцати с половиной. Неплохо. Со всем неплохо».

На экране появился следующий кадр. На этот раз это было просто человеческое лицо, мертвенно-бледное и все-таки живое. На моих глазах оно подвергалось ужасным трансформациям. Кто-то, находившийся за экраном, с садистским наслаждением измывался над своей жертвой. Я страшно вспотел. И без того невыносимая боль стала еще сильнее. Очень хотелось дринк, казалось, язык намертво присох к гортани. Я больше не мог этого вынести. Если бы только можно было отвернуться от экрана! Тогда бы моя попытка закончилась. Но я не мог даже закрыть глаза. Все мое нутро взбунтовалось, и начались икота и рывательные спазмы, когда я увидел, как бритва полоснула сначала по одному глазу, и он медленно вытек, потом по другому... Потом начала резать щеки, губы, нос... Яркая алая кровь брызнула в камеру, казалось, что прямо мне в лицо, и я физически ощутил ее тепло. Но это было еще не все. Кто-то невидимый принялся плоскогубцами выворачивать зубы. В общей агонии смешались ужасная боль (моя и жертвы), стоны, всхлипы, хрипы, пот, слезы и кровь, кровь, кровь...

Откуда-то издалека в мое помутившееся сознание проник спокойный, довольный голос главного экзекутора: «Превосходно! Великолепно! Даже лучше, чем я ожидал!» Следующий отрывок этого бесконечного фильма ярко напомнил мне один из эпизодов моей

¹ Скрытая игра слов. madman (англ.) — сумасшедший и (medical man) — медик. (Прим. пер.)

прошлой жизни: группа разбушевавшихся тинэйджеров в безумном безудержном веселье громила магазинчик какой-то беспомощной старухи. В былые времена это называлось у нас шоппингом. Женщина ползла в луже собственной крови, волоса за собой сломанную ногу, как старая птица перебитое крыло. Покрушив все что можно, развеселившиеся бойзы подожгли лавку, и я увидел агонизирующее лицо ее хозяйки, сжигаемой заживо, и даже почувствовал запах горелого человеческого мяса. Тут я не выдержал и заорал благим матом:

— Мне плохо! Меня тошнит, мать вашу... Дайте мне куда-нибудь выблестаться!

— Все нормально. Это тебе только кажется. Сейчас будет заключительная серия, — успокоили меня, и в зале раздался смех.

Если это был юмор, то я бы назвал его черным, так как на экране стали показывать самые изощренные пытки, применявшиеся японцами во время второй мировой войны. Я видел солдат, прибитых гвоздями к деревьям, под ногами которых были разложены костры. Видел, как им отрезают гинеталии и отсекают головы короткими самурайскими мечами, и они катятся, катятся, не переставая издавать леденящие душу звуки. Из обезглавленных туловищ хлещет кровяца, а японцы с хохотом фотографируются на память...

— Прекратите! Пожалуйста, прекратите! Я больше не могу этого вынести! — взмолился я, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание.

— Прекратить? Ну зачем же, Алекс-бой? Мы только начали, — раздался издевательский голос доктора Бродского, а остальные засмеялись, как те японцы...

Наконец пленка кончилась, и Главный Садист произнес, удовлетворенно потирая толстые ручонки:

— Для первого раза достаточно. Как ты считаешь, Брэнном?

Симпатия Брэнном лишь улыбнулся своей кроткой светлой улыбкой.

— Ну вот и хорошо, — сказал Бродский. — Можете отвезти пациента в его палату. — Он подошел ко мне и отечески похлопал по плечу. — Все идет отлично, парень. Очень многообещающее начало.

Доктор Брэнном одарил меня «я-тут-ни-при-чем» улыбкой, и я теперь не знал, что о нем и думать. Меня отвязали, сняли железный обруч с раскаляющейся головы и ужасные зажимы с воспаленных глаз. Пересадили в коляску, и медмэн покотил меня по длинным коридорам, напевая какую-то пошлятину про «красотку Мэри».

— Заткнись, пока я тебе не дал в нух! — раздраженно гаркнул я. Он только снисходительно похлопал меня по плечу и запел еще громче. Я чувствовал себя преподобнейше, как изнасилованный, и заорал, выплескивая все свое презрение к этой белохалатовой сволочи.

После этого мне полегчало. Меня обмыли, помывали одежду и уложили в постель. Принесли большую чашку крепкого чая со сливками и массой шугера.

Наверное, это был кошмарный сон, и все это было не со мной...

В палату робко вошел доктор Брэнном. Лицо его излучало доброжелательность.

— Ну, как наши дела, друг мой? — бодренько спросил он. — По моим расчетам, ты уже должен был прийти в норму.

— Это по вашим... — обиженно буркнул я.

Сделав вид, что не замечает моего враждебного тона, Брэнном присел на край бэд и с энтузиазмом произнес:

— Доктор Бродский очень доволен тобой. У тебя поразительная положительная реакция, с очень вы-

соким коэффициентом. На завтра запланировано два сеанса: утром и вечером, — обрадовал он меня. — Конечно, к концу дня тебе будет мутно. Но ничего не поделаешь. Придется потерпеть, если хочешь вылечиться от синдрома насилия. Клин клином вышибают, знаешь ли... Главное — выработать иммунитет против агрессии.

— Вы что, совсем с катушек слетели?! — возмутился я. — Неужели вы хотите заставить меня смотреть эту порнографию по два раза на день? Побойтесь Бога! Ведь это ужасно!

— Конечно, ужасно! — с улыбкой согласился доктор Брэнном. — Но ведь раньше ты думал по-другому? Это первые плоды твоего лечения. Ты осознал, что любое насилие — ужасно. Постепенно у тебя вырабатывается физическое отвращение к нему. Весь твой организм будет восставать при одной только мысли о насилии.

— Меня уже начинает выворачивать при виде этих ужасных сцен. Раньше со мной не было ничего подобного. Как раз наоборот. Ничего не понимаю...

— Жизнь — удивительная штука, — голосом пророка изрек доктор Брэнном. — Кто способен до конца постичь скрытый смысл жизненных явлений и процессов, тайную механику и неизведанные возможности человеческого организма? Доктор Бродский, конечно, замечательный человек, и его метода — великое достижение человеческого гения. То, что происходит с тобой, и должно происходить с любым нормальным психически и здоровым физически человеческим организмом перед лицом воздействия сил Зла, исповедующих принцип разрушения. Мы перетягиваем тебя на сторону Добра, и перетянем, хочешь ты этого или не хочешь...

— А на фига мне такое лечение, от которого мне все хуже и хуже? — искренне возмутился я.

— Чтобы выздороветь, нужно переболеть. Очищение через страдание. Все вполне логично и в духе христианской морали.

Он встал, ободряюще похлопал меня по ноге и вышел, оставив наедине с моими сомнениями. По его словам выходило, что все эти гнусные фильмы, препараты и аппараты служили для моей же пользы. Я так толком и не решил, сопротивляться ли завтра, когда они попытаются подсоединить их ко мне или сделать инъекцию, устроить красивый файтинг или же смириться со своей судьбой. Да, собственно говоря, кто они такие, чтобы определять мою судьбу!

6

— Прекратите! Кончайте! Завязывайте! — орал я как сумасшедший. — Я больше не могу! Сжальтесь!

Это происходило на следующий день, и хотя все утро я старался быть примерным послушным мальчиком, под конец не выдержал и начал костерить своих мучителей многоэтажным трущобным матом, начисто забыв о присутствии в зале представительницы прекрасного пола. Как и во время первого сеанса, я сидел, прикованный к креслу пыток, и вынужденно таращился на экран, на котором мелькали полные грубого натурализма кадры. Поначалу в них не было ничего страшного. Несколько веселых ребят лихо потрошили какую-то лавку, набивая карманы деньгами и всякой всячиной и пуская кровь слабо сопротивлявшейся старой жидовке-хозяйке. Но когда из ее разбитого рта, носа и ушей потекла кровь, я ощутил зловещие симптомы, мучившие меня в течение последних суток. Постепенно они переросли в нестерпимую боль, и я задержался в кресле, тщетно пытаюсь освободиться.

— Превосходно! Высший класс! — возрадовался д-р Бродский, не обращая внимания на проклятия

в свой адрес.— Все идет как надо. Еще немного, и мы закончим.

Перед моими глазами замелькали кадры немецкой военной кинохроники, предваряемые свастикой, штандартами и хищным орлом. По дымным улицам разбомбленных городов вышагивали высокомерные, надменные гусаки-нацисты. Упитанные самодовольные мордовороты, орудия прикладами, выгоняли из развалин редких, насмерть перепуганных жителей. Вот они уже голые стоят на краю рва и падают в него, скошенные пулеметной очередью,— женщины, дети, старики. Озверевшие солдаты добивают раненых и крючьями стаскивают их в ров... Ходячие скелеты... дымиющиеся печи крематориев жадно заглатывают все новые и новые жертвы... кучи человеческих костей... улыбающиеся немецкие бургеры, удобряющие поля человеческим пеплом... сувениры из черепов и натуральной человеческой кожи...

Я мечусь, задыхаюсь, как будто расстреливают меня, сжигают меня, сдирают мою кожу... Все эти варварские сцены сопровождаются громкой музыкой моего любимого Людвигу Ивана Бетховена, кажется, его «Пятой симфонией». И это ужасно вдвойне. Богохульники! Я негодую и гневно кричу:

— Сейчас же прекратите, вы, исчадия ада! Фашисты! Для вас нет ничего святого. Это же грех, грех, грех!

Еще минута-две. На экране снова свастика и крупно: «КОНЕЦ».

Загорелся свет, ко мне подошли д-р Бродский и д-р Брэном. Бродский был чем-то озадачен.

— Что это ты там верещал насчет греха, парень?

— А то, что вы не вправе использовать божественную музыку Бетховена в ваших гнусных фильмах,— злобно отвечаю я, проглатывая противную горькую слюну.— Он никому не причинял вреда. Просто писал потрясающую музыку.

Тут мне стало совсем худо, и мне живо принесли судно в форме почки.

— Музыка, говоришь...— задумчиво произнес Бродский.— Я и не знал, что ты у нас меломан. То-то я поражаюсь твоему необычайно высокому коэффициенту реагирования. Значит, музыка может быть полезным и очень эффективным эмоциональным возбудителем. Как мы с тобой выпустили это из виду, Брэном?

— Ничего не поделаешь, малыш,— сказал Брэном.— Каждый человек убивает то, что любит, как сказал философ. Может быть, поэтому мы так жестоки и бессердечны по отношению к своим близким. Вероятно, в этом есть элемент наказания. Божьей кары, если хотите...

— Хватит философствовать! Ради Бога, дайте мне чего-нибудь попить.

— Развяжите его,— распорядился д-р Бродский,— и принесите холодного лайм-джуса.

Меня освободили, и я долго пил ледяной джус с водой и никак не мог напиться. С интересом наблюдая за мной, д-р Бродский заметил:

— А ты довольно интеллигентный молодой человек, Алекс. И не лишен вкуса. И как только в тебе уживаются две такие противоречивые вещи: насилие и музыка? Хотя самые отъявленные из фашистских преступников тоже считали себя интеллигентными людьми и обожали классическую музыку... Да, насилие и разбой: второе как один из аспектов первого...

Я молчал, постепенно приходя в себя.

— Кстати, как ты относишься к нашему курсу лечения? Что, по твоему мнению, мы с тобой делаем?

— Заставляете меня страдать, показывая эти садистские фильмы,— выпалил я.— Подозреваю, что в этом повинны не одни только фильмы. Однако уверен, что перестану болеть, как только вы перестанете

мне их показывать.

И тут меня осенило! Как я раньше до этого не дотумкал? Ну, конечно же! Во всем виноваты эти «витаминчики», которые они мне упорно засаживали после каждого фуда.

— Теперь я понял, грязные обманщики!— вскричал я.— Как это подло с вашей стороны проделывать со мной такие бесчеловечные трюки! Ну, уж теперь-то я не попадусь на вашу удочку. Отныне никаких уколов!

— Я ждал, что ты затронешь эту тему,— невозможно произнес д-р Бродский.— Давай договоримся раз и навсегда. Мы можем вводить тебе препарат Лудовико разными путями. Скажем, орально в виде таблеток или подмешав его в пищу. Но подкожное введение — самое эффективное. И не противься этому... если хочешь поскорее вылечиться и выйти на свободу. На твоём месте я бы лучше сотрудничал с нами во всем... Две недели и двенадцать лет. Подумай!

— Коварные подонки,— прошептал я еле слышно.— Вы загоняете меня в угол. Черт с вами! Я не против ваших изуверских методов. Только музыку оставьте в покое. Было бы верхом несправедливости, если бы я каждый раз помирал, слушая Людвигу Ивана, Генделя и других. Хотя вы и беспринципные сволочи, у которых нет ничего святого, но вот этого я вам никогда не прощу.

Они напряженно раздумывали над моими словами. Эти бронтозавры были непробиваемы. Наконец, д-р Бродский изрек:

— Определить ту единственно верную грань труднее всего. Мир один, и жизнь одна. Даже самые богоугодные деяния порой связаны с насилием. И такие высокие категории, как Любовь, Музыка, не являются исключениями. Взять хотя бы сам либес акт. Придется рискнуть, тут ничего не поделаешь... Ты сделал свой выбор, парень.

Я не совсем понимал все эти премудрости, но поспешил согласиться:

— Можете не продолжать, сэр.— Я решил подпнуть ему и посмотреть, что из этого получится.— Вы убедили меня в том, что весь этот драгсинг, жестокость и ультранасилие — страшное преступление против человечества. Я усвоил преподанный вами урок, сэры. Вы открыли мне айзы, и я излечился, слава Богу...

Я упибал своим красноречием, представляя Авраама Линкольна и Мартина Лютера Kinga в одном лице, но мои разглагольствования прервал въедливо-недоверчивый смех д-ра Бродского:

— Тебя послушать — ну ни дать ни взять кающаяся Магдалина,— с издевкой произнес док (и почему они все время сравнивают меня с этой библейской курвой?).— Ты прав: покаяние — это важная морально-этическая категория. Но ты для этого еще не созрел. Позволь уж нам решать, что для тебя лучше... Однако выше голову, парень. Ты на пути к реабилитации и менее чем через две недели превратишься в качественно новую личность. И не через какое-то там абстрактное покаяние, а благодаря последнему достижению медицинской науки.

Он сказал «две недели», но они, о друзья мои и братья, показались мне дольше века. За это время я прошел весь путь человечества от сотворения мира и до его далекого будущего. Клянусь мамой, четырнадцать лет в Стае показались бы санаторием по сравнению с тем, что мне пришлось пережить за эти проклятые форнтайт.

Сюжеты повторялись с убедительным постоянством: изнасилования, пытки, концлагеря, расстрелы и всевозможные экзекуции с повешением, обезглавливанием и обезчленением. С каждым днем во мне росло отвращение и желание умереть, чтобы не ви-

деть всего этого. В одно утро я не выдержал и попытался натянуть ноуз моим торчерам. Разбежался и впендюрился башкой в стену. Но и тут они одержали верх, так как я увидел насилие над собой как бы со стороны и тут же начал кидаться съеденными за завтраком стейками.

Еще через два дня я проснулся, как ни странно, без обычной головной боли. С аппетитом заглотил яйца, тосты, густой чай и принялся терпеливо ждать сестру милосердия с ее чертовым шприцем. По моим грубым прикидкам, до окончания двухнедельного срока оставалось не более трех дней. Выдержу! Не сдохну назло всем им!

Шло время, а стерва в халате все не шла и не шла. Вместо нее в палату зашел улыбочивый медмэн и сказал с приятным смайлом:

— Сегодня, дружище, пойдешь самостоятельно.

— Пойду? Это еще куда? — удивился я.

— Куда обычно, — ответил он, забавляясь моим искренним недоумением. — Да, да. Не удивляйся. На сегодняшний сеанс пойдешь сам. Я, конечно, буду тебя сопровождать, но с инвалидными колясками отныне покончено.

— А как же насчет этой гипердерьмовой инъекции?

Я действительно был поражен, так как они придавали огромное значение модификатору Лудовико.

— Эта процедура закончена, — усмехнулся медбрат. — Может быть, ты против? Ах, не против? Ну, смотри... Теперь все зависит только от тебя самого. Правда, на первый раз мы пристегнем тебя к пыточному креслу... На всякий случай... а там посмотрим. Ну, так ты идешь?

Я накинул халат, вдел ноги в мягкие шлепанцы и смело проследовал в обитель маркиза де Сада.

Во время этого сеанса я напряженно прислушивался к собственным ощущениям. С первой же сцены насилия (взвод оголтелых эсэсовцев натуралистически вырезал какую-то польскую семью, зверски насилая мать и грех ее малолетних дочерей на глазах у распятых отца и братьев) у меня появились обычные симптомы: темные круги перед глазами, тошнота, ужасные спазмы и страшное жжение во рту. Не в силах оторваться от экрана, я тем не менее отчетливо сознавал, что на сей раз все это происходит со мной естественным путем, а не под воздействием стаффа Лудовико. Неужели они инфицировали мне эту гадость на всю оставшуюся жизнь? Скоты! Ублюдки! Фашисты!

От такого открытия я заплакал как литл бэби, но медмэны быстро подскочили ко мне и вытерли слезы платками, чтобы, не дай Бог, я не пропустил творящихся на экране зверств.

После ужасного открытия я впал в глубочайшую депрессию. Лежа ночью в кровати, я проклинал свое легкомысленное согласие подвергнуться бесчеловечному эксперименту. Уж лучше бы отволок срок в милую, родную Стае. «Нет, нужно что-то предпринять, пока они совсем не доконали меня. Ведь должен же быть какой-нибудь выход?». Лихорадочно перебирал я в уме возможные варианты побега. У меня не было ничего, что я мог бы использовать в качестве оружия. Они предусмотрительно изъяли все режущие и колющие предметы. Каждое утро меня брил один толстый лысый мэн, но при нем постоянно находились два дюжих брата милосердия, зорко следивших за каждым моим движением. Ногти мои были коротко острижены, чтобы я не мог царапаться (хорошо, что зубы не подпилили!). Но я еще не растерял свои драццевые навыки и вполне мог бы выключить пару охранников. Наконец в голову мне пришла вроде неплохая идея. Я вылез из бэда, подошел к дор и стартид громко барабанить в нее кулаками, вопя как

угорелый: «О, помогите кто-нибудь! Ради Бога! Мне плохо, я умираю. На помощь!» Я чуть не осип, когда, наконец, за дверью послышались чьи-то шаги и ворчливый голос медбрата, который обычно приносил мне фуд.

— Что тут происходит? Что это такое ты еще надумал посреди ночи?

— У-ми-р-а-а-ю! — простонал я. — Страшно колет в боку. Боюсь, что это аппендицит. О-о-о!

Он с опаской вошел в комнату, озадаченно глядя по сторонам. Я же притаился за дверью с твердым намерением не упустить свой шанс. Сделав шаг вперед, я уже поднял «утку», намереваясь врезать ему по затылку, и вдруг живо представил, как он будет корчиться на полу, прежде чем я завершу дело ногами... и тут на меня накатил волна неукротимой боли и безотчетного страха, и меня начало корезить, как припадочного. Шатаюсь и издавая рыгательные звуки, я сделал несколько шагов к кровати и рухнул на нее с таким ощущением, будто вот-вот умру.

Мой страж в ночном колпаке и длинной рубашке посмотрел на меня со злорадным любопытством, прекрасно понимая, что со мной происходит, и с издевкой произнес:

— Пусть это послужит тебе еще одним уроком, козел безрогий. Ну, чего же ты скис? Вставай и ударь меня. Ты же это задумал, вонючий ублюдок? Вот тебе моя честь. Двинь по ней!

Он склонил надо мной ухмыляющееся лицо. Но я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, не причинив себе нестерпимой боли.

— Дерьмо! Теперь ты — кусок дерьма! — с презрением сказал санитар.

Он сгреб меня за грудки, приподнял, как безвольную тряпичную куклу, и звонко отхлестал по мордасам, приговаривая:

— Это тебе за то, что выдернул меня из постели среди ночи.

Удовлетворенно потер руки, вышел и щелкнул ключом. Я же поспешил спрятаться во сне, и последняя моя мысль была о том, что лучше быть избитым самому, чем поднять на кого-нибудь руку.

Мне снилось, что я подставляю обидчику вторую щеку.

7

Я не мог поверить своим ушам, други мои, когда они сказали это. Мне уже казалось, что две недели, о которых они постоянно талдычили, никогда не кончатся. И вдруг...

— Завтра мы тебя выпускаем, парень. Так сказал доктор Бродский. — Тот мэн, что отхлестал меня по щекам однажды ночью, показал большим пальцем куда-то вверх, как будто там был рай и жил сам господь Бог. — Но сегодня тебе предстоит еще одно, последнее испытание. Что-то вроде выпускного экзамена.

Он злорадно ухмыльнулся и сделал загадочную рожу. Мне уже было на все наплевать. Я приготовился отправиться в комнату ужасов, как обычно, в пижаме и шлепанцах. Ан нет! На этот раз они выдали мне мою вольную одежду — тщательно выстиранную и отутюженную. Но самым удивительным было то, что мне даже вернули мою бритву — верную спутницу ночных походов в былые времена.

Я сосредоточенно переоделся, пытаясь угадать, какую еще бяку они мне приготовили. Меня провели в зал, который заметно преобразился. Пыточное кресло убрали, а вместо него расставили десятка два удобных мягких стульев. В полутьме я отметил, что большинство из них занято публикой, среди которой было много знакомых фейсов: начальник Стаи 84F (он

же Губернатор), красномордый капеллан, главный охранник и даже тот Биг Чиф — безукоризненно одетый министр внутренних дел. Среди белых халатов мелькали еще какие-то люди, но я их не знал.

Среди них валяющего прохаживались доки Бродский и Брэном, одетые, как именные. Это был их Великий день, и они с удовольствием разыгрывали из себя радушных хозяев.

Когда меня ввели, д-р Бродский (который скорее походил на преуспевающего дельца) широко раскинул толстенные ручки и радостно произнес:

— А вот, джентельмены, и сам объект наших исследований. Так сказать, продукт нашего упорного труда. — Он положил мне руку на плечо и пояснил, словно гид в кунсткамере: — Как видите, он бодр, здоров, откормлен. Мы пригласили его сюда сразу после нормального 9-часового сна и обильного завтрака без какой-либо предварительной медикаментозной обработки или гипнотического воздействия. Завтра мы с уверенностью возвращаем его в огромный мир, полностью гарантируя его добропорядочность и доброжелательство по отношению к другим. За две недели мы смогли добиться того, чего обычная тюрьма не смогла добиться за два года, да и вряд ли бы добилась за все четырнадцать лет его срока. Ну, да хватит слов. Лучше всего говорят дела. Итак, к делу. Сейчас вы сами во всем убедитесь. Свет!

Свет в зале погас, и я обалдело стоял в луче прожектора на фоне экрана. Вдруг луч второго прожектора выхватил из темноты неизвестно откуда появившуюся фигуру какого-то здорового мужика, которого я раньше никогда не видел. У него было мясистое усатое лицо и редкие, как бы приклеенные к лысому черепу волосончики. На вид ему было лет тридцать-сорок-пятьдесят. Хрен его знает. Одним словом — старый. Он нахально подошел ко мне, сопровождаемый лучом прожектора, и нагло так заявил:

— Привет, навозная куча. Что это от тебя так несет? Ты что, моешься только по праздникам?

Я чуть не поперхнулся от возмущения, так как мылся как раз накануне, а этот гомик, пританцовывая, подошел ко мне и больно наступил мне сначала на левую, потом на правую ногу. Затем, ни с того ни с сего, засунул большой палец мне в нос, так что у меня слезы брызнули из глаз. Продолжая издеваться, этот подонок ухватил меня за ухо и принялся крутить его, как телефонный диск. Публика в зале потешалась, наблюдая эту сцену. Вашему же покорному слуге было не до смеха. Мои нос и ухо горели, и я вежливо так спросил:

— Зачем ты издеваешься надо мной, брат? Ведь я не сделал тебе ничего плохого. И вообще вижу тебя впервые...

— Ах это... — противно захихикал мужик. — Я делаю это (два его вонючих пальца вонзились в мой бедный нос) просто потому, что (больно потянул мое многогострадное ухо) терпеть не могу недоносков вроде тебя... Ну, попробуй что-нибудь мне сделать. Попробуй, ты, трусливый шакалик.

Мне страстно захотелось вмазать ему по хохотальнику или раздвинуть ему наглую улыбку бритвой от уха до уха. В то же время я сознавал, что сделать это нужно молниеносно, пока не накатил привитая мне тошнотворная волна. Но едва я сунул руку в карман, предвкушая то наслаждение, с которым я полосну его по горлу, как в памяти всплыла ужасная картина из показанного мне фильма — с кровью, стонами, вытекающим глазом, — и начался страшный приступ боли и отчаяния. Чтобы прекратить его, я принялся лихорадочно шарить по карманам в поисках чего-нибудь, чем можно бы было ублажить этого наглеца: сигарет, или денег, или еще чего... Но мои карманы

были пусты. В них не было ничего, кроме бритвы, и я смиренно вытащил ее и протянул этому страшно-му, смеющемуся мэну, униженно умоляя:

— Ради Бога, добрый человек, позвольте мне что-нибудь для вас сделать? Вот, возьмите мою бритву. Она очень хорошая, острая... Маленький презент... Не откажите в любезности... пожалуйста...

— Оставь свои дешевые взятки себе. Меня этим не купишь, грязный ублюдок, — проговорил мой обидчик и ударил меня по протянутой руке.

Бритва со стуком упала на мозаичный пол.

— Ну, пожалуйста, разрешите мне что-нибудь для вас сделать. Хотите, я почищу ваши ботинки? Смотрите, я могу вылизать их вам до блеска.

И, о люди, хотите верьте, хотите нет, я встал на четвереньки, вывалил на полметра язык и принялся жадно лизать его грязные, вонючие штилеты. Однако вместо благодарности подонок несильно пнул меня ногой в лицо. Боль внутри меня несколько утихла, и я рискнул схватить его за ноги и сильно дернул на себя. Он испуганно ойкнул и рухнул на пол, как куль с дерьмом, под восторженный смех публики. Тут же боль в голове и кишках проснулась, и я поспешно протянул ему руку, помогая подняться на ноги. Мэн рассердился по-настоящему и замахнулся, чтобы съездить по моему беззащитному фейсу, но тут вмешался д-р Бродский:

— Хорошо! Достаточно!

Тут же ужасный мэн опустил руку и раскланялся, как актер после удачного выступления. Загоревшийся яркий свет ослепил меня. Я стоял и бессмысленно хлопал айзами перед возбужденно гудевший аудиоторией, не в силах понять, что же со мной произошло.

Как умелый ведущий этого небывалого шоу, д-р Бродский вышел вперед и обратился к собравшимся со следующими словами:

— Как вы сами только что убедились, джентельмены, наш подопечный вынужден делать добро благодаря своей, как ни парадоксально это звучит, предрасположенности к совершению насилия. Каждый приступ агрессивности сопровождается у него мощным физическим дискомфортом, и поэтому он тут же переключается на обратную реакцию. У кого есть вопросы?

— А как же с правом выбора? — раздался густой бас капеллана. — Вы лишили его богоданного права, оставив ему чисто эгоистические мотивы и побуждения. Боязнь физической боли низводит его до крайней стадии самоуничтожения. Неискренность его поступков очевидна. Он уже не нарушитель, не преступник, так как вы нацело лишили его понятия того, что есть нарушение или преступление. Вы низвели человеческое право морального выбора до элементарного животного инстинкта!

— Не будем переводить чисто медицинскую, научную попытку пресечения преступности в плоскость морально-этических категорий, — невозмутимо возразил д-р Бродский. — Перед нами была поставлена конкретная задача...

— Которую вы с успехом решили, — вмешался министр. — Поздравляю вас, джентельмены. Это настоящая революция в юриспруденции.

— Которой тут и не пахнет, — буркнул, по-моему, Губернатор.

— А я считаю, что это просто потрясюще, — вмешался кто-то.

И тут все заговорили разом, как будто с цепи сорвались, стараясь переубедить соседа и не слушая никаких доводов. Обо мне, казалось, забыли и обращали внимания не больше, чем на пустующий стул. Наконец я не вытерпел и громко заорал:

— А я?! Как же теперь со мной? Что я вам... вещь или собака?

Они замолчали, как по команде, а потом дружно обрушились на вашего покорного рассказчика, бросая мне в лицо какие-то неприятные гневные слова. Я обиженно прокричал:

— Зачем вы сделали из меня заводной апельсин?!

Сам не пойму, почему мне на ум пришли именно эти слова, но все мигом заткнулись и пребывали в ступоре минуту или две. Потом поднялся какой-то хилек профессорского вида. У него была абсолютно лысая, как бы живущая сама по себе голова-бильярдный шар, общавшаяся с туловищем через сотканную из кабелей, проводов и шнуров длинную извивающуюся шею. Так вот что сказал этот гусак:

— Тебе не на кого пенять, кроме как на себя самого, бой. Ты сам сделал свой выбор, все остальное — только его последствия.

Тут наш тюремный капеллан горько выкрикнул с места:

— О, как бы я хотел, чтобы это было правдой!

По тому, как на него глянул Губернатор, можно было безошибочно сказать, что ему никогда не занять того поста, на который он нацелился.

Жаркий спор спонтанно возобновился, и вдруг я отчетливо расслышал слово Любость, прозвеневшее, как упавшая на пол мелкая разменная монета. Пошедший вразнос капеллан (видно, с утра хватил лишку) принялся осенять всех крестным знамением и трубить, будто с амвона:

— Всепоглащающая и всепрощающая Любовь победит всеобщий первобытный Страх и Отчуждение и да будет Добро твориться без ожесточения и не корысти ради...

Видимо, старый поддавала совсем очумел с горя. На него зашикали, и тут вперед снова выступил гид-конференсье Бродский:

— Я рад, джентельмены, что вы затронули извечную тему Любви. Сейчас я продемонстрирую вам ту особую ее разновидность, которая умерла со времен Шекспира и Петrarки, канула в Лету вместе с их Джульеттой и Беатриче.

Он сделал знак пухленькой ручкой. Свет в зале погас, а вспыхнувший прожектор пошарил в темноте и выхватил вашего бедного друга и рассказчика. И вдруг в освещенный лучом прожектора круг из темноты вступило самое юное, нежное и прекрасное криче, которое мне приходилось видеть. У нее были такие замечательные стоячие груди, проступающие через полупрозрачное воздушное платье, что сладостный спазм охватил мои мигмом воспаленные чресла, и что-то ударило мне в хэд. Она как бы летела над полом, едва касаясь его своей изящной ножкой. Где-то я уже видел эту кроткую милую невинную улыбку. Мне показалось, что она спустилась ко мне с небес, и захотелось поиметь ее тут же и сейчас же. Я уже сделал к ней шаг, чтобы разложить ее прямо на полу в своей обычной варварской манере, но по моим кишкам резанула острая боль, выскочившая, как бдительный детектив из-за угла, готовый надеть на меня наручники. Подсознательно пытаюсь избежать ареста, я мгновенно отбросил мысль о неумном блаженстве рэйлинга, пал перед ней на одно колено и произнес самые безумные слова в мире:

— О, красивейшая и прекраснейшая из земных созданий! Позволь мне бросить к твоим божественным стопам мое усталое сердце. Я бы хотел преподнести тебе все розы мира, но они ничто по сравнению с твоей красотой. Если бы сейчас было ненастье, я бы расстелил перед тобой свой плащ, не достойный того, чтобы по нему ступала твоя ножка...

Произнося эти идиотские слова, которые срывались с языка помимо моей воли, как будто их нашептывал сам дьявол, я с облегчением почувствовал, как боль постепенно отступает.

— Позволь мне,— заорал я с еще большим энтузиазмом,— поклоняться тебе, мое божество, и быть твоим защитником и заступником в этом жестоком мире...— Я старательно подыскивал самые правильные, самые проникновенные слова, чтобы доконать боль, пока она не доконала меня.— Разрешите мне быть твоим верным рыцарем, о божественная.

С этими словами я распростерся ниц и поцеловал край ее платья.

И тут все закончилось, как если бы это была съемка какого-то фильма о средних веках. Загорелся свет, а моя богиня раскланялась, посылая в зал ослепительные улыбки и начисто игнорируя меня. Стоило так распинаться перед какой-то нанятой статисткой, которую спокойно мог снять любой из присутствующих... кроме меня.

— Он будет благоверным, богобоязненным христианином,— продолжал комментировать д-р Бродский.— Если его ударят по одной щеке, он подставит другую. Он предпочтет быть распятым, чем распинать самому. Теперь он и мухи не обидит...

Уж в чем, в чем, а в этом он был абсолютно прав, друзья мои, так как в тот момент я действительно так подумал, и тут же глубоко внутри зашевелился противный червячок страха и затрепыхалась бабочка боли. Я поспешил отодвинуть эту мысль, представляя, как я кормлю муху шугером и ухаживаю за ней, словно за раненой любимой собачонкой.

— Абсолютная трансформация! — восторгался д-р Бродский, рекламируя свой товар (то бишь вашего покорнейшего слугу).— Теперь он не посрамит нас не только на воле, но и за воротами рая!

— Будущее покажет, какой из него получится ангелочек,— охладил его пыл Министр.— Во всяком случае пока это работает великолепно.

— О, да! — воссиял вспомнивший о карьере капеллан.— Работает, а это — главное! Да поможет всем нам Бог!

ЧАСТЬ III

1

— Ну, и что дальше?

Этот сакраментальный вопрос сверлил мои брейны, когда на следующее утро я стоял у ворот Стаи 84F. На мне был мой старый дресс, в котором меня замели два года назад. В руках я держал черный полиэтиленовый пакет с черепом и перекрашенными костями на фоне пачки злопыхолей, шприца и пузатой бутылки «Димпл». В кармане позванивали несколько монет, выданных мне заботливой администрацией «на начало Новой Жизни».

После «выпускного экзамена» меня заколебали разные камерамэны и уимены, снимавшие меня и записывавшие мой голос для тельнюс. Ушлые репортеры брали брехливые интервью, чтобы тиснуть их на следующий день в газетах.

Я порядком устал от всех этих паблисити и вьюисити и едва доплелся до бэда. Казалось, не прошло и трех минут, как меня растолкали и сообщили, что уже утро и я могу отваливать на все четыре стороны, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Все горели желанием побыстрее выпихнуть меня на свободу. Даже завтраком не накормили, скоты. Дали чашку чая, сунули убогий пакет с моими нехитрыми пожитками, немного маней, чтобы не сдох с голоду на первых порах,— и под зад колено. Теперь я был для них не только заводным апельсином, но и выжатым лимоном.

Пока я решил гоу хоум, обрадовать мом и дада и прижаться к их бузом. Приду домой, схавую все, что есть в холодильнике, улягусь на свою удобную

кровать, врублю стереосистему — усладу моих юных дней — и заодно подумая, что мне делать дальше с моей нелепой жизнью.

Итак, отобас до центра, другой — до Кингсли-авеню, и вот я в знакомом квартале I8A. Вы не поверите, но, когда я подходил к своему хаузу, сердце мое трепыхалось, как кок при виде свэлловой девки. Было еще довольно рано, и я не встретил ни одного человека ни на улице, ни в вестибюле, за исключением тех, что олицетворяли на стенах Торжество Свободного Труда. Первое, что удивило меня, братцы, это то, что все мэны и вумэны были подреставрированы. Кто-то очень умный закрасил похабные изречения, лившиеся из их уст, и лишние части тела. Второй неожиданностью было то, что лифт работал! Я нажал кнопку, и он поднял меня на десятый этаж, довольно урча и выпячивая отдраенные стены. К сожалению, на этом неожиданности не кончились.

С замирающим сердцем я подошел к двери 10—8 и, осторожно открыв ее своим ключом, на цыпочках вошел в прихожую.

На меня усталились три пары глаз: две настороженно-испуганные — мам и дада, и одна совершенно незнакомая, но крайне нахальная. Наглая принадлежала здоровенному жлобу в майке и подтяжках, который по-хозяйски расположился на моем месте, с вожделением потягивая чай с молоком и хрустя зажаренным тостом. Ритмично ходили его жернова, приводя во вращательное движение маленькие приплюснутые уши. Увидев меня, предки отвесили от удивления челюсти, а этот питекантроп сделал шумный глоток и раздраженно произнес:

— Это еще что такое? Кто ты, гай? И откуда у тебя ключ? Ну-ка быстро отнеси свою задницу за дверь и постучись, как это делают порядочные люди. Потом объяснишь, что тебе здесь надо.

Мои дад и мам так и продолжали сидеть, раскрыв варежки, и мне до смерти захотелось подойти к ним и помочь им захлопнуть их. Видно, они еще не читали утренние газеты. Наконец мам со страхом прошептала:

— Ты сбежал? Что ж нам теперь делать? Того и гляди сюда нагрянет полиция. Ну за что мне такое несчастье! О-о-о!

И тут она заплакала и запричитала, как по покойнику. Я принялся объяснять, что все в порядке, что меня выпустили и они могут позвонить в Стаю и убедиться в этом. Пока я говорил, незнакомец недовольно сопел, и у меня было такое чувство, что вот-вот он страйкнет мне по фейсу огромным волосатым кулаком и вежливо из меня дух. Я не стал этого дожидаться и вежливо так спросил:

— Позволь теперь мне задать тебе несколько вопросов, братишка. А какого черта ты здесь развалил свою толстую задницу? И, пожалуйста, сбавь тон, если не хочешь получить в нюх. Давай выкладывай!

По виду он был работягой, как мой отец. Такой же грубый, неотесанный, придавленный тяжелым трудом и недостатком интеллекта. Только лет на пятнадцать — двадцать моложе. После моих слов он угрожающе выпучил глаза и сидел, не в силах выдать из себя хоть слово. Только заглывал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Поэтому заговорил мой еще больше постаревший конь:

— Все это так неожиданно, сын. Хоть бы дал нам знать, что возвращаешься. Да и то сказать, мы рассчитывали, что тебя выпустят лет через пять-шесть, не раньше. Нет, не подумай, что мы тебе не рады... Он отвел глаза и тускло добавил: — Это здорово, что ты опять на свободе...

— Ты мне скажи, что это за чучело? Почему молчит? У него что, язык в задницу затянуло? Объясни хоть ты толком, что здесь происходит?

— Это Джо, — тихо произнесла мам. — Теперь он здесь живет. Квартирант — вот он кто. — И она опять завела: — О-о-о!

— Послушай, ты, ублюдок, — оклемался наконец Джо. — Мне все о тебе известно. О том, что ты вытворял и натворил, разбив сердца этих добрых людей, твоих родителей. А теперь ты вернулся, да? Вернулся, чтобы опять превратить их жизнь в ад? Ну уж накусь выкуси, — сделал смачную фигу и поднес мне под нос. — Только через мой труп. Потому что они для меня как родные, и я никому не дам их в обиду!

— Ах, вот как! — процедил я, чувствуя, что к глазам подступают злые смешанные слезы страха-боли-отчаяния-беспомощности. — Даю тебе пять минут на то, чтобы ты вымелся из моей румнаты.

И я двинул к своей берлоге и открыл дверь, прежде чем этот хмырь преградил мне дорогу. При виде того, что стало с моей комнатой, мои болзы опустились до самого ковра, а потом, как на резинке, подскочили куда-то к горлу. Теперь это была вовсе не моя комната, други мои. Услада моей души — стерео — исчезло бесследно, а на месте моих флагов и вымпелов красовались наглые боксерские рожи, и среди них — самодовольная, улыбающаяся пачка постояльца.

— Куда ты подевал мои вещи, шивый козел? — заорал я, поворачиваясь к питекантропу Джо.

Но вместо него вновь ответил дад:

— Все конфисковала полиция, сын. В соответствии с новым постановлением о возмещении ущерба пострадавшим от разбойного нападения.

Я обалдело присел на край стула, а этот благовоспитанный кретин рывкнул, не замечая моего состояния:

— Спроси разрешения, прежде чем плюхать свой грязный зад на чистую мебель!

— Не ори, а то пуп развяжется, козел! — гаркнул я в ответ, но, чувствуя предостерегающий прилив боли, жалобно улыбнулся и добавил уже тише: — В конце концов это мой дом, моя румната, не так ли, друг? Ну, и каково будет ваше решение?

Дад сказал, избегая встречаться со мной айзами:

— Все это надо толком обмозговать, сын. Мы не можем просто так вышвырнуть Джо на улицу. Это было бы не по-людски. Да и потом у нас с ним двухгодичный контракт, ведь правда, Джо?

Тот утвердительно кивнул массивной головой, продолжая стоять с нарочито безразличным, «вам решать», видом. Я видел, что отцу очень неловко, но тут во мне выиграла ревность, и я безжалостно сказал:

— Па-а-нятна-а. Значит, с Джо по-людски, а с собственным сыном? Вы печетесь лишь о своем спокойствии, а на меня вам наплевать. К тому же лишняя денга, которая никогда не бывает лишней. Сколько он вам платит? Я буду платить вдвое...

— Из воровских денег? Или прикончишь еще кого-нибудь? — с горечью выкрикнул дад, а мать съежилась, как от удара.

И тут, верите ли, я не выдержал и разревелся от жалости к самому себе.

— Лучше бы я остался в тюрьме. Там у меня был хоть кров над головой. Ну да Бог с вами. Я двинул, и больше вы меня никогда не увидите. Я пойду своей дорогой. Пусть все это останется на вашей совести.

— Ты не должен уходить с тяжелым сердцем, сын. Ожесточение еще никого не выводило на правильную дорогу.

— Ну, это уже мое дело, отец. Прощайте!

Я резко развернулся и пошел к двери, краем глаза заметив, как Джо обнял за плечи и успокаивающе поглаживает тихую плачущую женщину — мою мать.

Так, други мои, я остался без дома, без семьи.

Я бесцельно брел по улице под любопытно-настороженными взглядами прохожих. Возможно, некоторые узнавали меня, но большинство недоумевало, что это еще за чудило разгуливает по улицам в легком бумажном съоте в такой чертовски холодный зимний день? Остальным же было просто на меня наплевать, впрочем, как и мне на них. Единственно, чего мне хотелось, так это ни о чем больше не думать.

Машинально я сел в бас до центра, пешком вернулся до Тэйлор-плейса и остановился перед музыкальным салоном. Здесь все было по-прежнему. Войдя в салон, я поискал глазами тощего, лысого, услужливого Энди, у которого покупал диски в добрые старые времена. Однако его нигде не было видно. Кругом бесились и визжали от восторга надсады и надсадки, слушая последние истеричные хиты, напоминавшие кошкотрапение. За каунтером стоял незнакомый гай, немногим старше своих покупателей. Он пританцовывал, щелкая пальцами, и хохотал как безумный. Я скромно растолкал всю эту шелупонь и дождался, пока хитоман обратил на меня внимание.

— Я бы хотел послушать «Сороковую» Моцарта.

— Сорок что? — не понял он.

— Симфонию, друг. «Сороковую» симфонию соль-минор В. А. Моцарта.

— Пройди вон в ту будку, чудик, и я подключу тебе что-нибудь симфоническое.

Я проглотил издевку и вошел в указанный бутик. Надел изэрфоунс и обнаружил, что это не «Сороковая», а «Праздская». Подонки поставил на прослушивание первого Моцарта, попавшегося на полке. «Хрен с тобой! — подумал я. — Главное — не выходить из себя, так как войти в себя потом будет очень трудно...» Но я не учел одну вещь, хотя смутно опасался ее. С мощным крещендо моцартовских аккордов во мне нарастала знакомая боль, доводившая меня до иступления. С диминуэндо она стихала, чтобы через несколько тактов заполнить меня вновь. По-видимому, теперь это навсегда было запрограммировано во мне показом тех садистских фильмов, которые неизменно сопровождалась симфонической музыкой. Вот такой надлом, други мои. Медмэны навсегда лишили меня самой большой радости в этой паскудной жизни.

Не в силах вынести разрушительного музыкального резонанса, я заткнул уши и в панике выскочил из салона под смех и улюлюканье мелкоты, которую играючи перемесил бы в прошлые времена.

Я брел по улице как слепой, пока не увидел перед собой «Коровяку». Теперь я понял, что мне нужно. В стекляшке было непривычно тихо, а за стойкой стоял совершенно незнакомый мэн.

— Биг поршн молока с плюсом, — заказал я.

Мэн понимающе кивнул, заговорщицки повозился под каунтером и протянул мне здоровенную кружку с белым напитком. Чтобы лишний раз не мозолить глаза, я удалился в одну из зашторенных кубиклз, уселся на плюшевое кресло и пил, и пил, и пил, чувствуя, как постепенно улетучивается накопившаяся во мне мерзость.

Когда я додринкал все молоко до последней дроп, со мной стали происходить странные странности. Я устался на валявшуюся на полу серебряную обертку от пачки злопухолей, и она вдруг начала расти, расти, заливая все вокруг ослепительным светом. Вот она заполнила кабинку, «Коровяку», улицу, город, мир, вселенную. Я болтался где-то посередине и говорил какие-то непонятные себе самому слова: «Уважаемая падал! Дорогие изгой, извращенцы, испражненцы! Я вижу вас, хоть вы и прах...» Потом в серебряной космической дали появились статуи,

сияющие неземными цветами. Они приближались, приближались ко мне, и я вдруг увидел, что это никакие не статуи, а сам Бог со своей кодлой святых и ангелов. Они как бы были сделаны из белого мрамора. Белые, развевающиеся бороды и огромные белые же крылья за спиной. Эти живые статуи надвигались на меня, будто хотели раздавить, и я услышал свой тоненький голос: «И-и-и!» И тут я понял, что нужно избавиться от всего: одежды, тела, мыслей, имени... Как только я сделал это, так сразу почувствовал неземное блаженство и успокоение. Бог и все святые одобрительно закивали головами и начали растворяться, растворяться, растворяться, пока не исчезли совсем...

Очнувшись, я тупо уставился на пустой стакан перед собой и вдруг отчетливо осознал, что Смерть — вот единственный ответ на все мои проблемы. Исчезнуть! Испариться! Сгинуть! К Богу, к черту или к чертовой матери — все едино!

Да, но как это лучше сделать? И тут я вспомнил о черном пакете с черепом и костями. Где-то в нем должна быть моя любимая бритва. Однако, представив себя с перерезанной глоткой, валяющимся в луже собственной алой крови, я содрогнулся от омерзения и мигом почувствовал знакомые симптомы. Проклятый иммунитет работал даже против меня самого! Нет! Надо было все сделать тихо, спокойно, безболезненно — лечь и заснуть вечным сном. Конец должен подкрасться незаметно... Да, но что бы такое заглотнуть? И спросить не у кого. Не подойдешь же к первому встречному и не скажешь, что я осточертел себе и миру и хотел бы со всем этим покончить быстро, без шума и пыли? В конце концов я надумал пойти в публичную библиотеку и просветиться по части безболезненных самоубийств.

«Вот возьму и брошу им подлянку, — мстительно думал я, проходя по бульвару Марганита, Бутбавену прямо к задрипанной библио. — Пускай потом всю жизнь казнят себя за то, что сгубили младую душу: фазер-мазер с их вонючим узурпатором Джо, и д-р Бродский, и д-р Брэном со своим министром, и все остальные, включая хвастливое правительство...»

Несмотря на все свое хвастовство, правительство не очень-то жаловало субсидиями нашу библио, это средоточие человеческой мудрости, где на полках пылилось миллиарды ненужных слов. Ремонт здесь не делался лет сто, с того самого времени, когда я, шестилетний, посетил ее с мом и дадом в первый и последний раз. Это вшивое, заброшенное заведение было разделено на две секшн. В одной выдавали книги, а в другой была ридальня со множеством ньюспейперс, джорналз (и хоть бы один с голыми бабами!). Так вот, я отправился в эту вторую секшн, где сидело несколько стариков и старух, от которых воняло бедностью и близкой смертью. Некоторые из них стояли возле газетных стендов, вычитывая слеэящими подслеповатыми айзами последние ньюс, чтобы передать их прямехонько своим родственникам на том свете. Другие медленно листали джорналы, третьи что-то в них читали или делали вид, что читают, а сами дремали в тепле и старческой атмосфере. А двое так и вовсе громко храпели, выводя носом рулады, но на этих соловьев никто не обращал внимания. Наблюдая за склеротичными осколками былой жизни, я и сам начисто забыл, за каким чертом меня занесло в этот пантеон. Поднапрягшись и проиграв в уме то, что произошло со мной в «Коровяке», я вспомнил, что хотел отыскать здесь самый безболезненный способ сведения счетов с постылой жизнью. Я подошел к шелфу с референской литерацией. В скорбном ряду стояли толстенные справочники, инструкции, рекомендации, полезные советы на все

случаи жизни и ни одного — на случай смерти. Я взял наугад какой-то медицинский гроссбух, полистал его и чуть не блеванул, так как в нем было полно рисунков и фотографий страшных ран и болезней. Поспешно поставил его на место и снял с шелфа знакомую книгу в красивом переплете с золотым тиснением. Точно! Это была Библия. Может быть, хоть в ней я найду слова утешения. Когда-то в Стае она мне помогала. Как давно это было! Я подсел за стол к какому-то дряхлому старику и открыл Священное писание. Но все, что я в нем нашел, так это наказание семьдесятю семью плетями и столько же прощений. Какие-то евреи дрались и проклинали друг друга и все на свете. От таких картинок библейской жизни у меня в животе начались колики. Такие сильные, ну хоть плачь! Стараясь сдерживать стоны, я закрипел зубами, а стоявший обеими ногами в могиле старикан спросил, с любопытством поглядывая на меня из-под треснувших очков:

— В чем дело, парень? Тебе что, плохо?

— Так плохо, что хочется умереть, — честно признался я. — Как это лучше сделать? Вы должны все знать о смерти.

— Ш-ш-ш! — прошипел другой трухлявый пень, не отрывая взгляда от какого-то журнала с нелепыми геометрическими фигурами.

Первый старик философски произнес:

— Для смерти тоже надо созреть. Ты еще слишком молод, парень. У тебя вся жизнь впереди. Помучайся с наше, а потом уже думай о ней.

— Впереди! Это уж точно, она у меня впереди, как пара фальшивых накладных грудей.

Геометрик снова на нас заикался, и к нему присоединились еще несколько ходячих трупов. Тут он взглянул на меня, и мы сразу узнали друг друга. С негодованием отбросив журнал, он заорал на весь зал:

— Так это ты, мерзавец! У меня прекрасная память на лица! Наконец-то ты попался мне, урод!

«Кристаллография» — вот что он нес из библио в тот раз, — вспомнил я. Изрезанная в клочья одежда. Порхающие в воздухе листы изуродованных книг. Такой облом! И надо же было мне на него напороться. Скорее рвать когти! Но старик резво вскочил на ноги и впился клешней в мое плечо, вопя как безумный:

— Теперь он в наших руках, коллеги! Это тот молодой гаденый, который безвозвратно погубил редчайшие книги по кристаллографии! Настал час расплаты, трусливый, бессердечный шакал. Теперь мы над тобой потешимся...

Он упер свой тощий костлявый палец мне в грудь и гневно проговорил, как председатель суда святой инквизиции перед сожжением еретика:

— Этот гнусный ублюдок и его дружки избили меня до полусмерти. Очнулся я только в больнице, без зубов, без одежды, без зонтика, но зато весь в синяках и ссадинах и с поломанным ребром...

— Но это было два года назад! — испуганно крикнул я в лица подступавших ко мне стариков и старух. — Я уже понес наказание, получил урок на всю жизнь. Посмотрите, вот мои фотографии в газетах. Тут все обо мне сказано.

— Наказание, говоришь? — с усмешкой сказал один из стариков, похожий на бывшего солдата. — Для тебе подобных не существует наказаний. Вас необходимо уничтожать как бешеных собак!

— Ну, хорошо, хорошо! В нашей свободной стране каждый может иметь собственное мнение. Однако правительство придерживается другой точки зрения. Прощения, но мне пора идти.

Я стал потихоньку пробираться к выходу, подумав, что мою проблему можно разрешить с помощью аспирина, простого аспирина из любой аптеки. Заглотил

сотню таблеток — и тебе каюк!

Заметив мое отступление, кристаллографик злорадно закричал:

— Не дайте ему уйти! Сейчас мы ему растолкуем все о преступлении и наказании. Хватайте его, друзья! Со всех сторон неслось:

— Убить его! Разорвать на куски! Вколотить подлещу зубы в глотку! Распять! Распять! Рас-пя-ать!..

Это была неистовая атака Старости на Молодость, извечная борьба старого с новым.

Орущая орда окружала меня со всех сторон, отрезав путь к отступлению. Они толкали, щипали, кусали, царапали меня, дергали за волосы, пытались ткнуть узловатыми пальцами в глаз. А я только слабо отпихивался от наиболее настырных и молил Бога, чтобы не причинить им вреда, памятуя о боли, притаившейся за углом и зорко наблюдающей, что из этого выйдет.

Наконец на шум явился молоденький библиотекарь и строго произнес:

— Что здесь происходит, черт побери? Немедленно прекратите! Это вам не арена гладиаторов, а читальный зал.

На него никто не обратил внимания, и тогда он сердито сказал:

— Ах, вы так! В таком случае я звоню в полицию.

И тут я сделал вещь, которую при других обстоятельствах не сделал бы никогда в жизни. Я взмолился со слезами в голосе:

— Да, да! Пожалуйста, сделайте это. Защитите меня от этих сумасшедших.

Тут кто-то расквасил мне нос. Утирая кровавые сопли, я плюнул на осторожность и повел нехилым плечом. Штук шесть стариков разом отпало, кряхтя и стеная. Но три бульдога держали мертвой хваткой, и я выволок их за собой в вестибюль. Кто-то еще вцепился мне в ляжку. Подоспели другие. Я упал, а они принялись пинать меня ногами, протезами, молотить костылями... В этот момент в фойе раздались молодые смеющиеся голоса:

— Кончай бардак, молодчики! Ишь как расшалились!

Это прибыла полиция.

3

Какое-то время у меня все плыло и колыхалось перед айзами, как в том сне про Бога и статуи, а в хэде стоял гул. Когда пелена несколько рассеялась, то мне показалось, что я уже где-то встречал этих коппол. Того, который покрикивал на разбушевавшихся стариков: «Хватит, хватит, хватит!», нагоняя на себя строгость, я видел впервые. Но двух других я, несомненно, видел раньше. Они со смехом разгоняли толпу, беззлбно прохаживаясь по спинам олдмэнов маленькими плетками, приговаривая:

— Завязывайте, непослушные ребятишки. Мы покажем вам, как бунтовать и нарушать общественный порядок, старые злыдни.

С шутками и прибаутками они загнали полумертвых мстителей обратно в ридингхолл и повернулись ко мне, смущенно поднимающемуся с пола.

— Кого я вижу! Ты ли это, маленький Алекс? Давненько не виделись, друже. Как поживаешь? Вижу — хреново.

Я обалдело всматривался в униформированного громила, лицо которого было трудно рассмотреть за шлемом с опущенным забралом. Однако его голос был очень знакомым. Взглянул на второго и вздрогнул от неожиданности. Этот безумный фейс невозможно было спутать ни с каким другим.

— Гы-гы-гы! — загоготал Кир, а это был именно он.

Присмотревшись внимательнее ко второму, я узнал жирняка Билли. Два заклятых врага превратились в друганов — не разлей вода и более того — в блюстителей порядка.

— Ничего себе! — присвистнул я. — Кир? Билли?

— Что, удивлен? — приблизился ко мне экс-Дебила, ухмыляясь от уха до уха. — Жизнь полна неожиданностей.

— Этого не может быть! Этого не должно быть! Опять какой-нибудь маскарад?

— Твои айзы не обманывают тебя. Мы тоже. Все честно и законно. Отличная работенка для настоящего мужчины. Рекомендую.

— Но ты же слишком молод. Или что, теперь они берут в полицию по живому весу и высокому, как у тебя, уровню интеллекта?

Кир не уловил издевки и ответил довольно резонно:

— Ты прав, Алик. В полиции нужны крутые парни вроде нас с Билли, чтобы ломать хребты уродам вроде тебя. А что до возраста, так тут ты не прав. Мне уже восемнадцать. Ты же был самым зеленым в нашей коdle...

— И все-таки я отказываюсь в это верить. Вы — и вдруг копполы!..

— Скоро поверишь, — угрюмо пообещал Билли-бой и сказал, повернувшись к третьему коппу, который держал меня за плечо: — Думаю, Рекс, будет лучше, если мы разберемся с ним по-семейному, без обычной полицейской рутины. Как-никак старые друзья. Видно, этот хулиган опять взялся за свое, несмотря на всю чушь об его исправлении, которую написали эти бумагомаратели. Уж кто-кто, а мы-то его хорошо знаем. Сукин сын, опять обижает бедных стариков. Ну что ж! Покажем ему, что мы не даром едим свой бред.

— О чем он воняет, Кир? — обратился я к Дебиле. — Это они напали на меня, а не наоборот. Ваша обязанность — защитить меня от них, а не их от меня... Ты же должен помнить, Кир, того тичера, которого мы отделили два года назад тут, неподалеку от библио. Так вот, он оказался здесь, опознал меня и натравил на меня всю эту сумасшедшую свору.

— Да что ты говоришь? — усмехнулся Кир. — Что-то я такого не припомню. И прекрати называть меня «Кир». Зови просто: офицер.

— Ну, хватит воспоминаний детства, — вмешался Билли. Он был не таким жирным, как прежде. — Мы не можем проходить мимо отъявленных хулиганов с бритвами в кармане. — Пододнок не забыл, как я его «брил» пару лет назад. — Наш долг — защищать от них свободных граждан свободной страны!

Они заломили мне хэндзы на всякий случай, вытащили бритву из кармана и, выведя из библио, втолкнули в ожидавший патрульный кар, шофером которого оказался незнакомый мне Рекс.

Меня не покидала шальная мысль о том, что мои бывшие фрэндзы шутят и что Кир вот-вот сдернет свое забрало и зарыгочет: «Гы-гы-гы! С возвращением, Алекс-бой!» Но я ошибся. Все было взаправду.

Стараясь скрыть нарастающий страх, я спросил:

— А что со стариной Питом? Про Джоша мне рассказали...

— Пит? Ах, этот... Мы недавно встречались с ним, — с многозначительной ухмылкой ответил Кир.

Заметив, что мы выезжаем из тауна, я с тревогой спросил:

— Куда это вы меня везете?

— Еще слишком светло, — ответил Билли, не поворачивая хэда. — Небольшая прогулка по зимней кантри. Там так красиво и... безлюдно. Не можем же мы подбивать с тобой баланс на виду у всех...

— Какой еще баланс? — не на шутку встревожился я. — Со старым давно покончено. Я уже за все получил сполна. Меня вылечили.

— Читали, наслышаны, — безразлично произнес Кир. — У нас даже была политинформация по этому поводу. Суперинтендент целый час распинался о том, как это здорово и эффективно. Вот мы сейчас и проверим.

— Ах, вам читали? Ты так ни разу и не взял в руки ни одной газеты, не говоря уже о книгах? — не удержался я от язвительного замечания.

Он развернулся и сильно двинул мне в нюх, прежде чем я успел увернуться. В глазах у меня потемнело, и из разбитого ноуза закапала алая блад.

— Что ж, сейчас сила на твоей стороне, стинкинг ублюдок, — с горечью сказал я, утираясь. — Но так будет не всегда...

— Вот мы и приехали, — радостно сообщил Билли.

Меня вытолкнули из кара. Поблизости не было ни души. Молчаливые угрюмые деревья окружали нас четверых, бессильно опустив голые ветви.

Драйвер остался за рулем, безразлично покуривая и просматривая какой-то комикс. Быстро смеркалось, и он включил фары, чтобы его коллегам было лучше видно, куда бить вашего покорного беспомощного рассказчика.

Не буду подробно описывать, что они со мной сделали. Скажу только, что отметилили они меня на славу. Дубинками, кулаками и ногами. И все время, пока они меня «учили», я даже и подумать боялся о том, чтобы дать сдачи. Если бы не чертов Лудовико, я бы еще с ними побарахтался...

Наконец они подустали, и один из них, не помню кто, деловито сказал:

— Ну, пока хватит с него. Пошли!

Страйкнув меня на прощание футами по фейсу, они залезли в кар и укатили, оставив меня валяться на припорошенной кровавым снегом траве.

Не знаю, сколько я так пролежал, балансируя на грани сознательного и бессознательного. Мелкий ледяной дождь со снегом помог мне прийти в чувство. Я встал на четвереньки, так, на карачках, дополз до ближайшего дерева и со стоном поднялся, обнимая его, как чужую жену. Вокруг не было ни звука, ни огонька. Куда идти мне, бездомному, избитому бродяге без цента в кармане? Я завыл волком, распугивая притаившуюся в кустах живность.

4

Дбма! Дбма! Дбма! — жаждало все мое существо. Места, где бы я мог приклонить голову и хоть на время найти отдохновение. И домой я пришел, братцы! Бродя, как слепец по ледяной пустыне человеческого ненависти и безразличия, я вышел на оазис со смешной надписью над входом: «НАШ ДОМ». Кажется, я здесь уже бывал в той, другой жизни...

Подходя к воротам коттеджа, я кончиком языка потрогал кровоточащие, шатающиеся зубы, ощутив пустоту на месте двух из них.

Э, да Бог с ними! Это даже к лучшему — есть надежда, что писатель, если он еще живет здесь, не узнает меня. Сейчас у меня на лице была совсем иная маска, обнажавшая всю мою суть...

Поскальзываясь на разбухшей от дождя глинистой дорожке, я доковылял до двери и осторожно поскребся. За дверью была мертвая тишина. Какие врата передо мной: рая или ада? Я постучался настойчивее и услышал приближающиеся шаги. Дверь распахнулась, и раздался сильный мужской голос человека, вглядывающегося в темноту:

— Да, кто здесь?

— О! Ради всего святого, помогите мне, добрый

человек! — взмолился я с настоящими слезами в голосе. — Меня ни за что ни про что избили полицейские и бросили умирать у дороги. Ради Бога, позвольте мне посидеть у огня и дайте выпить горячего чего-нибудь...

— Входи, кто бы ты ни был! — посторонился райтер, освещая меня фонарем. — Входи и поведай мне о твоих несчастьях, бедный человек...

Я сделал шаг вперед. Ноги мои подкосились, и я повалился прямо на хозяина коттеджа, смотревшего на меня с искренним участием и состраданием.

Очнувшись я в кресле у камина. Сердобольный райтер с печальными всевидящими айзами протягивал мне высокий тамблер с неразбавленным виски. Я взял его дрожащей рукой и залпом выпил, разбавив скопившейся во рту слюной и кровью.

— Какие же изверги так тебя отделали, парень? — участливо спросил райтер, вглядываясь в мое распухшее лицо, на котором не было живого места.

— Наши доблестные блюстители порядка, — попытался улыбнуться я. — Какие-то ублюдки в полицейской форме.

— Еще одна далеко не последняя жертва нашего смутного времени, — скорбно констатировал он. — Пойду приготовлю тебе ванну.

С трудом сфокусировавшись, я осмотрелся. За исключением камина и двух кресел, все остальное пространство было заполнено книгами. Царивший повсюду художественный беспорядок свидетельствовал об отсутствии женской руки. На низком тейбле стоял знакомый тайпрайтер, возле которого аккуратной стопкой были сложены штисы пейпера. «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» — вот что лежало здесь в ту ночь. Почему-то это название накрепко засело в моей памяти, и ничто не смогло вышибить его оттуда — ни Бродский с его Лудовико, ни устроенное мне друзьями-недрузьями брейнуошинг... Теперь главное — ничем не выдать себя. А то, несмотря на всю свою доброту, этот райтер добавит мне еще и оставит околевать на улице. И превратишься ты, Александр Маленький, в кусок собачьего дерьма на дороге... А тебе сейчас так необходимы помощь и участие! И ведь до всего этого тебя довели те, кто заставил тебя, вопреки своей воле, скитаться подобно Вечному жиду в поисках добра и тепла и людей, которым бы ты их мог дать. Только захотят ли они принять от тебя твой дар во искупление твоих грехов?

— Ну вот, сейчас я тебя выкупаю, — ласково сказал райтер. — Смою все твои грехи и сниму бремя с души. — Он пытливо посмотрел мне в глаза, и от его взгляда мне стало не по себе. — Только сначала нужно остановить кровь. Я прижгу твои ссадины борной. Ты уж потерпи, голубчик.

Он заботливо обработал мои раны смоченным в растворе борной кислоты тампоном. Увидев слезы благодарности у меня на глазах, он смущенно погладил меня по плечу: «Ну, будет, будет...»

Потом я принял горячую ванну, которая сделала из меня человека. Отец «АПЕЛЬСИНА» дал мне нагретую у камина пижаму и теплые меховые тапочки, и я окончательно убедился в том, что теперь-то уж выживу. Райтер опять удалился, и через некоторое время из кухни раздался его бодрый голос, приглашавший меня то ли к позднему ужину, то ли к раннему завтраку.

Я спустился в кичен, где был уже накрыт тейбл с блестящими вилками, ножами и даже белоснежными салфетками. Посередине лежала высокая булка пышного белого брэда и стояла пузатая бутылка «Прима Сос». Рядом шкворчала аппетитная яичница с хэмом и дымился чай с молоком. Я и не подозревал, насколько голоден.

Быстро расправился с яичницей, съел несколько

пузатых сосисок, покрыв все это огромным ломтем хлеба, намазанного маслом и джемом. Попивая крепкий густой чай, я с благодарностью заметил:

— Давно не ел так вкусно. Не знаю, как вас и благодарить.

— Кажется, я догадываюсь, кто ты, — улыбнулся райтер. — Если ты тот, о ком я думаю, то ты попал в самое подходящее место. Это твои фотографии были в утренних газетах? Ты бедная жертва этой новой бесчеловечной методики? Если так, то тебя послало ко мне само Провидение. Бедный парень. Сначала тебя мучили в тюрьме, а потом ты стал объектом издевательств нашей безжалостной полиции. Они сейчас набрали в нее отпетых негодяев. Я тебе искренне сочувствую.

Я хотел подтвердить его слова, но был слишком преисполнен жалости к себе. Я только моргал и слушал, что он говорит.

— Ты не первый, кто обращается ко мне за помощью. Наша деревня превратилась в излюбленное место полицейских, где они вершат несправедливый суд и расправу, называя это брейнуошинг... Сама Судьба привела ко мне тебя — жертву двойного произвола властей! Возможно, ты слышал обо мне?

Я миглом насторожился и ответил, тщательно подбирая слова:

— Мне знакомо название «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН». Правда, я его не читал, но слышал, что это потрясающая вещь.

— Правда? Ты слышал о моем романе? — засиял райтер. — Расскажи немного о себе.

— Да особенно и рассказывать нечего, — засмутился я. — Жил-был глупый заносчивый сосунок, слишком много мнивший о себе. Однажды его так называемые друзья подбили его забраться в дом к одной старой одинокой женщине. Я и не думал причинять ей вреда, поверьте. Так, невинная ребячья выходка. Решил выпендриться перед друзьями. Эта старая птица засекла меня, и с ней случился сердечный приступ. Одним словом, она сыграла в ящик, а я загремел в тюрьму...

— Так, понятно. Пожалуйста, продолжай.

— Уже там, в тюрьме, я глянул посетившему наш скворешник министру исправительных учреждений, и тот решил опробовать на мне методику Лудовико...

— Так, так, — подался ко мне райтер. — Расскажи мне об этом подробнее.

Он очень этим заинтересовался и даже не заметил, что локтем влез в розетку с джемом. Глаза его лихорадочно заблестели, рот приоткрылся...

Стараясь хоть как-то отблагодарить его за проявленную ко мне доброту, я подробно поведал райтеру о том, что со мной проделывали в клинике доктора Бродского.

Он был настолько захвачен моим рассказом, что ни разу не перебил меня. Только кивал головой — понимающе, негодующе, осуждающе... Когда я кончил, он тяжело вздохнул и принялся собирать тарелки.

— Позвольте, я их сам вымою, — предложил я.

— Отдыхай, отдыхай, бедолага, — сказал он, открывая горячую воду. — Ты, несомненно, грешил и нарушал законы, но то, что они придумали тебе в качестве наказания, переходит всякие границы. Они превратили тебя в некое подобие машины, в полуавтомат, лишенный права свободного выбора. Тебя запрограммировали даже не на добро как таковое, а на совершение одобряемых обществом актов, удобных ему действий... Я ясно представляю твое поведение в пограничных ситуациях, при эмоциональных стрессах. Теперь все — музыка и физическая любовь, литература и искусство — превратилось для тебя из

источников наслаждения в источники боли и страдания. Бедный, бедный Алекс.

— Вы точно все определили, сэр,— согласился я, закуривая изящную длинную злопахоль с золотым мундштучком.

— Они всегда перегибают палку,— задумчиво произнес райтер, в третий раз переминая одну и ту же тарелку.— Вот и в случае с тобой они явно переусердствовали. Человек, лишенный выбора, перестает быть человеком. Они перешли ту грань, за которой начинается преступление против человечества.

— Ваши рассуждения очень похожи на рассуждения нашего тюремного капеллана. Он тоже утверждал, что без морального выбора нет человека. Правда, при этом постоянно ссылаясь на Бога, который следит за правильностью такого выбора.

— Да? Он тоже так считает? — оживился райтер.— Впрочем, иначе и быть не могло. Это основа христианского учения. Ну, да ладно. Я вижу, что утомил тебя. Договорим завтра, когда у меня соберутся мои друзья. Я думаю, что ты нам будешь очень полезен. С твоей помощью мы сможем разоблачить наше подлое правительство, опять рвущееся к абсолютной власти. Мы покажем народу всю бесчеловечность их программы, направленной на превращение нашей молодежи в механических исполнителей их воли. И еще гордятся этим, преподнося антигуманную технику Лудовико как панацею от всех общественных бед.

Он продолжал вытирать одну и ту же тарелку.

— Сэр, вы пятый раз трете одну тарелку,— не удержался я.

— Да? — очнулся он и уставился на отполированную до блеска тарелку.— Я слишком рассеян для домашних дел. Обычно ими занималась моя жена, я же был полностью поглощен писательством.

— Ваша жена, сэр? — с деланным безразличием спросил я.— А что, она вас оставила?

— Да, оставила... — с неизбывной тоской и болью повторил он.— Она умерла. Видишь ли, ее зверски избили и изнасиловали четверо молодых подонков. Прямо в этом доме, у меня на глазах. И я не смог защитить ее... — Его голос дрогнул, а лицо исказилось гримасой горя и страдания.— Бедняжка не перенесла потрясения... А я, как видишь, живу.

Он быстро отвернулся, чтобы я не видел его слез. Но я увидел другое. Тихая зимняя ночь. Четверо здоровых лбов в масках обманом врываются в мирный уютный дом и учиняют зверскую расправу над ним в чем не повинными людьми. И я их предводитель...

Как и следовало ожидать, вставшая перед моими глазами картина вызвала острейший приступ болезни Лудовико. Лицо мое помертвело и покрылось испариной. Вкусная пища подкатила к горлу, готовая в любой момент вырваться наружу. Заметив это, райтер по-своему истолковал мое состояние:

— Вот видишь, до чего я тебя довел своими разговорами. Пойдем, я покажу тебе твою спальню. Это бывшая комната моей Элен. Бедный, бедный парень. До чего довели тебя эти изверги! Еще одна жертва современного мира, как и она, моя несчастная девочка...

5

Я уснул только после того, как он дал мне какой-то сильный седатив, которым часто пользовался сам. Я отключился мгновенно и продрых часов десять без сновидений. Когда я проснулся, было позднее морозное солнечное утро. За окном коттеджа звонко пели птицы. С некоторым усилием я вспомнил, где нахожусь. Впервые за последние дни меня окружали покой и относительная безопасность. Из кухни доходил аромат свежесваренного кофе. Я решил покайфо-

вать, пока меня не позовут завтракать. Мысли мои текли ровно и безмятежно, и я был близок к тому, чтобы сказать: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Вдруг мне захотелось узнать, как же зовут моего спасителя и благодетеля. Я вылез из-под блэнкита и прошлепал босыми фит к большому книжному шкафу во всю стену. Где-то здесь обязательно должен стоять «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН», и уж на нем-то будет указано имя автора — доброго хозяина «НАШЕГО ДОМА». Однако, к моему разочарованию, на полках стояла масса умных книг... и ни одного «АПЕЛЬСИНА». Я осторожно прокрался в соседнюю комнату-спальню райтера. Войдя в нее, я остановился как вкопанный, потому что со стены на меня укоризненно смотрела та самая герла. Подавив ассоциативную боль, я поспешно подошел к навесной полке с буками и отыскал тоненькую книжку, на хребте-переплете которой после знакомого названия золотом было выведено: «Ф. Александер». Боже правый! Его тоже звали Алек! Я полистал книжечку, но так и не понял, о чем она. Меня поразило, что написана она в какой-то безумной манере, с многочисленными «ах» и «ох». Единственное, что я вынес из этого беглого просмотра, так это то, что в наше время всех людей — его, меня, моих предков с их правильным постояльцем, Кира, Билли, покойника Джоша и вас, да-да, вас, мои терпеливые слушатели,— пытаются превратить в механических роботов или их запчасти. В то время как каждый человек — неповторимая личность, уникальный плод матери-природы. Мой Ф. Александер наивно полагал, что все эти плоды-человеки растут на одном всемирном древе во вселенском саду, посаженном Господом Богом. И все мы нужны этому садовнику для того, чтобы он изливал на нас свою благодать и, в свою очередь, радовался нашим благим деяниям... Дальше шла такая же идеалистическая чушь и ах-охо-вая трескотня. И я подумал: может быть, этот мой тезка действительно с ума съехал после смерти жены? Но тут снизу раздался его вполне здоровый войс, теплый и доброжелательный, и я поспешил завтракать.

— Ну что, выпсался? — с улыбкой спросил он.— Уже десять. Я специально не стал тебя будить. Сам-то я уже успел поработать несколько часов.

— Очень мило с вашей стороны,— вежливо ответил я, намазывая тост баттером.— Пишете новую книгу?

— Нет, кой-какие статьи. Потом разговаривал с друзьями по телефону.

— А у вас разве есть телефон? — ляпнул я, забыв про осторожность.

— А почему ты решил, что у меня его нет? — ответил он вопросом на вопрос и пристально посмотрел на меня.

— Да так,— отвел я глаза в сторону, в душе проклиная свою неосмотрительность.— Просто вчера я его не заметил.

— Это и неудивительно. Ты был в таком состоянии,— смягчился он, а я подумал, что он, должно быть, помнит все мельчайшие детали той страшной ночи.

«Будь осторожен, парень, если не хочешь, чтобы тебя четвертовали... со всей вселенской любовью», — сказал я себе.

Некоторое время мы жевали молча. Потом он сказал:

— Я все утро звонил людям, которые должны обязательно заинтересоваться твоим случаем. Ты и не подозреваешь, каким мощным оружием являешься в нашей борьбе за то, чтобы это антинародное правительство вновь не победило на предстоящих выборах. С твоей помощью мы выйдем у них из рук главный козырь — их хваленые достижения по борь-

бе с преступностью. Ведь ты поможешь нам разоблачить их фашистские методы модификации индивидуального сознания? Они могут начать с преступников, а закончить нами, демократами, всеми инакомыслящими. Ты представляешь, что тогда может произойти? Все эти опыты во благо народа могут обернуться полным тоталитаризмом!

— Откровенно говоря, я не совсем ясно представляю, чем я могу вам в этом помочь,— честно признался я.

В глазах райтера появился безумный блеск, и он заговорил как сумасшедший, все более распаляясь и проглатывая слова:

— Ты живой свидетель этих дьявольских планов. Народ, простые люди должны знать, должны видеть, что затевается за их спинами.

Он порывисто выскочил из-за стола и принялся расхаживать по кичену, как будто репетируя гневную обличительную речь:

— Неужели вы допустите, чтобы с вашими сыновьями сделали то же самое, что и с этой бедной жертвой произвола властей? Неужели вы хотите, чтобы отныне правительство само решало, кого объявить преступником, врагом нации, а кого нет?

Спохватившись, он снова сел за стол, но к яйцу так и не притронулся.

— Пока ты спал, я написал статью. Через день-два она появится в газетах вместе с твоей фотографией. Тебе только нужно подписать этот скорбный перечень преступлений и несправедливостей, которые творились над тобой с благословения нашего правительства.

— Ну, а вам-то какой от этого прок, сэр? — искренне любопытствовал я. — Я имею в виду, чего добьетесь вы лично, кроме приличного гонорара за свою статью? Почему вы так рьяно выступаете против нынешнего правительства? Разве другое будет намного лучше?

Райтер схватился за край стола, так что побелели костяшки пальцев, и с пафосом произнес, скрипя прокуренными зубами:

— Кто-то же должен бороться за идеалы добра и справедливости? По натуре я тихий, мирный человек. Но я не могу спокойно смотреть, как попирается то, что для меня свято. Честные люди должны бороться против любых проявлений насилия над личностью. Таковы традиции свободолюбия. Однако масса слишком инертна. Ей наплевать на все, кроме собственного благополучия и личного покоя. В сытой спячке народ может допустить даже приход фашизма. Вот поэтому его надо постоянно будоражить, будоражить, будоражить!

И тут он, други, выкинул финт, заставивший меня в страхе сжаться. С горящими глазами он схватил со стола вилку и в бешенстве воткнул ее несколько раз в стену. Искорежив таким образом прибор, он в сердцах бросил его на пол.

Потом как ни в чем не бывало повернулся к вашему бедному рассказчику и с ласковой улыбкой произнес:

— Ешь, парень, ешь. Бедная жертва современного мира. Можешь съесть и мое яйцо.

У него явно были не все дома.

— Это очень благородно, все, что вы говорите, сэр. Но что от этого получу я? Меня это излечит? Смогу ли я слушать «Хоральную симфонию» и при этом не чувствовать себя, как беременная сука? Смогу ли я вновь зажить нормальной жизнью? Что же в конце концов будет со мной?

Тут, братья, он взглянул на меня так, будто я вовсе ни при чем и моя судьба ничего не значила по сравнению со Свободой, Равенством, Братством, Демократией и всей этой абстрактной мурой. По его

удивленному и слегка раздраженному фейсу я понял, что лично для меня в его грандиозных планах не было плейса. Он посмотрел на меня, как на безнадежного эгоиста, и неопределенно сказал:

— Ну, как я уже говорил, ты будешь живым свидетелем, пуэр бой, способствующим торжеству высоких идеалов... Давай доедай свой брэкфаст... Я покажу тебе мою статью, которая пойдет в «Уикли Трампит» под твоим именем, несчастная жертва.

То, что я потом прочитал в его кабинете, други мои, представляло собой пространную, туманную, сентиментальную дребедень, призванную вышибить слезу из нашего толстопоzego обывателя. Читая ее, я сам чуть было не прослезился — так мне стало жалко бедного мальчика (то есть меня), рассказывающего о своих страданиях и о том, как аморальное правительство лишило его воли и способности сопротивляться насилию и несправедливости. Далее я здорово так (ни дать ни взять профессор!) расписывал о том, что то же самое ожидает всех людей, если они не положат конец антинародным актам нынешней администрации.

— Здорово! — похвалил я. — Берет за душу и перекладывает все твои гатс.

— Что-что? — подозрительно переспросил он и сузил глаза.

— А, это? Это означает, что доходит прямо до сердца. Надсадский язык. Так сейчас говорят все тинэйджеры, сэр.

Райтер отправился за кухню мыть посуду, напряженно думая о чем-то, как будто пытался вспомнить что-то очень важное... Я же не думал ни о чем, отдавшись на волю случая. Так было проще. Дуракам вообще легче живется. Их запросы минимальны, равно как и спрос с них. Сиди и сопи в две дырочки. Или как младенец: обложился и молчи, жди, пока тебе сменят...

Мои глубокие выводы прервало треньканье звонка входной двери. Из кичена выскочил райтер, вытирая мокрые хэндзы о фронтирник.

— А вот и мои друзья! — радостно сообщил он.

Из антишамбра донеслись обычные в таких случаях «привет-привет», «ха-ха-ха и хо-хо-хо», «прекрасная погодка» и «рад тебя видеть, старина!». Тут в гостиную завалили три чудака и пытливно уставились на меня, а один из них, похожий на дистрофика или туберкулезника, тепло улыбнулся и произнес низким, прокуренным басом:

— Так вот он какой, твой неотесанный тезка. Ничего, мы его мигом отешем. — И он добродушно рассмеялся.

Ф. Алекс представил своих друганов. Басовитого дистрофика, с ног до головы осыпанного пеплом громадной сигары, которую он не вынимал из волосатого рта, звали З. Долин. Потом был еще какой-то Рубинштейн — маленький, толстенький мэн в круглых металлических очках, с академической бородкой и в шапочке. Третьего звали Д. Б. ДаСилва. Этот вообще был не мэн, а сперматозоид, такой же быстрый, энергичный, напористый. От него сильно воняло дорогими духами. Все трое долго жали мне хэнд, восторженно хлопали по шoulдеру и заглядывали в айзы, демонстрируя самые добрые намерения. Наконец, З. Долин пробасил:

— Великолепный экземпляр. Как раз то, что нам нужно. Для фотографий его можно даже подгримировать, чтобы он выглядел еще более болезненным и забитым... Мы сделаем из него настоящего зомби.

Я был категорически против того, чтобы меня «забивали» и делали из меня притрухнутого. Поэтому я горячо возразил:

— Это еще зачем? О чем толкует ваш друг, мистер Александер?

Вместо ответа райтер озадаченно произнес:

— Странно, но меня не оставляет ощущение, что где-то я уже с ним встречался. Такая специфическая манера разговора...

Он нахмурился, что-то напряженно вспоминая, а у меня все похолодело внутри. Но тут вмешался ДаСилва:

— Главное — организовать публичные выступления. Продemonстрируем его обществу... живьем. Ну и, конечно же, широкое паблисити. Основной лейтмотив: загубленная молодая жизнь. Разворочим муравейник! Воспламенем сердца людей!

Его темное лицо озарилось тридцатидвухзубым смайлом. Он явно принадлежал к породе иммигрантов.

— Но какую пользу для себя извлеку из всего этого я? — не утерпел «живой свидетель», о котором, казалось, все забыли. — Меня мучили в тюрьме, истязали в клинике, выгнали из дома собственные родители и их праведник-квартирант, поколотили полоумные старики и чуть было не отправили на тот свет новоявленные друзья-копполы. Что же будет со мной?

Рубинштейн успокоительным жестом положил мне руку на плечо:

— Вот увидишь, парень, партия не обойдет тебя своей благодарностью. В конце этой кампании тебя ожидает очень приятный и очень весомый сюрприз. Так что не волнуйся. Мы не бросим тебя на произвол судьбы, которая и так была к тебе очень несправедлива. Торжество справедливости и всеобщее благоденствие — вот наши конечные цели!

— К черту сюрпризы! — взъярился я. — Проклятая жизнь и без того накидала мне их по самую завязку! Единственно, чего я хочу, так это стать нормальным и здоровым, как прежде. Чтобы я сам мог решать, что мне делать, сам мог выбирать себе друзей, а не быть послушной марионеткой в руках попутчиков на тот свет. Способен ли кто-нибудь в вашей стинкинг партии вернуть меня к нормальной жизни?!

«Кашль-кашль-кашль», — многозначительно прокашлял З. Долин.

— Тебе уготована участь мученика за правое дело, — с пафосом проговорил он. — Но все равно мы тебя не оставим, Алекс-бой!

Такая перспектива была мне как-то не в жилу, и я заорал благим матом:

— Я вам не презерватив — использовал и выбросил. И не такой идиот, каким вы меня собираетесь выставить, вы, грязные интриганы! Я вам не какой-нибудь дебила...

— Дебила, дебила... — раздумчиво повторил Ф. Александер. — Похоже на кличку. Где-то я ее уже слышал... Странно... очень странно...

— Чего тут странного? Гоголь-моголь, Ванька-встанька, Кирилла-Дебила. О Боже!

Я в страхе посмотрел на райтера. От выражения на его лице у меня мороз пошел по коже. «Кажется, проболтался!» Не спуская с райтера настороженных глаз, я бочком пошел к двери, намереваясь прошмыгнуть в мою комнату наверху, где была моя одежда. Надо было рвать когти, пока он меня не вычислил.

— Черт! До чего же все-таки похоже, — ощерился Ф. Александер. — Но этого не может быть! Боже, если бы это вдруг оказался он, я бы разорвал его на месте. Но это невозможно...

— Ну, ну, успокойся, старик, — погладил его по плечу ДаСилва. — Все в прошлом. То были другие негодяи. Мы обязаны помочь этому бедному парню, который очень полезен нашему делу.

— Пойду переоденусь... Там май дресс, то есть я хотел сказать, одежда, — скороговоркой проговорил я уже с лестницы. — Пожалуй, нам лучше расстаться.

Я, конечно, благодарен вам за все, джентльмены, но я должен жить своею жизнью...

Тут все всполошились, а З. Долин твердо произнес:

— Ну уж нет, парень. Ты в наших руках, и мы не собираемся тебя отпускать, ты пойдешь с нами. Не волнуйся, все будет о'кей.

Тут он быстро подскочил ко мне и крепко схватил за хвзд. У меня мелькнула шальная мысль вырваться и ран, ран, ран от этих «доброжелателей», чем ранее, тем лучше. Но при одной мысли о сопротивлении и неизбежном файтинге у меня забурлило в стамэке и заломило в хэде. Я решил: будь что будет, и покорно произнес, избегая глядеть на сумасшедшего Ф. Александера:

— Хорошо! Говорите, что я должен сделать, и покончим с этим, бразерз.

— Вот и умница, — похвалил меня Рубинштейн. — Одевайся, и приступим.

— Дебила, дебила, дебила, — в ступоре повторял Александер. — Ну где я слышал эту кличку? Кто он?

Я быстро взбежал по лестнице, переоделся за какие-то капл секундз и направился к кару с тремя своими новыми фрэндами, не осмелившись попрощаться с гостеприимным хозяином «НАШЕГО ДОМА».

Д. Б. ДаСилва сел за водилу, а я устроился на заднем сиденье с Рубинштейном и З. Долиным по бокам.

Спустя некоторое время кар въехал в таун, а еще через пять минут остановился в том же самом районе, где располагался мой родной блок 18А.

— Вылезай, Алекс-бой, — сказал З. Долин, не выпуская изо рта неразлучную злопухолищу. — Пока ты остановишься здесь.

Мы вошли в стандартный подъезд стандартной многоэтажки со стандартизированной оптимистической живописью на стенах. Поднялись на не знаю какой этаж, прошли в стандартную флэт, и Д. Б. ДаСилва сказал:

— Вот тут ты будешь жить. Располагайся, парень. Еда в холодильнике, пижама в шкафу.

— Я бы хотел уточнить одну маленькую деталь, Алекс-бой, — прокашлял З. Долин. — У нашего друга Ф. Александера в связи с тобой возникли какие-то странные ассоциации. Ты случаем?.. Короче, это не ты с друзьями... тогда у него в доме?.. В общем, ты понимаешь, о чем я хочу тебя спросить?

— Я за все заплатил сполна, — не стал лгать я. — Бог тому свидетель. Теперь мы с ним коллеги. Ведь я — ваш живой свидетель, ведь так? — подколот я их. — Так вот, я заплатил не только за себя, но и за тех предателей, которые называли себя моими фрэндами. — От неприятных воспоминаний у меня опять начались колики. — Я, пожалуй, прилягу. Что-то мне нехорошо.

— Приляг, приляг, — одобрил меня Д. Б. ДаСилва. — Эта квартира в твоём полном распоряжении.

Они повернулись и ушли по своим делам, закрыв меня на ключ, чтобы я, не дай Бог, не смылся и не спутал их политические планы. Я же завалился на бзд прямо в бутсах, заложил хэндзы за хзд и устался в низкий, загаженный мухами, закопченный потолок. Как жить дальше? Куда бы скрыться от всех этих доброхотов? Под закрытыми веками вереницей проходили картинки из моей безрадостной жизни, лица сотен людей, которых я встречал на своем пути и среди которых не нашел ни одного, кому можно было бы доверять. Незаметно для себя я задремал.

Разбудила меня громкая музыка, доносившаяся из-за стены.

Это была знакомая мне Симфония № 3 датского композитора Отто Скаделига — неистовое, насыщенное септаккордами произведение, особенно в первой

части. Как раз ее сейчас исполняли. Несколько секунд я с наслаждением вслушивался в будоражащие душу звуки, но, к сожалению, наслаждение быстро сменилось нахлынувшим цунами невыносимой боли. Кто-то странный, невидимый завязывал узлом мои кишки. Я сполз с кровати и начал кататься по полу, вопя, как смертельно раненный зверь. Подкатившись к музыкоточащей стене, я принялся скрести ее ногтями и грызть зубами, истошно крича:

— Прекратите! Остановите музыку ради всего святого!

Но она не прекратилась и, казалось, зазвучала еще громче. Я барабанил в стену кулаками, ногами, головой, но все напрасно. Стараясь убежать, скрыться от этой пытки музыкой, я выскочил в маленькую прихожую и рванул дверь, забыв, что она заперта снаружи. Я сел посреди комнаты и засунул пальцы глубоко в уши, не замечая, что раню барабанные перепонки. Никуда не спрятаться, не скрыться от этой проклятой музыки. Или проклятым был я сам?

— Боже, помоги мне, если ты есть! Спаси меня, Господи!

Но старый фраер оставил свое заблудшее дитя.

И тут я вспомнил о подсказанном Им единственным выходе. Он лишь на время отсрочил неминуемую развязку, ниспослав мне, нет, не благодать и не забвение, которых я, видимо, не заслуживал, а свору безумных стариков, шизанутых коппол и чокнутых интеллигентов.

Уйти, исчезнуть из этого жестокого мира!

Схватившись за край стола, поэтапно, я поднялся на ноги, и тут мое внимание привлекло крупно выведенное на какой-то брошюре слово «СМЕРТЬ». И хотя я прочитал всего лишь: «СМЕРТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ», я понял, что это знак свыше. Сцепив зубы, я взял со стола другую книжонку, на обложке которой было нарисовано распахнутое окно. Раскрыв ее, я прочитал: «Распахните, как окна, ваши души навстречу свежему воздуху свободы, новым идеям и образу жизни!»

В мгновение ока я вскочил на подоконник и рывком открыл окно. И крикнул в мир: «Прощайте и простите! И да накажет вас Господь за загубленную жизнь!»

Под бравурные звуки музыки я нырнул вниз в спасительную пустоту...

Итак, я прыгнул, братья мои и други, решив разом покончить со всеми моими мучениями. Но это был не конец, хотя я сильно расшибся о газон. Счастье еще, что не о тротуар. Да и высота оказалась недостаточной, чтобы разбиться насмерть. К тому же во мне сработал кошачий инстинкт, и я приземлился на четыре кости, а уж потом шмякнулся мордой о подернутую морозной коркой землю. Как бы то ни было, я повыворачивал себе суставы, сильно повредил позвоночник, как наждаком, содрал свой фейс, так что одно ухо у меня переместилось на затылок, а через другое вылез ноуз (по крайней мере, так мне тогда показалось), прежде чем я вырубился под удивленно-испуганными взглядами прохожих.

Но тогда мне было вовсе не до смеха. Придя в себя после миллиона лет беспмятства, я попытался осмыслить, что же со мной произошло, и угадать, на каком я свете — на том или все-таки на этом. Если на том, то почему в таком случае так воняет лекарствами, спиртом и антисептиками? Если на этом, то откуда райский запах живых цветов? И почему я совсем не чувствую своего тела? Я разлепил один глаз (другой был забинтован наглухо) и осмотрелся. Весь я был спеленут, как бэби. Рука и нога висят на растяжках, будто кто-то вознамерился взвесить меня по частям и начал с конечностей. Справа на кронштейне висит боттл с кровью, и она стекает по прозрачной трубке

прямо к игле, воткнутой в другую мою руку. Но почему же я совершенно не чувствую боли? Мысль заработала четче, и вспомнились события, предшествовавшие моему свободному падению. В душу закралось страшное подозрение о том, что сдернувшая меня с катушек музыка — это дьявольская выдумка моих новых друзей-интеллектуалов. Они решили до предела драматизировать ситуацию в своих далеко идущих политических целях. Неужели все люди — изверги и садисты? В таком случае я — теленок по сравнению с ними...

Рядом с моей койкой сидела молодая гримза в очках и в белом халате. Она с упоением читала какой-то роман, и по ее прерывистому дыханию и по тому, как она жадно облизывала пухлые губы ярко-красным кончиком языка, я понял, что она дошла до сцены про это. Вообще-то она была очень даже недурна, и из-под халата у нее выпирали очень даже соблазнительные груди. И я сказал, наконец-то поверив, что еще жив:

— Нырять сюда, детка. Мы с тобой сможем не хуже, чем они, девочка.

Однако у меня почему-то получилось: «не фуже фем они, фефочка», поскольку рот был какой-то ватный, язык деревянный, а в распухших деснах недоставало еще нескольких зубов. Герла подскочила от неожиданности, уронив книжку на пол, и сказала не то с радостью, не то с огорчением:

— О, наконец-то ты пришел в себя.

Она поспешно вышла, видимо, для того, чтобы сообщить врачу. По абсолютной тишине я понял, что лежу в отдельной, уютной комнате с цветами на тумбочке, а не в отвратной общей палате, как это случилось со мной в детстве, когда я заболел дифтерией. Тогда меня окружали с десятков старых кашляющих, смердящих мэнов, от одного вида которых хотелось или умереть сразу, или поскорее выписаться, только бы не видеть их гнусных рож... С этими невеселыми мыслями я опять впал в сон, похожий на смерть. Но тут снова появилась сексуально озабоченная медсестра, а с нею еще несколько мэнов в белых халатах. Самый старый из них наклонился ко мне, задрал веко единственного свободного глаза, пощупал пульс на незабинтованной руке и похмыкал, хмуро и озабоченно: «Гм-гм-гм, могло быть и хуже... Он еще легко отделался». Приоткрыв один глаз, я заметил среди белых халатов сострадательное лицо капеллана из старой Стаи, который с чувством произнес:

— О, сын мой, до чего они тебя довели... — Он выдохнул концентрированное облако спиртных паров и сокрушенно добавил: — Но я в этом больше не участвую. Баста! Я не подпишусь под тем, что они собираются делать с вашими заблудшими преступными душами. Отныне я буду только молиться за то, чтобы Господь наставил вас на путь истинный.

Я еще долго балансировал на грани бытия и сознания и, очнувшись в очередной раз, увидел около постели тех, из чьей квартиры выпрыгнул в надежде свести счеты с жизнью. Над моей кроватью склонились озабоченный фейс Д. Б. ДаСилвы, борода Рубинштейна и аскетично-чахоточное лицо З. Долина, который, казалось, вот-вот выжжет мне единственный глаз своей неизменной сигарой.

— Наш молодой друг! — говорил кто-то из них. — Сердца людей возгорелись благородным гневом, когда они узнали твою правдивую историю, и правительство потеряло последний шанс на переизбрание. Оно рухнуло и никогда больше не поднимется. Ты сослужил добрую службу святому делу освобождения человечества.

Меня передернуло от такого напыщенного спича, и я с горечью сказал:

— Я бы сослужил вам еще большую службу, если

бы вовсе отбросил копыта, лживые грязные политики.

Я намеревался гневно бросить им в лицо эти разоблачения. На самом же деле только издал какие-то хрипы, бульканье и нечленораздельное мычание. Они восприняли мою «пламенную» речь как одобрение своих ловких действий и восторженно протянули мне кипу вырезок из разных газет. На одной из них я увидел себя, окровавленного и в беспмятстве, на носилках, окруженных санитарями, полицией и какими-то людьми с раскрытыми в ужасе глазами. Я пробежал глазами заголовки, которые взмахом извещали:

«ЮНАЯ ЖЕРТВА ПРЕСТУПНОГО РЕФОРМИСТСКОГО ЗАГОВОРА», «ПРАВИТЕЛЬСТВО — УБИЙЦА» и «ПРЕСТУПНИКИ У ВЛАСТИ».

На одной из фотографий я узнал Министра с довольным растерянным лицом. Под ней была подпись: «ДОЛОЙ ДЬЯВОЛА В МИНИСТЕРСКОМ ОБЛИЧЬЕ! ВОН! ВОН! ВОН!»

Я неловко пошевелился, и сестра милосердия строго предупредила:

— Пострадавшего нельзя волновать. Смотрите, как он расстроился. Посещение окончено. Пожалуйста, выходите.

То ли я действительно был еще очень слаб, то ли просто эти клоуны меня утомили, но я опять погрузился в темноту, озаряемую ярчайшими вспышками отрывочных сновидений. Например, мне чудилось, что меня вывернули наизнанку, выпотрошили, тщательно промыли и опять заполнили какой-то чистой, совершенно новой субстанцией. Потом мне приснилось, что я пересекаю улицу в мощном спортивном каре, но не по хайвею, а прямо по улицам и тротуарам тауна и с наслаждением давлю испуганных пешеходов, не испытывая при этом ни боли, ни страха... В другом сне я разложил приветливую медсестру посреди палаты и делаю ей внутриутробное вливание. Она с удовольствием принимает меня, а собравшиеся вокруг полицейские, бродские, министры, капелланы, политики и прочие «апельсины» восторженно нам аплодируют...

Когда я проснулся, то увидел хмурого фазера и беззастенчиво рыдающую мам. Во мне не дрогнула ни одна струна, и я безучастно спросил:

— Ну, как поживает ваш новый сынишка Джо? Надеюсь, радует своих папу с мамой?

— О, Алекс, сынок, — запричитала мам, а отец сказал укоризненно:

— Ну, зачем ты так... Да, у него вышли какие-то неприятности с полицией, сын.

— Да что ты говоришь? Какая жалость! Передайте ему мои искренние соболезнования.

— Вообще-то он не виноват. Он никогда ни во что не вмешивался. Просто стоял на углу и ждал свою подружку. К нему подошли полицейские и приказали двигать отсюда. Он сказал, что он свободный гражданин и вправе стоять, где хочет. Тут они набросились на него и здорово поколотили. Потом засунули в машину и увезли куда-то за город... Когда он добрался до дома, мы его узнали с трудом. Он подался в свои родные места. Так что твоя комната свободна...

— ... и вы хотите, чтобы я вернулся и все у нас было по-прежнему?

— Да, сани. Точно так. Ты уж, пожалуйста, не отказывайся. Ладно?

— Хорошо. Я, пожалуй, подумаю над вашим предложением.

— У-у-у...! — опять завывала мам, и я взорвался:

— Заткнись! Очень тебя прошу, а не то я тебе помогу...

И, о чудо! От этой непреднамеренной грубости, братцы, мне стало как-то легче. Может быть, пока я спал, мне действительно заменили испорченную

кровь? Получалось так: чем я хуже, тем мне лучше. Интересна-а! О чем-то подобном мне толковали мои друзья-интеллектуалы. А может быть, я уже революционер?

— Ты не должен так разговаривать с матерью, — осуждающе проговорил отец. — В конце концов она принесла тебя в этот мир.

— Добавь: в грязный, стинкинг, безжалостный мир, в котором человек человеку — волк. Впрочем, я не просил ее об этой услуге. — Я устало закрыл айзы и примирительно добавил: — Ладно, идите. Я подумаю о том, чтобы вернуться. Только теперь все будет по-другому.

— Да, сын. Будет так, как ты скажешь, — поспешно согласился dad. — Только поскорее поправляйся.

Мать подошла ближе и поцеловала меня в лоб, обдав жаркими слезами.

Когда они, наконец, ушли, я лежал, пытаюсь собрать воедино мои растрепанные мысли и ощущения. Определенно со мной происходила какая-то метаморфоза. В палату вошла медсестра, которую я с таким успехом поимел во сне. Она оправила мою постель, и я спросил:

— Сколько я здесь валяюсь, детка?

— Уже почти неделю, малыш, — ответила она, коротко стрелнув айзами.

— И что вы тут со мной проделывали?

— Собирали тебя по частям. У тебя множественные переломы, и ты потерял много крови. К тому же сильная контузия. Пришлось делать прямое переливание от нескольких доноров.

— А мозги мне не перелопачивали? У меня какие-то странные ощущения и ассоциации.

— Все, что с тобой делали, делалось исключительно для твоей пользы.

— Недостающих частей не оказалось? — улыбнулся я.

— Нет, у тебя все на месте, — игриво улыбнулась она в ответ.

— Немного оклемаюсь, и мы с тобой это проверим, — пообещал я.

Через пару дней ко мне в палату зашли двое молодых врачей со сладкими приклеенными смайлами. Один из них раскрыл передо мной какую-то детскую бук с картинками и бодро сказал:

— Вот взгляни и скажи нам, что здесь изображено. О'кей?

— Что это? Тест на кретинизм, други?

Они смешались, потом натянуто рассмеялись.

— Нет, хотим послать тебя в космос.

— Я там уже был, — хмуро буркнул я.

— Вот взгляни. Что это?

Один из них указал пальцем на фотографию птичьего гнезда с яйцами.

— То, что висит у вас между ногами.

— Ну, а если серьезно?

— Гнездо, а в нем яйца, если вы уж так хотите.

— И что бы тебе хотелось с ними сделать?

— Расколотить их вдрызг о вашу башку. Вот была бы потеха!

— Прекрасно, — оживились они и показали мне следующую картинку.

— А это что за гусь?

— Не гусь, а павлин, — поправил я его. — Этому я бы точно повывергивал все перья, чтобы не задавался.

— Так, хорошо. Так, так, — удовлетворенно квакали они, продолжая показывать разные картинки и проверяя мою реакцию.

От птиц и зверей перешли к людям. Показали несколько свэлловых герл, и я откровенно признался, что хотел бы трахнуть их, не отходя от кассы. Потом сцены избиения хорошо одетых мэнов,

и я сказал, что с удовольствием помог бы этим парням пускать кровь этим зажавшимся буржуям. Под конец мне продемонстрировали голого бородатого мужика (кажется, такого же я видел в Библии в конторе тюремного капеллана), который пер здоровый крест на вершину холма.

На вопрос, что бы я сделал, я с раздражением ответил:

— Попросил бы молоток и гвозди.

Эти клистирные трубки мне порядком надоели со своим тактакием, и я спросил в упор:

— Ну, как? Удовлетворены? Все же, что со мной?

— Глубокая гипнопедия, — ругнулся один из них, а второй добавил: — Радуйся, парень, ты абсолютно здоров!

— Здоров?! — взвился я. — И это вы называете здоров, когда на мне живого места нет?

— Э, это мелочи, — успокоили они меня. — Немного отлежишься и встанешь.

И действительно! Мое самочувствие улучшалось не по дням, а по часам. Кормили меня отменно, и через несколько дней я впервые попытался завалиться на свою кровать медсестру, но та со смехом отбилась. А еще через несколько дней она сообщила, что сегодня у меня будет очень большая шишка.

— Она у меня и так уже есть, — улыбнулся я, кладя ее руку на одеяло.

— У тебя одно на уме, глупый. Я серьезно. У нас сегодня очень важный посетитель. С утра все стоят на ушах.

— Кого это еще черт принесет? — удивился я.

— Скоро сам увидишь, — уклончиво ответила она, причесывая мой отросший ежик.

И я увидел, други мои и братья!

В два тридцать дня ко мне в палату ввалилась дерганая кодла газетчиков и камерамэнов и прочей пишущей и снимающей братии. И тут в окружении врачей ко мне под фанфары вошел валяжный и представительный... Министр!

С ослепительным смайлом шесть-на-девять он протянул нашему бедному рассказчику холеную хэнд с нананикюрными нэйлзами и бодро произнес, глядя в теле- и фотокамеры:

— Хэллоу, бой! Как твое самочувствие?

— А твое, сучий потрох? Давненько не виделись, гной ты вонючий!

Никто из окружающих не расслышал, а если и расслышал, то не понял теплого приветствия «парня из народа своего лидера». А лучезарный «лидер» отвалил от изумления челюсть, но тут же захлопнул ее, чтобы его секундное замешательство, не дай Бог, не попало в газеты. Тут кто-то дружески зашептал мне на ухо:

— Не забывай, с кем разговариваешь, ублюдок.

— Пошел ты... — оскалился я. — В гробу я тебя видел вместе с твоим стинкинг министром.

— Не приставайте к бедному парню, — быстро проговорил Министр. — Он говорит со мной, как с другом. Мы же с тобой друзья, Алекс-бой?

— Угу! Я друг всем, кроме моих врагов.

— А кто твои враги, сынок? — спросил Министр, в то время как репортеры живо застрочили перьями и сунули мне в ноуз диктофоны.

— Все, кто причинял мне боль и страдания.

— Ну, в этом мы сейчас разберемся, — сказал Министр, присаживаясь на край моей кровати. — Мне и моему правительству, членом которого я являюсь, хотелось бы, чтобы ты считал нас своими друзьями. Да, мы — твои друзья, парень. Разве мы не проявляем постоянную заботу о тебе и таких, как ты?

— Ничего себе, заботу! Чтобы черти о тебе так заботились на том свете!

— Разве тебя плохо лечат после того несчастного случая? Ведь это же был несчастный случай? —

упрямо наседали он, гипнотизируя меня волчьими глазами.

— Да уж какое тут счастье, — менее уверенно проговорил я.

— Вот видишь, — подхватил он. — Мы никогда не желали тебе вреда, в отличие от некоторых. Ты, наверное, догадываешься, о ком я говорю. Да, точно. Они хотели использовать твою неопытность и неискренность для своих политических целей. Эти бессовестные негодяи были бы только рады твоей смерти, поскольку всю вину можно было бы свалить на правительство, отдающее последнюю рубашку на благотворное дело воспитания подрастающего поколения.

Я с недоверием покосился на его тысячедолларовый сыкт.

— Тебе наверняка знакомо имя Ф. Александера, — продолжал пудрить мне мозги Министр. — Этот гнусный пачкун, беспринципный пасквилянт жаждал твоей крови. Он одержим безумной идеей изрубить тебя на куски, поджарить на медленном огне и Бог знает что еще. Но теперь ты спасен. Мы поместили его в соответствующее заведение.

— Но он относился ко мне по-дружески, ухаживал, как мать за больным ребенком... — уныло проговорил я, чувствуя, что вот тут-то он меня достал.

— Ему стало известно, что в прошлом ты совершил что-то ужасное по отношению к его семье. Вернее, так ему это представили, — быстро поправился Министр, заметив, как я неожиданно побледнел. — Во всяком случае, он вбил себе в голову, что ты ответственный за смерть одного из очень близких ему людей.

— Так ему сказали, — неопределенно проговорил я.

— Так вот, месть переросла у него в манию, в единственную цель в жизни. Пришлось его изолировать для его собственной безопасности... и твоей тоже.

— Очень предусмотрительно с вашей стороны. Он действительно был опасен.

— Когда ты выйдешь отсюда, — с энтузиазмом продолжал Министр, — тебе не о чем будет беспокоиться. Я лично прослежу за тем, чтобы ты получил хорошую работу с приличным жалованьем. Ты нам здорово помог, парень.

— Я — вам? — изумился я.

— Мы всегда помогаем нашим друзьям и сторонникам!

Тут кто-то крикнул: «Улыбка!», и я машинально осклабился. Затрещали камеры, засверкали фотовспышки, запечатлевая этот знаменательный момент.

— Ты отличный парень, Алекс, — одобрительно хлопал меня по плечу этот великий мэ. — А сейчас небольшой подарок от правительства.

Два мордovorота, с которыми я бы предпочел не встречаться без адвоката или на худой конец без моего каттера в кармане, внесли большой блестящий ящик. Это была великолепная стереосистема. Ее поставили возле кровати, распаковали и подключили к сети.

— Ну, что тебе поставить? — спросил незнакомый мэ в очках. В руках у него была целая кипа новеньких блестящих дисков. — Моцарта? Бетховена? Шёнберга? Карла Орфа?

— Девятую, хоральную, — завороченно прошептал я.

Зазвучали божественные аккорды. Публика начала потихоньку рассасываться. Я откинулся на подушки и блаженно закрыл айзы. «Умный, сообразительный парень», — сказал Министр на прощанье и вышел. В палате оставались только двое: мэ в очках и медсестренка. Мэн несмело тронул меня за рукав:

— Распишитесь, пожалуйста, здесь.

Я открыл айзы и послушно подписал, даже не взглянув, что это. Да мне это было как-то все равно.

Медсестра одарила меня многообещающей улыбкой и вышла вслед за очкариком. Мы с Людвигом Иваном остались одни.

Его скорбно-торжественная музыка подхватила меня и понесла, как в добрые старые времена. Когда зазвучало скерцо, я увидел себя, бегущего по огромному безбрежному морю, кромсающего своим каттером искаженное гримасой боли лицо мира.

Наконец-то я снова был здоров.

*Перевод с английского
Евгения СИНЕЛЬЩИКОВА*

Словник к повести Э. Берджеса «Заводной апельсин»

айзы — глаза
антишамбр — прихожая
баттер — масло
блэнкит — одеяло
брейнз — мозги
брейнушинг — промывание мозгов
бузом — грудь
бэд — кровать
гатс — кишки
гифт — подарок
гоу хоум — идти домой
дор — дверь
драйвер — водитель

дروبэкс — недостатки
дроп — капля
изэрфоунс — наушники
кантри — провинция
капл секондз — пара секунд
кок — половой член
криче — создание
лаудспикер — громкоговоритель
литл бэби — маленький ребенок
мемори — память
нэйлзы — ногти
пуэр бой — бедный парень
референская литерача — справочная литература
ридальня, ридинг холл — читальный зал
свэлловая — аппетитная
сингинг — произв. от «петь»
скин — кожа
скрин — экран
смолл син — маленькая слабость
сонг — песня
сосиджис — сосиски
стартид — начал
стафф — препарат
стомак — желудок
сьют — костюм
тамблер — стакан
торчеры — мучители
фит — ноги
флэт — квартира
фортнайт — две недели
фронтирник — передник
фуд — еда
хауз — дом
хэм — ветчина
шелф — полка
шоппинг — ходить по магазинам
шугер — сахар

Если вы хотите выглядеть **МОДНО** **ЭЛЕГАНТНО**

**поступайте в учебный комбинат мастеров
ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА**

здесь Вас научат:

-  **конструировать выкройку**
-  **кроить и шить**
-  **вязать и вышивать**
-  **изготавливать головные уборы**

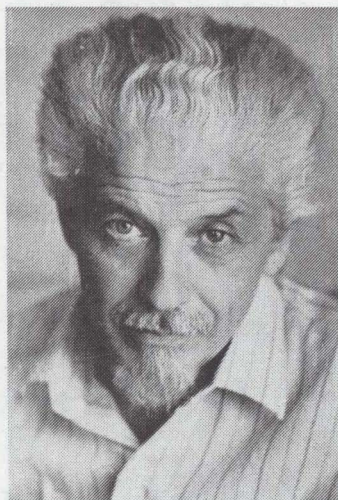
у нас единственные в СССР заочные курсы машинного вязания

123100 Москва, Студенецкий переулок, дом 4. телефон: 205-14-58



До отъезда из нашей страны Ф. Кандель писал под псевдонимом Феликс Камов. Он один из бывших редакторов «Фитиля», один из трех авторов сценария мультипликационного цикла «Ну, погоди!». Сейчас живет в Иерусалиме, чувствует себя там хорошо, чего и нам желает, предоставляя новые произведения.

Феликс КАНДЕЛЬ



ТЕМНОТА

Полная темнота. Угольная, непроницаемая.

И в темноте — храп. Скорее всего мужской...

Чуть-чуть посветлело. Стало проглядывать что-то белое. И черное на нем. И светящиеся стрелки часов.

Зазвенел почти невидимый будильник. Высунулась из мрака волосатая рука, пошарила вокруг, ударила кулаком.

Будильник расплющился. Стрелки погнулись.

Рисунок
Юрия Петелина

Тишина...
Храп...
Еще посветлело. Стало видно окно. И ветки за ним.

Взлетел на окно петух, победно закукарекал.

Высунулась из мрака рука, пошарила на окне, свернула петуху шею.

Тишина...
Храп...

Посветлело еще заметнее. Стала видна постель. И нос в мягкой подушке. И тупой затылок.

Вылезла из-под кровати кошка, замыкала громко.

Высунулась из-под одеяла волосатая рука, нашарила на полу туфлю, с треском прихлопнула кошку.

Тишина...
Храп...

Стало еще светлее. Кровать оказалась широкой, двуспальной.

Проснулась жена, села, зевнула сладко.

Высунулась из-под одеяла рука с молотком, взмахнула у нее над головой...

Тишина...
Храп...

И вот уже совсем светло. Сосед в доме напротив появился в окне, бредет, насвистывает песенку.

Пошарила рука вокруг, нашла на столике маленькую катапульту, оттянула резину. Со свистом полетел камень, ударил соседа в лоб.

Тишина...
Храп...

Порозовел восток, пошли мимо забора прохожие, зашумели на все голоса.

Пошарила рука на стене, дернула за рычаг, рухнул забор, накрыл всех прохожих.

Тишина...
Храп...

Окрасились облака на небе невидимым еще солнцем, поехала по улице машина, зарычала, загудела.

Пошарила волосатая рука под подушкой, вытащила гранату, кинула через окно.

Грохот...
Тишина...
Храп...

Показался на горизонте краешек солнца, полетел по небу серебристый самолет, загудел по-шмелиному.

Пошарила рука под потолком. нащупала кольцо, дернула. С крыши дома ударил по самолету спаренный пулемет.

Гудение оборвалось...
Тишина...
Храп...

Выкатилось на небо солнце. нацелилось лучом в тупой затылок.

Пошарила рука на спинке кровати, нажала кнопку.

Раздвинулся газон около дома, открыл глубокую шахту. Взлетела из шахты ракета — и прямо к солнцу.

Взрыв!

Солнце — в клочья!

И тьма...
Непроницаемая тьма.

И тишина...
Глухая тишина.

И долгий, победный храп!!.

ЭКОЛОГИЯ

Идет по земле человек в скафандре. Космонавт.

Идет мимо гор ржавого металлолома.

Мимо грязной реки.

Мимо вырубленного леса.

Мимо холмов зловонного мусора.

Подошел к ракете, оглянулся, в последний раз оглядел землю.

Трубы дымят разноцветными ядовитыми дымами.

С неба сыплются ядовитые хлопья.

Солнца не видно.

Листья на деревьях бурые.

Трава — черная.

Лица у людей — зеленые.

Самых людей — неисчислимое множество.

Вздыхнул космонавт.

Захлопнулась дверь.

Взлетела ракета.

И летит она долго...

Очень долго...

К далеким мирам...

Села ракета на незнакомую планету.

Открылась дверь.

Вышел космонавт.

Огляделся.

Прекрасная планета!

Чистый воздух.

Высокие травы!

Густые леса!!

Полноводные реки!!!

Ласковое солнце!!!!

И ни одного человека!..

Засмеялся от удовольствия космонавт...

Отошел от ракеты...

Приподнял скафандр...

Присел на корточки...

Встал...

Деловито, не оглядываясь, вошел в ракету.

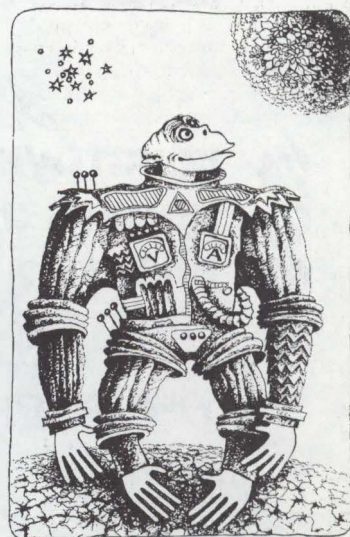
Хлопнула дверь — взлетела ракета.

Улетел космонавт по важным земным делам.

И на прекрасной планете остался маленький бугорок...

Пятнышко...

Первый след человека!



**Арк. АВЕРЧЕНКО,
Арк. БУХОВ,
Георгий ЛАНДАУ,
Н. А. ТЭФФИ**

АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

Рисунки Георгия Мурышкина

СЕРДЦЕ

Сердце находится в груди.
Состав его бывает различен.
К наиболее часто попадающим
разновидностям принадлежат:

- 1) Сердце пламенное (пылкое)
- 2) Сердце каменное
- 3) Сердце черствое
- 4) Сердце отзывчивое
- 5) Сердце материнское
- 6) Сердце легкое
- и
- 7) Сердце разбитое.

Приводим свидетельства ученых,
проверенные опытами в собственной
лаборатории.

- 1) «Спрятался месяц за тучку,
Не хочет он больше гулять,
Дайте ж мне правую ручку
К пылкому сердцу прижать».
- 2) «Но в сердце каменном
Лили
Ничто не шевельнулось».

3) «Какое черствое сердце
у нашего судьи! — воскликнула
Элажбетта».

4) «Обращаюсь при содействии
Вашей уважаемой газеты к отзыв-
чивым сердцам читателей».

5) «И прошу вас, господин дирек-
тор, выпорите вы Петьку-оболтуса
собственноручно, чтоб он, дармоеди-
на, не сидел третий год в одном клас-
се и не обливал кровью мое мате-
ринское сердце».

6) «Дав взятку, кому следует, он
с легким сердцем пошел домой».

7) «И сердцем разбитым
живу да живу!»

Таков состав сердца.

Бывают еще сердца «ретивые»,
«чистые», «самоотверженные», но
встречаются они редко и могут быть
отнесены к явлениям патологиче-
ским.

Наружный вид сердца очень вол-
нующий, вроде раздвоенной редьки
хвостом вниз. Изображается обык-
новенно в упрощенном виде с торча-
щей из него стрелой.

Деятельность сердца бывает са-
мая разнообразная.

Оно: пылает, трепещет, рвется
(без всякого для себя ущерба),
бьется, останавливается, бывает го-
тово выскочить, ноет и даже облада-
ет памятью. В некоторых случаях,
правда, весьма болезненных, сердце
даже служит кладбищем:

— Похороню на дне сердца!

ДЫХАНИЕ

Каждое живое существо нуждается
в кислороде.

Если кто-либо станет уверять вас
в своем равнодушии к кислороду —
не верьте ему.

Люди дышат легкими, помещаю-
щимися в грудной клетке.

В клетке этой иногда заводится
жаба. По месту жительства она так
и называется «грудная жаба».

Легкие для красоты и удобства
окружены ребрами.

Спереди у ребер находится так на-
зываемая «ложечка». Сама по себе
она особого значения не имеет, так
как не может пригодиться в самой
скромной сервировке.

Зато под этой ложечкой находит-
ся очень чувствительное место, ко-
торое часто болит, преимущественно
у лиц женского пола купеческого
звания.

У людей высшего происхождения
боли этой не бывает, и, вообще, они
на ложечку обращают мало внима-
ния.

Есть, впрочем, мрачная легенда
про одного высокомерного средневе-
кового барона, который велел юве-
лиру изобразить гербы на всех своих
сокровищах, в том числе и на выше-
поименованной ложечке.

Ювелир выпотрошил барона, но
ложечки не нашел. Барон обвинил
ювелира в краже и приказал пове-
сить на одной веревке с собакой.

Темными ужасами средневековья
веет от этой истории.

Перейдем к пищеварению.



Случалось ли вам видеть, как ест
человек?

Кому случалось, тот долго не забу-
дет этого зрелища.

Наука подразделяет этот процесс
на следующие разновидности.

Она говорит:

1) «Человек кушает» — о лицах
женского пола благородного проис-

хождения и о лицах мужского пола,
начиная от действительных статских
советников.

2) «Человек ест» — непочтенный
человек, неважная птица.

3) «Человек лопаёт» — уже со-
всем низкого происхождения, и ло-
пает он, что попало.

4) «Человек трескается» — и низкий
и вдобавок голодный, потому что
слово «трескаться» указывает на любо-
пытное явление — у него при этом
трещит за ушами.

5) «Жрут» уже совсем грубые ор-
ганизмы, о которых в популярном
учебнике упоминать не стоит.

6) «Уплетают» иногда довольно
утонченные натуры, но только в том
случае, если их никто не видит.

Пищеварением своим человече-
ская особь наиболее гордится. Для
этого в сущности очень простого фи-
зического процесса люди часто соби-
раются скопом нередко с большой
торжественностью.

Процесс кровообращения или ды-
хания заслуживает не меньшего ува-
жения, но люди не придают ему
большого значения и не приглашают
друзей милыми записочками:

«Cher ami!

Если вы свободны, приезжайте
к нам сегодня вечером кровообра-
щать вместе».

Часто пищеварению придается об-
щественное значение. Собираются
пищеварить люди, объединенные од-
ной идеей, стремящиеся к одной
цели.

Вдохновенный оратор, прервав на
минуту свое пищеварительное заня-
тие, вскакивает с места и кричит пла-
менные слова. Окружающие, делая
вид, что захвачены пламенными сло-
вами, тихонько пережевывают за бла-
говременно сунутый за щеку кусок
жареной тетерки.

Такое совместное пищеварение
людей, объединенных идеей, называ-
ется «банкетом».

Вообще, как упомянуто выше,
люди относятся к процессу пищева-
рения с особенным вниманием. Че-
ловек желает пищеварить везде, где
только есть к этому малейшая воз-
можность. Все счастливые, несча-
стные, деловые и веселые моменты
своей жизни человек отмечает этим
процессом.

Он ест в театре, на похоронах,
в окружном суде, на выставке, на
вокзале, на Юнгфрау, в вагоне, ест
на земле, на воде, в воздухе, ест,
когда его судят, когда его женят,
когда он смотрит на водопад, когда
слушает шансонеток, когда заключа-
ет коммерческую сделку, когда тре-
бует смены министерства и когда
приходит на любовное свидание.

Пищеварительный процесс всегда
и всюду вызывает к себе внимание
и сочувствие.

— Чудный вид с этих гор, но пред-
ставьте себе — закусить негде.

— Да ведь вы только что обедали.

— Ну, знаете, все-таки можно бы
хоть бутерброд, что ли? А то как-то
неловко.

— Я люблю вас... Поедьте зав-
тра вместе ужинать.

— В понедельник назначен банкет
независимых провинциалов...

— Как грациозен этот танец! Очаровательная Отеро! Дайте мне скорее севрюги с хреном!

— Я безумно взволнован... Один с икрой и один с сыром. «Экстаз» гораздо ярче «Прометея». Я прямо весь дрожу... Чего же вы два с икрой, когда я просил один и один с сыром?

Едят, кушают, уплетают, лопают. Все поглощенное проваливается в так называемый кишечник или кишки, место столь не изысканное, что о нем в приличном обществе говорить не принято. Изображение же кишечника хотя и появляется часто на футуристических выставках, но называется оно тогда или «Девушка с цветами», или «Осенняя песнь», или «Город Казань».

Среди кишек есть одна слепая. В отличие от остальных зрячих, она так и называется слепой.

Эта слепая кишка причиняет людям много хлопот и неприятностей, ибо часто сослепу проглотит то кость, то пуговицу и потом страдает.

Окулисты излечить эту слепоту от казались раз навсегда, что чести им не делает.

Процесс питания (жевания, глотания, смакования и ругания, ежели что плохо) происходит у современного человека с большими сложностями.

Каких-нибудь триста тысяч лет тому назад человек был неприхотлив. Берцовая кость мамонта или лапа ихтиозавра, съеденная на ходу, вполне удовлетворяла вкус и аппетит человека.

Организм современного человека изнежен, извращен и утончен.

Для введения пищи в пищевод и правильного воздействия на нее желудочного сока необходимы:

1) Румынский оркестр с солидным номером: «Я вас ждала с восторгом сладострастья».

2) Иллюстрированный или юмористический журнал.

Все это трудно и требует затрат. Поэтому современный человек тощ и слаб.

По свидетельству современника:

Мы все здоровьем хлипки,
Все зелены с лица.

По поводу важности питания для человека народная мудрость говорит:

«Человек есть, что он ест».

Кажется, эта мудрость переводная с иностранной мудрости. Но все равно она существует и будем ею руководиться.

При встрече с человеком во что бы то ни стало старайтесь выведать, что он ел, иначе вы можете впасть в досадное заблуждение и наделать непоправимых ошибок.

Представьте себе, что встреченный вами человек имеет вид и положение солидного коммерсанта. Вы так и относитесь к нему и уже не прочь пуститься с ним в совместные торговые предприятия. Но вспомните вовремя о народной мудрости, ставите вопрос ребром:

— А что вы изволили сегодня кушать, Петр Степанович?

И вот вместо ожидаемой редьки

с квасом, шей, каши и жареной свинины вы узнаете, что этот якобы коммерсант изволил кушать крем д'асперж, котлету из рябчика и маседуан из фруктов.

В хорошенькую историю попали бы вы, если бы не спросили его вовремя.

Но раз еще не поздно, вы, конечно, поспешите отделиться от аспержа с маседуаном.

ПРОЦЕСС ПИЩЕВАРЕНИЯ

Каждый уважающий себя человек знает, что для переварки пищи он должен первоначально выработать в себе пепсин и трипсин.

Для доказательства этой печальной необходимости ученые производили опыты над собакой.

«Для пепсина и трипсина нужна сначала псина», — как говаривал в веселые минуты покойный Пастер.



Если мы щипнем человека за ногу, он эту ногу отдернет. Поступает он так, руководимый соображениями своего спинного мозга.

Но если вы подставите в момент его лягания ему под пятку еще и иголку, то из этой сложной неприятности он может выпутаться только соображениями своего головного мозга.

Но испытуемого человека можно так допечь, что он ни головным, ни спинным мозгом ничего не сообразит.

Люди часто заблуждаются в выборе способов обдумывания того или иного явления.

— Ах, — говорят, — это такой пустяк! Это я все решу одним спинным мозгом.

И выходит худо.

Лягнуть там, где нужно было улыбнуться и сказать «мерси».

Между прочим, в интересах науки, мы обязаны предупредить естествоиспытателей, что все те опыты, которые производятся над лягушками, отнюдь не следует применять к людям. Лягушка сама по себе, а человек сам по себе.

Даже самый невинный из этих опытов, как, например, щекотанье поджилки правой ноги, может навлечь крупные неприятности на естествоиспытателя.

Человек часто реагирует неправильно. Вы его щипнете за левую бровь, а он подаст на вас в суд.

Конечно, это рефлекс неправильный, да пойдите разбирайте, доказывая.

Один молодой естествоиспытатель, желая во имя торжества науки произвести опыт над молодой девушкой, раздражил ее при помощи своих губ кожную поверхность левой щеки.

Рефлекс оказался чудовищным: из соседней комнаты выскочила мать испытуемой девушки и раздражителя женила.

ПОЛУШАРИЯ БОЛЬШОГО МОЗГА

Если голубю отрезать голову, он падает в апатичное состояние. Это происходит оттого, что в голове у голубя находится мозг.

Если голубю оставить голову и вырезать только мозг, то он нахохлится и не будет ни на что обращать внимания. «Мне теперь на все наплевать», — как бы говорит он всей своей фигурой.

По собственному признанию одного такого голубя (смотри курс физиологии человека проф. В. Завьялова), «все предметы казались ему только геометрическими фигурами, наполняющими пространство, но лишёнными какого бы то ни было смысла и значения».

— Дорогой мой, — говорил голубь смущенному профессору. — Дорогой мой! Мне все кажется, что вы не вы, а гипотенуза. И никакого ни смысла, ни значения за вами не признаю.

В том же труде мы встречаем опыт над собакой. Собаке вырезали мозг и стали над ней измываться.

«Когда собаку щипали за ногу, она, правда, оборачивалась в ту сторону, за которую ее щипали, с явным намерением укусить, но ей почти никогда не удавалось схватить руку наблюдателя».

Этот опыт равно доказывает как неловкость безмозглой собаки, так и юркость наблюдателя, человека себе на уме.

Наблюдатель (смотри там же) выражает порицание собаке, зачем она после того, как он вытащил из нее мозг, стала к нему относиться, как к чужому, не радовалась его ласкам.

Точно после такого дела разумное существо подпустило бы его к себе ближе, чем на пушечный выстрел.

Но эта собака отвергала его ласки и «не видела никаких снов».

А может быть, и видела?

Трудно поверить. Не станет же собака, состоя с наблюдателем в таких натянутых отношениях, рассказывать всюду, мирно позевывая:

— Снилось это мне, будто идущий по какому-то большому сараю, и будто сарай этот не сарай, а кусок ветчины.

Разве раскрывается сердце собаки для такой мирной задушевной беседы после столь крупной неприятности, как вырезывание головного мозга?

Голубь, и тот нахохлился, а ведь собака — она все-таки пес.

ОРГАНЫ ЧУВСТВ



Физиологическая задача глаза состоит в том, чтобы видеть.

С этим не поспоришь.

Этим глаз и отличается от уха.

Глаза подразделяются: на просто глаза, очи и глазки.

Функция глазок — показывать себя.

У очей нет никакой функции и бывают они исключительно черного цвета.

На каждого человека полагается по два глаза и в каждом по одному главному яблоку.

Оба глаза должны поворачиваться вместе, иначе получается так называемое косоглазие, или, выражаясь научно: «Один на вас, другой в Арзамас».

Если человеку выколоть глаз, он немедленно ослепнет на этот самый глаз. Столь часто встречающееся выражение: «Я оглох на правый глаз», — следует считать неправильным и научно необоснованным.

Внутри глаза находится хрусталик и так называемая Циннова пленка, вещь настолько важная, что о ней ни днем, ни ночью забывать не следует.

СЛУХ

Для слуха нужно ухо.

Снаружи ухо довольно забавной формы. Древние люди долго не могли понять, что это за штука и, проткнув его, стали вешать для удобства предметы помельче. Отсюда произошел обычай носить серьги.

Наружное ухо, благодаря своей удобной, вернее — удобоухватимой форме, сослужило человечеству не малую пользу в деле воспитания молодых поколений.

Внешний вид уха дает также возможность определить характер человека. Если человек ухом не ведет, о нем смело можно сказать:

— Вот человек, не способный на раскаяние, себялюб, эгоист, собака на сене.

Человек, ведущий ухом, заслуживает всяческого уважения.

Внутреннее устройство уха значительно сложнее.

Если бы мог знать какой-нибудь сапожник, дерущий за ухо своего мальчишку, какую сложную машину подвергает он давлению и трепанию, он наверное с большим благоговением отнесся бы к этой педагогической операции!

Скажем коротко:

Внутри уха помещается груда музыкальных инструментов, которые могли бы сделать честь любому оркестру: барабан, Евстахиева труба, Картиев орган, он же цитра, рояль и балалайка.

И вот, обладая таким музыкальным депо, ухо молчит как рыба.

Кроме того, в ухе сидит улитка.

Сидя там, более музыкальное существо — человек мог бы, не делая никаких затрат, в любой момент наслаждаться камерной музыкой.

Кроме вышепоименованных музыкальных инструментов, в ухе можно найти и кое-какие слесарные принадлежности... молоточек, наковальню и стремячко. (Батюшки, как нежно!)

И еще в ухе есть лабиринт, созданный мудрой природой для того, чтобы заползший в ухо таракан не сразу из него вылез.

ОСЯЗАНИЕ

Органом осязания является кожа.

Костью никто осязать не может, даже человек очень впечатлительный.

ВКУС

Органом вкуса является так называемый язык.

Вкус необходим человеку, потому что не будь у него этого чувства, он ел бы всякие невкусные вещи, а это было бы бессмысленно.

«На вкус и цвет товарища нет», — говорит народная мудрость и тем ярко живописует тяжелую трагедию одиночества во вкусовых вопросах.

«У каждого свой вкус: один любит арбуз, а другой свиной хрящик», — говорит та же мудрость.

И снова трагедия и снова двое, идущие рука об руку по жизненному пути, обреченные на вечное одиночество.

— Арбуз красивый!

— А свиной хрящ белый!

— Арбуз сочный!

— А свиной хрящ хрустит!

Проклятие! Проклятие! Проклятие! Они не поймут друг друга!

Отвернемся от этой тяжелой картины и перейдем к обонянию.

ОБОНЯНИЕ

Органом обоняния является так называемый нос.

Состоит нос из хряща и двух ноздрей. Кто видел когда-нибудь нос, тот поймет.

Иметь хороший нюх очень полезно. Человек, не имеющий такового, никогда ничего не добьется.

Держать нос нужно по ветру.

(Окончание следует).

От редакции: книга печатается с сокращениями.

Николай БОРСКИЙ ЮВЕНАЛИЗМЫ

Полный охват

И лозунги тоже бывают с изъяном. Пробиться бы мне

к плюралистам с вопросом — когда они к лозунгу

«Землю — крестьянам!» добавят отважно:

«А воду — матросам?»

Промашка

Глядят интуристы,

бродя по столице, огромная очередь

в центре толпится.

— Пardon, вы последний, месье, к Мавзолею?

— Да нет,

мы за солью стоим в бакалею.

Заметки фенолога

Поздняя осень. Грачи улетели.

Начали жатву в колхозной артели.

Подводка

Твердили: — Хоть пути тернисты, все будет наше — даль и ширь!

Так почему же атеисты всех подвели под монастырь?

Гуманитарная помощь

Хорошо бы съездить к Колю, проявляя к дружбе волю, и сказать бы: — Коль, а, Коль, высылай и алкоголь.

Полумера

Все, как говорится,

ясно для народа:

курица — не птица,

гласность — не свобода.

В мире животных

Лиса в аренду птичий двор взяла.

К капусте спонсором

приставили козла.

Насулили

От властителей разных нам вранье не в новинку: ждали небо в алмазах — нынче видим с овчинку.

Бюрократы

У них в Москве и на местах желания простые:

им — оставаться на постах,

нам — соблюдать посты.

Добыча

Когда морскую рыбу продавали в стеклянном гастронOME на углу, толстуху продащицу затоптали и унесли, приняв за камбалу.

Самарская обл.,

село им. Клары Цеткин

ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ АГЕНТСТВО
«ЭХО»

принимает коллективные заказы
от организаций и предприятий

Доставка книг осуществляется заказчиком или по почте
с оплатой почтовых расходов получателем наложенным платежом.
Последний день приема заказов — 1 июля 1991 г.

НА КНИГУ РУДОЛЬФА ЭРИХА РАШЕ

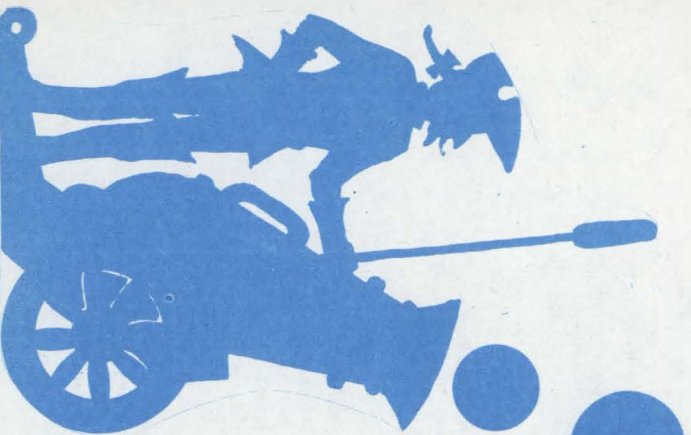
привлеченный барона

МЮНХГАУЗЕНА

*иллюстрированное подарочное
издание в твердом переплете*

выйдет в свет в конце 1991 года
цена книги 11 рублей 50 коп.

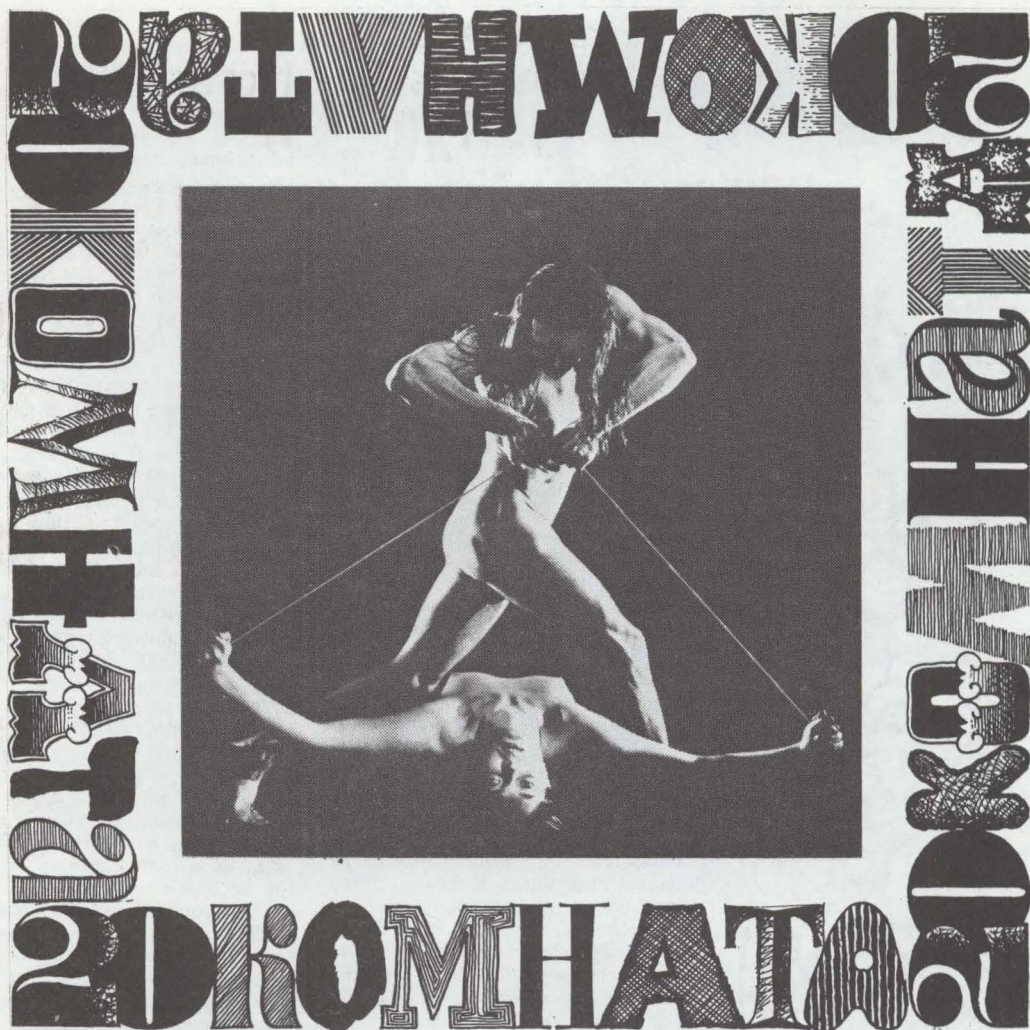
СТОИМОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА
ЗА ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР 3 РУБ.
50 КОПЕЕК



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НУЖНО:

- перечислить платежным поручением или почтовым переводом сумму оплаты (из расчета 15 руб. за 1 экз.) на р/с «Эхо» в Москворецкий филиал Мосстройэкономбанка: р/с 467206 МФО 201564;
- прислать по адресу: 117049, Москва, а/я 29 — копию платежного поручения; открытку с указанием количества оплаченных экземпляров, полным наименованием организации-заказчика, юридическим адресом, Ф.И.О. и телефоном ответственного исполнителя. На конверте сделать пометку «МЮНХГАУЗЕН».

Телефоны для справок: 476-06-11, 175-82-27, 338-83-17, 420-10-61.



МАНИФЕСТ РЕДКОЛЛЕГИИ «20-й КОМНАТЫ»

Перестройки больше нет. Нет единой власти, которой принадлежала монополия политических инициатив. Инициатив теперь много — много и перестроек. Каждый ведет перестройку сам, не очень задумываясь о правах и интересах соседей. Перестройки сталкиваются. Осталось несколько шагов до войны всех против всех.

Когда перестройка еще была, родилась «20-я комната». Исповедь, запретное, крутые виражи вместо скругленных углов — вот три ее кита. Но старые идеалы разрушены, новые еще туманны, запретные темы стали банальностью. Страна повзрослела. Проводящая свободное время на митингах, штурмующая пустые прилавки магазинов, страна, где мечтают о диктатуре и приходят в ужас при мысли о ее возможности, где кухарки нехорошо отзываются о Ленине, но не прочь поуправлять государством, — эта страна выросла из коротких штанов — младенческих радужных представлений о демократии и плюрализме, гласности и руководящей роли Советов. Они остались там, в «светлых временах» перестройки. Забастовки, мятежи, блокады, бе-



женцы, кровь — всего этого слишком много, чтобы остаться в плену эйфории будущего или слепой веры прошлого. У нас есть теперь свобода выбора веры, и эта свобода — главное, что принесли последние шесть лет.

Где законы опровергаются автоматными очередями, где ум, честь и совесть перешли в разряд истори-

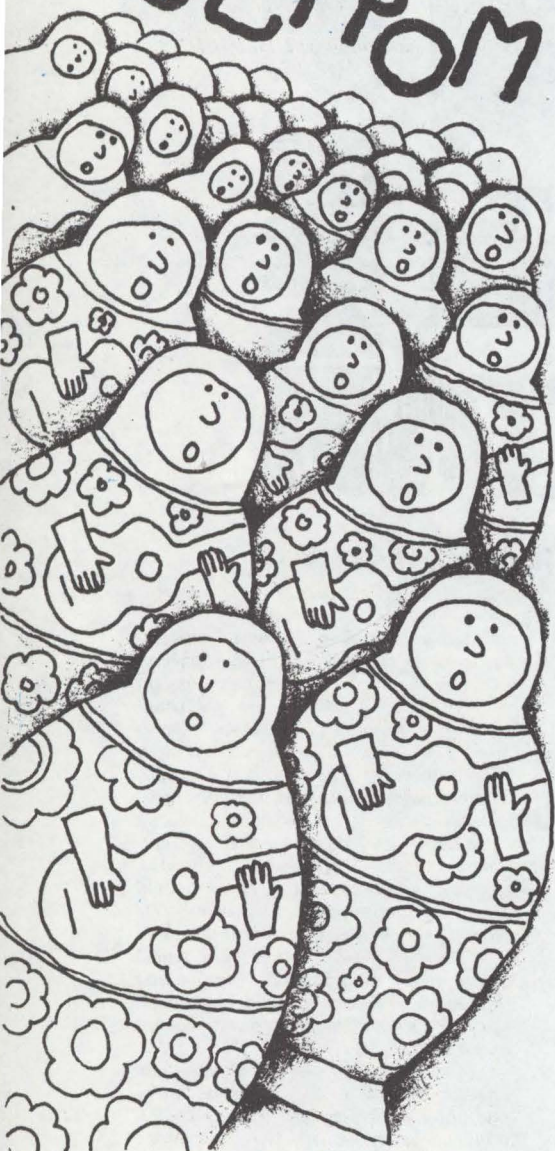
ческих понятий, — верить, кажется, можно лишь одному творчеству. Неясной силе, которая может пробудиться в каждом из нас и заставить сказать свое слово — стихами или прозой, в искусстве или в политике, о жизни или о смерти. Творчество, если это творчество, не лжет.

Героем «20-й комнаты» был социальный тип — наркоман, прости-тутка, вольнодумец... Наш новый герой — творческая личность. Не важно, бомж ты или политический деятель, — важно, чтобы живы были твой ум и душа. Чтобы ты был интересен сам по себе, а не своей принадлежностью к некоему «сословию» молодежи.

«20-я комната» — и это наша давняя мечта — независимая территория в «Юности». Мы признаем одну цензуру — цензуру здравого смысла.

Подписывайтесь на «Юность» — приложение к журналу «20-я комната»!

Александр МАЛЮГИН,
Константин МИХАЙЛОВ,
Рустам РАХМАТУЛЛИН

ОТ НЕСЕННЫХ
ВЕТРОМРисунок
Георгия Мурышкина

Пятнадцать лет назад эти мальчишки еще не существовали, и не было написано еще песни, которую они могли бы петь. Десять лет назад их подробно расспросил бы обо всем участковый, а потом — комсомольское собрание. Пять лет назад им бы, пожалуй, устроили встречу с работниками аппарата райкома ВЛКСМ или пригласили в передачу «Двенадцатый этаж». Три года назад они стали пестрой арбатской толпой, и шагу нельзя было ступить по этой улице, чтобы не услышать бесконечно растиражированные гребенщikovские напевы. Как-то незаметно они пропали... Может, подросли ребята, а может, деньги им кидать перестали. Арбат вытолкнул их в один из своих закоулков.

Ему не пусто без них. Просто он стал другим.

Десять лет назад приезжие шли в первую очередь на Красную площадь, в Мавзолей. Три года назад — на Арбат. В прошлом году — в «Макдональдс». Сейчас... В магазинах — пусто, на Арбате — скучно, в «Макдональдс» — дорого. Куда податься провинциалу?

Пожалуй, он купит билет на фильм «Унесенные ветром», благо давка почти кончилась, и «самая блистательная голливудская картина всех времен» сегодня доступна, как раньше доступен был «лучший фильм всех времен и народов» «Броненосец Потемкин».

Может быть, «Унесенные ветром» поначалу его неприятно удивят и разочаруют. Салонностью, нарочитой безоблачностью.

Юная Скарлетт О'Хара собирается на пикник. Скарлетт любит благородного Эшли. Она болтлива, смешлива и очень красива. Несмотря на то, что Эшли женится на другой, она счастлива, потому что этот мирок просто переполнен счастьем.

Что такое несколько лет для истории? Миг. Эти два-три года — миг несомненно короткий и сладкий. Уникально счастливое мгновение, когда страницы газет обжигают руки и маятник истории только-только качнулся в сторону свободы. Еще не успела наступить полная победа гласности, приведшая к неожиданной ловушке, — а что дальше? Еще не опустели прилавки магазинов. Еще не наводит панического страха завтрашний день. Еще не навязло в зубах слово «перестройка».

Для истории — момент неустойчивого равновесия. Для нашего поколения — целая юность. Время, когда с каждым днем «небо становится ближе». Эта взволнованная и щемящая гребенщikovская нота разлилась по булыжной мостовой, окутала волшебным мерцанием фонарные столбы, просочилась в щели окрестных домов, стала прохладным и свежим арбатским воздухом...

...И тут на жизнь ее, уютную и счастливую, обрушился сверху ветер. Мир вспыхнул войной Севера и Юга. Огненная молния расколола небо пополам. С одной стороны, осталось все, что было у нее в жизни: теплый, ласковый, богатый дом, милые и добрые родители, любимый человек.

С другой — наступала и должна была смести все это с лица земли армия северян. Скарлетт ненавидела их во всю сопливую силу своей девчачьей ненависти. Она называла их: «Янки. Проклятые лоточники». Она не сомневалась, что благородные, аристократичные рыцари-южане не оставят от лоточников камня на камне. Она еще долго цеплялась за свое детство и за детство своей страны. Ветер войны сбивал ее, перепуганную девчонку, с ног, она поднималась в слезах и грязи и, рыдая, шла через горящие города в Тьерру, к дому, к надежному отцовскому дому, зная, что уж там-то она сможет обрести покой, кров и защиту.

И только когда Скарлетт, наконец, нашла в Тьерре, в пустом, разоренном, нищем доме, мать, лежащую в гробу, и отца, сошедшего с ума, когда она вдруг увидела, что все вокруг смотрят на нее с надеждой и мольбой о помощи, — тогда она сказала себе: «Я клянусь, что я буду сильной. Пусть мне придется обманывать, воровать, грабить, убивать, но я и моя семья — мы никогда не будем голодать».

«Ты должен быть сильным, ты должен суметь сказать: «Руки прочь! Прочь от меня». Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...» — пел Виктор Цой. Его голос по-прежнему отзывается миллионным эхом даже сейчас, когда поколение начало стареть, повторяться, замолкать... Может быть, как раз потому, что он был самым молодым в компании и улавливал то, чего другие не ощущали, что находилось за пределами поэтической чувствительности. Кажется, он чувствовал, как трещит по швам и рушится их общее высокое и красивое время, как вырастает впереди громада грядущего десятилетия, десятилетия сильных людей, и он уже был, наверное, почти готов к тому, чтобы сказать, что это тако — быть сильным человеком. Но не успел. Виктор Цой остался по эту сторону, став последним певцом 80-х годов.

...Скарлетт сдержала свою клятву. Ее семья действительно не голодала. И ей действительно пришлось ради этого обманывать, воровать и убивать.

Когда она, вчерашняя неженка и аристократка, сбивала в кровь ручонки, собирая хлопок; когда она, вчера еще капризная и плаксивая барышня, нажала на курок пистолета, чтобы застрелить вошедшего в дом мародера; когда она вышла замуж за богатого жениха своей сестры, потому что ей надо было заплатить налог, — у нее не было другого выхода: она выполняла свою

клятву.

Она что-то поняла. Быть сильной — значит быть жестокой. Она научилась перешагивать через все, что мешало ей добиваться своего. И жизнь принадлежала ей.

Улица поэтов и музыкантов, красивых девушек и цветов — где ты? Странно, почти все на месте.

А улицы нет.

Вот художники. Конечно, мазня, но ведь и раньше была мазня, ты что, не знал? Вот поэт сотрясает воздух стихотворением против Президента. Зеваки с унылым видом проходят дальше. Что еще? Музыканты? Джаз, чарльстон, гармонь. Все на месте.

Нет того воздуха. В нем разлиты другие токи. Слишком много матрешек на квадратный метр.

Матрешечный дух стал густым и вязким клеем, намертво схватившим в единое целое арбатский калейдоскоп. Тысячи лакированных глаз с застывшей усмешкой берут тебя под прицел. За ними стоит продавец. Не высокий и не низенький. Не слишком толст, не слишком тонок. Не красавец, но и не дурной наружности. Янки. Кустарь. Лоточник. Называйте его как хотите — Арбат принадлежит ему.

Вы спрашивали, «где та молодая шпана»?..

...Но Скарлетт вовсе не хотела быть такой!

Вдруг она захлебнулась своей силой и непобежденной любовью к Эшли. Душа ее замерла, разрываясь между бездной прошлого и бездной будущего, не в состоянии откатиться ни от того, ни от другого. И она рухнула на ступени своего роскошного дома — пустого дома, из которого ушел Рэт, потому что ему не нужна была половина ее сердца.

И все-таки даже тогда Скарлетт не пожалела о прожитой жизни. Она не могла жить иначе. Пылающий, жестокий мир не оставил ей возможности быть «настоящей леди» — чувствительной и жеманной. Ею управляло тревожное, взорванное время, время, которое смело начисто все отношения, бывшие до, и утвердило свои, время, которое беспощадным катком прокатилось по судьбам, поставив благородство, красоту и любовь на вторые места среди жизненных ценностей эпохи.

Но она не могла разлюбить Эшли... Так перемалывают душу жернова истории. И внезапно она услышала голос отца: «У тебя есть Тьерра. Твоя земля». «У меня есть Тьерра, — как заклинание повторила она. — У меня есть дело».

Она знала, куда идти и что делать. Даже залитые слезами, ее глаза светились силой. Будущее было за ней.

...Это только в кино эпохи уносятся ветром и гибнут в огне и дыму. В жизни они вытесняют друг друга, тихо и грустно, уходят, как вода сквозь пальцы.

Прощайте, девочки.

Прощайте, мальчики.



Архив поколения



Владимир Голованов

«ДВОЕ В КОМНАТЕ — Я И НИЦШЕ...»

Владимир ГОЛОВАНОВ

Распались созвучия

с общей песнью,
Моя экзистенция
покрылась плесенью.

Сквозь дифирамбы

рвануть босиком,
Рухнуть ничком

в деревенское лето —
О боже, не там мы ищем ответа,
А ведь обнаружить его легко.

Как велики, как малы мои знания,
Но все в итоге

объясняется просто.

Есть две параллели:

власть и желание —
Проблема лишь в том,
как попасть в эту плоскость.

Время уходит, скрывается в нише.
Эпохи сгорают в огне.

Двое в комнате — я и Ницше
Фотографией на белой стене.

Ночь имеет вкус горчицы,
Горькой, как беда.
Желтый город мне приснится —
Это город А.

Ты почувствуешь тревогу,
Выйдешь за порог.
В город Б лежит дорога,

В предутреннем тумане мало что
разглядишь, грохот приближающе-
гося товарняка заглушила идущая
навстречу электричка...

Двое парней погибли, две девушки
спаслись.

Погиб мой выпускник, первокурс-
ник пединститута Володя Голова-
нов. Ему едва исполнилось 18...

Умный, надежный, здоровый, пол-
ный иронии и серьезности к миру
и к самому себе, он не торопился,
ибо был скроен на долгую жизнь...

Он оставил страшное доказа-
тельство подлинности поэтического
дара, предсказав:

Электричка над душою встанет,
Проедет по костям и успокоится...
А дождь стучать не перестанет
По лысине мегаполиса.

Избранники богов умирают
рано...

Евгений БУНИМОВИЧ

В красный городок.

Ночь имеет вкус граната.
Видишь: на восток
Синие идут солдаты
В красный городок.

Тоже чувствуют тревогу —
Близятся бои.
И идут они не в ногу,
Сами не свои.

Смерть имеет вкус жасмина,
Лишь один герой
После битвы невинный
Двинулся домой.

Вот он, не прошло и года,
Ласковый жених,
Ночь имеет привкус меда
На губах твоих.

Снег январский маревом.
В городе балет.
По ногам ударило —
Восемнадцать лет.
Бритые макушки
Светят, как нули.
Самолеты, пушки,
Танки, корабли.

Утречком с похмелья
Кругом голова.
Кончилось веселье,
Кончилось, братва!
Бормота ядреная,
Сигаретный дым,
Что, друзья зеленые,
Скоро и самим?

Выстроилась рота

В рост, как дураки.
И глотает кто-то
Слезы от тоски.
Анадыри, Нальчики,
Дождь, жара, пурга,
Полетели мальчики
К черту на рога.

А через два года
Ты придешь домой,
В синяках вся морда,
Но еще живой.
Поглядишь, и тут же
Станет хорошо.
Черта ты здесь нужен,
На фиг ты пришел?

Глухо, как в могиле,
Жизнь не мила,
Но письма приходили,
Вроде бы ждала —
Все под корень срублено,
Нету ни хрена,
Уходил — возлюбленная,
А пришел — жена.

Выйдешь на балкончик,
Куришь натошак,
Пьешь одеколончик,
Косточки трещат.

Рухнула утопия,
Хоть на стенку лезь,
Рядом мизантропия,
Черная болезнь.

Я чувствую каменный,
выжатым воздух.
И странное небо,
нескромное очень.
И статуи чьи-то
в немислимых позах,
Наверно, блаженных...
И осень, и осень...

Какое вам счастье,
взошедшим на ранах?
Какое вам дело,
смотрящим нелепо?
Отыщем неправых,
сойдемся на равных —
Полвыстрела в сердце,
полвыстрела в небо...

1990

Я загибанный зверь, я бегу,
задыхаясь,
Не зная покоя, не чуя преград.
Этапы, минуя меня, громыхают,
И пухнет от них мозговой аппарат.
Этапы покрыты облупленным
лаком,
Погибну я,
если останусь при нем.
Кто жил королем,
тот подохнет собакой.
Так нужно
хотя бы прожить королем...
Кто мыслит иначе —
вы сбоку останьтесь,
Уйдите в отставку
и сгиньте в веках...
Я буду летать,
как летучий голландец,
Не чувствуя крыльев
в уставших руках.

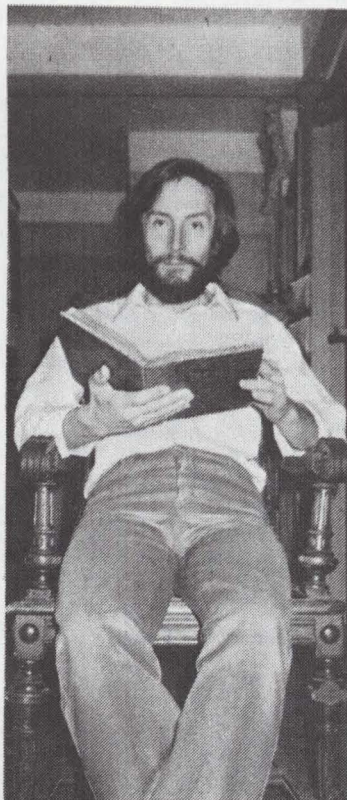


Нелинованный лист

Михаил
КУЗЬМИН

от
восхода
до
солнца

Из цикла



Желание славы

Опаздывая на автобус, я перебежал дорогу черной кошке, и через минуту она сдохла.

Целую любимую девушку, я прокусил ей нижнюю губу, и меня пригласили на роль сексуального маньяка в новом многосерийном телефильме.

Прогуливаясь по экзотическим местам, я выбросил окурок в траву, и сгорела африканская саванна.

Без тренировки я сбил всех уток в подвальном тире, и деятели международной мафии предложили мне осуществить отстрел нескольких конгрессменов.

Во сне я вырвал седую прядь своих волос и утром проснулся помолодевшим в Лондоне, в Музее восковых фигур мадам Тюссо.

Глубинная психология

Моя грусть уходит в отпуск. И моим настроением начинает завладывать моя тоска.

Моя тоска посещает курсы повышения квалификации. И все душевные проблемы решает моя депрессия.

Моя депрессия принимает участие в работе международного конгресса. И ревизию моих желаний проводит мое отчаяние.

Мое отчаяние повышают по службе. Переводят в другое министерство. А я выхожу на пенсию...

Слова вместо славы

Никак не могу понять, почему я не прыгаю в высоту и не бегаю на длинные дистанции?

Кто бы смог толком мне объяснить, почему я ни разу в жизни не штурмовал вершину Джомолунгма?

У кого есть твердое мнение относительно того, почему я не мечтаю опуститься на самое дно океана?

Я пришел в ужас, когда узнал, что не имею ни малейшего желания слетать на планету Венера.

И если завтра появится на Земле пришелец из космоса, то я не буду стремиться устанавливать с ним контакт разумов.

В конце концов кто-нибудь мне скажет, что за странной болезнью я болею?

И почему к пауку, который живет в моей комнате, я так привязался, что разрешил ему оборудовать у меня в носу фотолaborаторию?

Замедленная съемка

Лентяи умирают нехотя. Они не пишут завещаний. Не приводят в порядок своих бумаг. Не приглашают гостей на поминки. Не подводят итогов прожитой жизни.

Перед смертью лентяи боятся ходить к парикмахеру, уезжать в длительные командировки и участвовать в шахматных турнирах.

Еще ни одному лентяю не удалось умереть раньше времени и не посчастливилось стать самоубийцей.

Лентяи умирают в своих кроватях ночью во сне. А утром их, как всегда, не добудиться.

Когда умирают лентяи — их лень оплакивать.

Взятое в абсолюте

На необитаемом острове мне не хватает книг. В Гималаях — головокружения. На рассвете мне не хватает улыбки и знаков препинания в угрызениях совести.

В лотерее мне не хватает пророчеств. В припадке ярости — статуса кво. На крыше — солнышка и пугицы — на пиджаке.

Стою в очереди и спрашиваю:

— Хватит ли огурцов?

— Нет, — отвечает пьяная продавщица.

География

Однажды Лондон рассердился на англичан и отправился путешествовать вокруг света...

Нью-Йорк долго колебался, но потом все-таки полетел на воздушном шаре...

Париж тоже не усидел на месте и поплыл к берегам Индии за утраченными иллюзиями...

А Рим, этот вечный город, заблудился в Аравийской пустыне и умер от ностальгии...

И только деревня Тараканиха никуда не поехала. Ей было хорошо и дома...

Исчезновение

Если ваппидонг решился на этот рискованный шаг, он должен соблюдать некоторые формальности:

1. Перечислить все спицы в огромном Колесе Разочарований и сообщить о полученной сумме в Комитет Заслуженных Чисел.

2. Протоптать тропинку через Поле Безопасности и расставить опознавательные знаки для Экс-диктатора Разлуки.

3. Осуществить пересадку трех сердец в роботоподобную модель Огненного Процветания.

4. И разложить свой автопортрет на 15 эмоциональных гребешков.

Если все условия соблюдены, ваппидонг может начать процесс спектрального самоубийства, который обычно длится от десяти лет до ста, в зависимости от того, как быстро личность ваппидонга растворится в Озере Великой Ваппидонгской Мудрости.

Горизонты завещания

Никуда не уехать может только дерево.

Ни о ком не забыть может только разлука.

Никуда не подняться может только истина.

Никого не предать может только прощение.

Ничего не сказать может только поэт.

Ни к чему не привести может только жизнь.

Виток спирали

Когда юный Дон Жуан вопреки здравому смыслу добился успеха у первых семи женщин, то еще трудно было сказать, что с ним произойдет в будущем.

И даже покорив сердца сорока девяти женщин, он еще продолжал пребывать в абсолютном неведении.

И лишь расставшись с триста сорок третьей женщиной, Дон Жуан смутно почувствовал, что с ним происходит что-то непоправимое. Но он отогнал эти мысли.

И когда на заре новой эпохи мудрый Дон Жуан покинул спальню две тысячи четыреста первой женщины, он уже не сомневался в том, что вновь стал мальчиком.

Перевоплощение

Мазохист набрался мужества и набил себе морду.

Садист ударил подснежник и заплакал от боли.

Оптимист поверил, что доживет до глубокой старости, и стал консерватором.

Пессимист испугался показаний барометра и растаял в тумане.

Самоубийца сунул голову в петлю и помолодел на несколько тысячелетий.

Невидимки

А и Б сидели на трубе.

В и Г гуляли по крыше. Д и Е сидели в сберкассе.

Е и Ж подметали пол. З, И, К читали газеты. Л, М, Н выясняли отношения.

О и П уезжали в командировку. Р и С играли в шахматы. Т и У готовили мясной салат. Ф и Х смеялись над анекдотом.

Ц и Ч бежали к финишу. Ш и Щ искали клад. Ъ, Ы, Ь старались не попадаться на глаза. Э и Ю крепко спали.

Я умирал от одиночества.

И рождалось из пены морской, как Афродита.



Свободный микрофон

Юрий ГОРСКИЙ



Можно сочинить сладкую утопию о том, как здорово бы мы жили, если б это были не мы. Можно заниматься нравственным самосовершенствованием, искать виноватых или переименовывать Красногвардейский тупик в 9-ю Заовражную улицу. Можно сочинять прожекты и выучивать английский.

Нельзя поумнеть.

Нам не хватает не только привычки, но и способности думать — думать честно, не обманывая хотя бы самих себя. Ее не даст нам никто и ничто, никакие «Основные направления» чего бы там ни было — ее, как жизнь, как любовь, каждый приобретает сам. Или не приобретает. И чем дольше мы будем бояться своего достоинства и своей мысли, тем меньше останется шансов выжить и у всего советского народа, и у каждого из отдельных его представителей.

И дело совсем не в том, что кто-то

сволочь и все портит. Дело вовсе не во «врагах народа» — дело в нем самом. Страна трещит и разваливается, государство медленно сползает в пропасть, а мы, лентяи уворачиваться от его горячих обломков, обижаемся, что нас не кормят, жалеемся небесам (и парламентам, что еще смешней), что нас не защищают, что мерзавцы делают подлости, что...

Как истовые язычники, мы никак не можем понять, что нашего старого бога — государства — больше нет. Что нас некому защищать и некому кормить. Что никому, кроме самих себя, мы больше не нужны.

Бог с ними, с виноватыми, от которых когда-то все пошло. Ильичи умерли, а мы остались, и сегодня зло идет от нас — от нашей трусости и скудоумия, от наших истеричных глаз, налитых кровью.

Я не призываю и не виню. Я знаю, что происходит сейчас в стране, и не смею больше обращаться к здравому смыслу. Люди, которым высочайше разрешено покупать чайную ложечку крупы в день (300 граммов в месяц: это Калуга, «родина космонавтики»), люди, так и не узнавшие вкус обычного сыра (это Фергана), люди, получившие полипы в желудок сегодня и что-нибудь еще, до рака включительно, завтра от в принципе не перевариваемой «еды» (это Москва, золотой закрытый распределитель), — эти люди имеют право и не иметь здравого смысла. Я хочу только напомнить, что не иметь его — это не значит быть свободным. Это не значит быть непокоренным.

Это значит быть обманутым.

И мы будем оставаться обманутыми до тех пор, пока не перестанем верить чему-либо, кроме собственного разума.

Он мал. Он ограничен. Он шепчет иногда страшные вещи. Он не читал учебников по маркетингу и не смотрел программы «600 секунд». Но он жил в этой стране — и выжил. И в этом его преимущество перед гениями иных времен и народов.

Почему призрак капитализма хотя и бродит по унылым просторам России, но так же упрямо не хочет материализоваться, как и его двойник, воспетый классиками?

Одной из загадок перестройки является вопиющий контраст между тем, как взвешенно, конструктивно и обдуманно (еще есть словечки «сбалансированно» и «без эмоций») принимаются решения, и тем, что они в итоге из себя представляют.

Я думаю, что к тому времени, когда вы будете читать эту статью, руководство страны подарит благодарному народу новые блистательные перлы своей законопослушной деятельности, не уступающие майской (1990 г.) речи Рыжкова, необъявленной войне против России из-за программы «500 дней» и даже последним указам Президента.

Все дело в том, что административ-

ная система, частью которой это руководство является, — вещь по своему определению абсолютно безумная. И хотя «коммунисты — прекрасные люди, но там, где им один раз было хорошо, три года потом не растет трава»: административная система — это способ достижения коллективного безумия абсолютно нормальных поодиночке людей.

Исторический факт: переломным моментом «бархатной» революции в Чехословакии стала всеобщая забастовка студентов. До нее силы прогресса и реакции были примерно равны. Но эта забастовка, как пишут обозреватели, «поставила нацию на грань интеллектуального самоубийства» и этим полностью сломила волю административно-командной системы к сопротивлению. Как, читатель, вы умилились этой трогательности отношения «отцов» общества к своим непослушным «детям», этому проявлению инстинкта самосохранения нации и национальной культуры? Или у вас перехватило горло от обиды за свою страну, которая безо всякой сколько-нибудь серьезной угрозы существующей власти вот уже восьмой десяток лет привычно и буднично убивает свое будущее?

Мы — больная нация. Не только чернобыльцы, беженцы, бомжи — все наше общество отмечено знаком беды. Почему же в наше страшное время осмелюсь выделить молодежь из всех остальных категорий населения? Ведь как ей ни было туго, а положение стариков, сирот, беженцев, конечно же, трагичнее. Да, я сам принадлежу к молодежи, и у нас повсеместно стало признаком хорошего тона рассуждать об особой обделенности своей социальной группы. Дело в другом.

Молодежь отличается от остальных терпящих бедствие социальных слоев своей высокой активностью. Та несправедливость государства, к которой уже притерпелись старшие поколения и против которой еще бессильны совсем малые, в молодежной среде вызывает бурю. Мудрые юристы называют преступление «нормальной реакцией нормального человека на ненормальные условия существования». Преступность в нашей стране растет почти исключительно за счет молодежи. Во всех странах молодежь была и будет главным действующим лицом всех волнений и погромов. Именно она бьется и будет биться головой о броню нашей государственной машины, никого и ничего не жалея. Потому что подавляющая часть молодежи выросла и социально осознала себя в условиях, в которых трудно научиться ценить свою жизнь. Чужую жизнь — тем более.

Если отвечать на риторический вопрос нашей пропаганды застойных времен: «Откуда исходит угроза миру?», то придется признать, что непосредственная угроза гражданскому миру в нашей стране исходит от молодежи. Если по привычке закрыть глаза на причины и в лучших традициях нашего обществоведения рассматривать лишь следствия, то получится, что молодежь является главной угрозой стабильности нашего государства. Нашей стране угрожает ее собственное будущее.

Как сказал поэт, следить за мыслями великих людей — увлекательнейшее занятие. Добавим, занятие весьма полезное, если следить вовремя. А то вдруг выяснится, что поезд уже отправили, причем «от имени и по поручению» оставшихся на перроне ничего не подозревающих пассажиров.

Создается впечатление, что у людей, ведущих наш поезд, нет времени

думать — они принимают решения. Это означает поведение, исходящее из сиюминутных интересов, поведение без серьезного прогнозирования последствий — *поведение обреченных*. Я говорю как экстремист и сознаю это. Но мне надоело каждый день открывать газету и читать в ней благоглупости высокопоставленных руководителей!

Поймите наконец, не повторите в тысячный раз, а поймите, осознайте, прочувствуйте кожей — если наша молодежь останется бездомной и нищей, ее придется убивать. Как обычно, во имя высоких идеалов. Потому что она против идеалов, снимающих с нее последнюю рубашку. А я хочу жить, и жить именно в этой стране, хотя сознаю, что это достаточно странное желание.

«На деньги, на которые сегодня не могут купить кусок мяса, завтра купят автомат Калашникова», — эту фразу я написал раньше, чем сообщения о боях в Армении с применением гаубиц и вертолетов со стороны самостоятельных «армий» уже перестали быть сенсацией. Не важно, уходит ли оружие с армейских складов в результате бандитских налетов или торговли, — оружие уходит убивать.

И наиболее активная, наиболее работоспособная, наиболее творческая часть населения уезжает. Молодежь — в ее первых рядах.

Наше общество еще недоразвито. И то, что оно может сегодня управлять своим развитием, — это сладкая, как угарный газ, ложь. Гласность, аутоутренинг. Нас неудержимо несет, волочит по камням и кружит в водоворотах слепой ручей истории, и мы можем только лихорадочно пытаться отвернуть от очередной надвигающейся на нас катастрофы.

Капиталистические страны научились делать это. А триста миллионов, дружно осознающих, что «нет у нас другого пути», кроме как перейти к рынку не сегодня, так послезавтра, не научились. Не до того было. И учатся сейчас на ходу, оставляя на проплывающих мимо валунах лохмотья кожи, мяса и человеческих жизней.

Пожелаем себе удачи.

«Попробуйте надуть поросенка славой — обязательно лопнет», — говаривал один из «верных соратников» braveго солдата Швейка. Лопаются рано или поздно и все другие надутые таким образом явления природы, значительно превосходящие по своим масштабам несчастного поросенка.

Так если еще и не лопается, то трещит и расползается по швам наше государство. И мы остаемся одни, голыми и свободными, без тренщиков, заботившихся о нас и спасавших нас от нас самих. Отменить или хотя бы изменить сие уже нельзя: вчерашняя катастрофа становится бытом, и ее остается только понять и принять. И — жить, оставив сладкие иллюзии дуракам и на-

чальникам, жить, как жили в судорогах исторических катаклизмов люди не только нашей страны, и помнить, что самое страшное на свете — это все-таки сам страх.

Мы же советские люди — чего нам еще бояться?

...У каждого ухватившегося за карандаш человека есть враг более страшный, чем царь, Главлит или ГПУ. Этот враг — общественное мнение.

Это оно простреливает все великие умы острейшим чувством отщепенства и одиночества. Это оно заставляет Галилеев отречься от того, что со скрипом поворачивается у них под ногами. Это оно и есть тот «внутренний цензор», беспощадность которого затмевает все известное человечеству. И я даже не пытаюсь устоять перед ним. Я подымаю лапки, отдаю честь («честь отдается весело и молодцевато»), — предусматривает Устав караульной службы) и бросаюсь выполнять социальный заказ.

Вы желаете знать, что будет с вами? Благоволите.

Во-первых, никакого «перехода» к рынку не будет. Этот смешной термин представляет рынок в виде некоей господской кухни, на пороге которой жметесь наш голодный и обносившийся «мир спасенный». Сейчас вот наберемся духу, соберемся с силами, осилим партократию и — перейдем порожек, и — отожремся за себя, за отцов, за дедов и за «тех парней».

Но рынок — это не господская кухня и даже не продуктовый склад. Это совсем особый и совсем чуждый большинству из нас мир, живущий по очень жестоким и очень бесчеловечным поначалу законам, и мы вовсе не «переходим» — мы падаем в рынок, падаем беспомощно, стремительно и неотвратно, как падает в воду выброшенный с высоты мешок картошки. Вместо полезного корнеплода в мешке находимся мы.

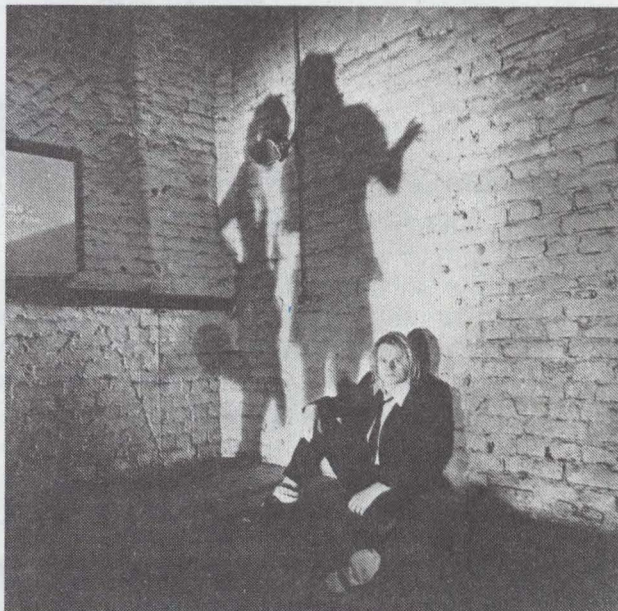
Можно — а с терапевтической точки зрения, наверно, и нужно — уверенно смотреть в светлое будущее. Блаженны верующие... Но блаженных мало. А остальные смотрят тяжелыми глазами: «Выводи»...

Иностранцы к себе не пустят — «железный занавес», с опаской шурша кредитами, уже опустился на наши границы. В их пределах «лучше и веселее» станет не скоро. Для многих «еду» (за ее недостатком) заменяют идеи. Их носители ударятся в политику и будут усердно спасать Родину друг от друга. Кто-то уйдет в религию и самосовершенствование. Большинство будут зарабатывать, причем некоторые — честно (во время кризиса общества «зарабатывать честно» значит «зарабатывать мало»). Но знаменитую фразу героини «Унесенных ветром»: «Я буду лгать, красть и убивать, но я НИКОГДА не буду голодной», — суждено повторить многим. И да не посмеет судить их тот, кто сам не знал голода...



1
20

Молодой ленинградский фотограф Сергей Леонтьев из уже известного нашим читателям фото клуба «Зеркало» представляет в рубрике «1/20» несколько снимков из серии фотографического театра.



ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

23 февраля 1991 года во время пожара в гостинице «Ленинград» трагически погиб наш друг и коллега, многолетний сотрудник и автор «Юности» журналист Марк Григорьев.

Пожарные прибыли к гостинице через четыре минуты после объявления тревоги, но во всем городе не оказалось механических лестниц длиной свыше 30 метров, тогда как горели этажи на высоте 35 метров.

Вся журналистская работа Марка Григорьева, образно говоря, служила тому, чтобы лестницы были такой длины, как положено. Это была журналистика здравого смысла, экономической целесообразности, поисков разумных решений зачастую в неразумных обстоятельствах, какими столь богата окружающая нас действительность.

Марк погиб за несколько месяцев до своего пятидесятилетия. Трудно было поверить, что ему скоро пятьдесят. Он как будто владел секретом вечной юности, прожитые годы не старили его.

Таким он и останется в нашей памяти: молодым, легким на подъем, добрым и светлым человеком, не устававшим пером и словом сражаться за честь и достоинство, здравый смысл и справедливость.

Редакция «ЮНОСТИ»

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Татьяна БОБРЫНИНА —
редактор отдела прозы
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —
редактор отдела культуры
Натан ЗЛОТНИКОВ —
редактор отдела поэзии
Олег КОКИН — главный художник
Михаил КУРКОВ —
коммерческий директор
Виктор ЛИПАТОВ —
заместитель главного редактора
Константин МИХАЙЛОВ —
редактор отдела публицистики
Эмилия ПРОСКУРНИНА —
редактор отдела рукописей
Анна ПУГАЧ — редактор
отдела международной жизни
Юрий САДОВНИКОВ —
ответственный секретарь
Александр ХОРТ —
редактор отдела сатиры и юмора
Ирина ХУРГИНА —
редактор отдела писем

● ГРЕЦИЯ · ЮЖНАЯ АМЕРИКА · ФИНЛЯНДИЯ · ФРГ ●

США · КАНАДА · ШВЕЦИЯ · НОРВЕГИЯ · ДАНИЯ · ГОЛЛАНДИЯ · ИСПАНИЯ

АМЕРИКАНСКИЙ КЛУБ "СКАННА ИНТЕРНЭШНЛ"



НАЙДЕТ ВАМ ДРУГА ИЛИ ПАРТНЕРА ДЛЯ
БРАЧНОГО СОЮЗА В ЛЮБОЙ СТРАНЕ МИРА.
В ТЕЧЕНИЕ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ С ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ВАС БУДУТ ПОДБИРАТЬСЯ ПАРТНЕРЫ.
МЫ РАЗОШЛЕМ ВАШУ АНКЕТУ НЕСКОЛЬКИМ
АДРЕСАТАМ, И ОНИ ВСКОРЕ ОТВЕТАТ ВАМ.
ЕСЛИ ПОСТУПИВШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАС НЕ
ЗАИНТЕРЕСУЮТ, ПОИСК БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН.

ОПЛАТА ОДНОГО АДРЕСА
-5 рублей почтовым переводом:
690019 г. Владивосток-19

Агентство клуба
"Сканна Интернэшнл"

КВИТАНЦИЮ О ПЕРЕВОДЕ И КОНВЕРТ С ОБ-
РАТНЫМ АДРЕСОМ НАПРАВЛЯЙТЕ
ПО ВЫШЕУКАЗАННОМУ АДРЕСУ.

● тел: 21-90-07 (Владивосток)



Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Во всех случаях полиграфического брака в экзemplарах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Технический редактор Ольга Трепенюк
Оформление рекламы
Инны Померанцевой

Сдано в набор 04.02.91. Подп. к печ. 03.03.91.
Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 999 000 экз. Заказ № 175.
Цена 1 р. 75 к.

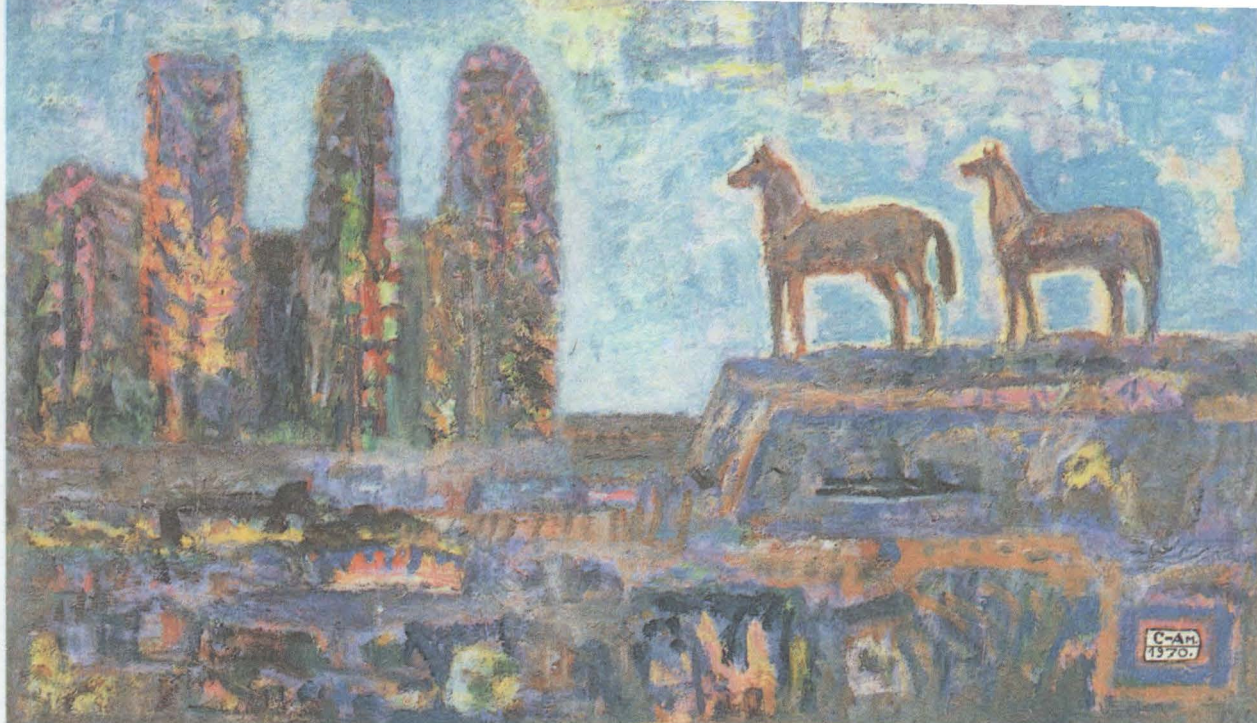
Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,
ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок — 251-31-22.
Отдел рекламы — 251-14-21

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© Журнал «Юность», 1991 г.

ИТАЛИЯ · АФРИКА · ДАЛЬНИЙ ВОСТОК · АВСТРАЛИЯ · ФИЛИППИНЫ

● ФРАНЦИЯ · ШВЕЙЦАРИЯ · ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ●



Лошади на приволье. 1970 г.

ОТКРЫВШИЙ ЧУДЕСНЫЕ СТРАНЫ

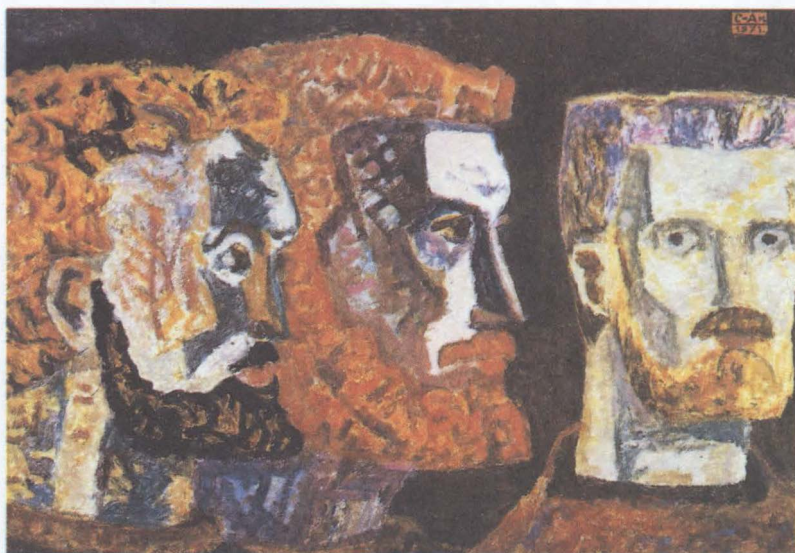
Ничем не оживишь искусство временное. Для многих художников с физическим концом заканчивается и их творчество. Но бывает обратное. Мастер ушел и оставил нас перед своими работами, и произошло поразительное явление — они обрели жизнь, и жизнь вечную. А мастер этот — Федор Васильевич Семенов-Амурский.

На помпезных выставках тех лет его преследовала ненависть одних и любовь немногих. Окруженный единомышленниками и молодежью, он горел энтузиазмом. Не волновали его та материальная жизнь и неприятие официального искусствоведения. Среди множества современных ему мастеров он умудрялся твердо и неуклонно идти своим путем, вырастив необычайно красивое и доброе искусство — пластическое и возвышенное. В мире Федора Васильевича чувствуешь, что рядом с тобой находится искренний и сильный человек, открывший перед нами эти чудесные страны.

Как-то на выставке он сказал мне, указывая на длинный ряд серых, безжизненных работ: «Очень жаль — ведь это талантливые художники! Просто они так спрятались, так забились... Это плохо! Нет движения, нет разницы температур...»

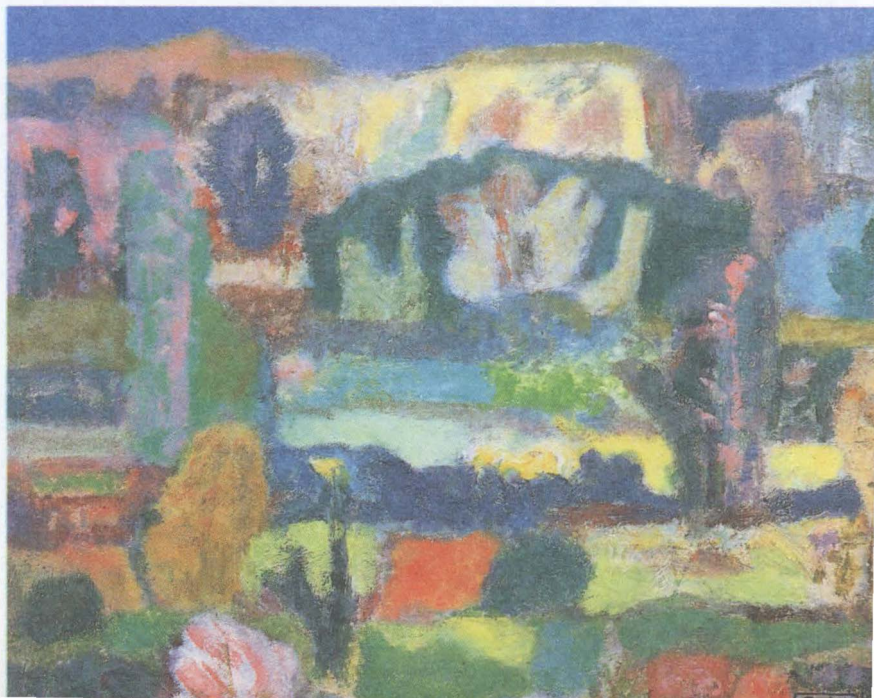
В марте следующего года Федору Семенову-Амурскому будет 100 лет. Его живопись находится в Третьяковской галерее, в Русском музее, в галереях российских городов, за рубежом в коллекции П. Людвиг (ФРГ).

Вячеслав ПАВЛОВ



Идут рядом, а сами врозь. 1971 г.

Пейзаж в горах с синим небом. 1972 г.



цены
государственные

ВПЕРВЫЕ В СССР!

● **ДЕТСКИЙ ОДНОДНЕВНЫЙ СТАЦИОНАР**

Принимаем детей до 15 лет с различными хирургическими заболеваниями.

КДС

КДС КДС КДС

КДС

АССОЦИАЦИЯ "ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ" ●

ДЛЯ ВСЕХ!

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
КАНДИДАТЫ И ДОКТОРА
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
СОВРЕМЕННОЕ ИМПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КДС

КДС

КЛИНИКО- диагностический СТАЦИОНАР

ПРИНИМАЕМ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЙ!

ПОЛИКЛИНИКА

Функциональная диагностика. Ультразвуковая импортная аппаратура. Исследование слуха. Лазеротерапия. Эндоскопия. Иглорефлексотерапия. Массаж. Мануальная терапия. Анонимное лечение алкоголизма — гипноз, кодирование.

ХИРУРГИЯ

Операции по поводу заболеваний органов брюшной полости, варикозной болезни нижних конечностей, урологических и проктологических заболеваний. Ортопедия. Операции на ЛОР-органах. Контрактуры, опухоли, последствия травмы кисти.

ГИНЕКОЛОГИЯ

Прерывание беременности в сроки до 12 недель. Лечение бесплодия и воспалительных заболеваний. Операции на органах женской половой сферы.

ТЕРАПИЯ

Комплексное обследование и лечение больных терапевтического профиля.

Москва, шоссе Энтузиастов, д. 62
Телефон (095)305-02-67, 305-12-12

Вызов врача на дом:
305-06-20